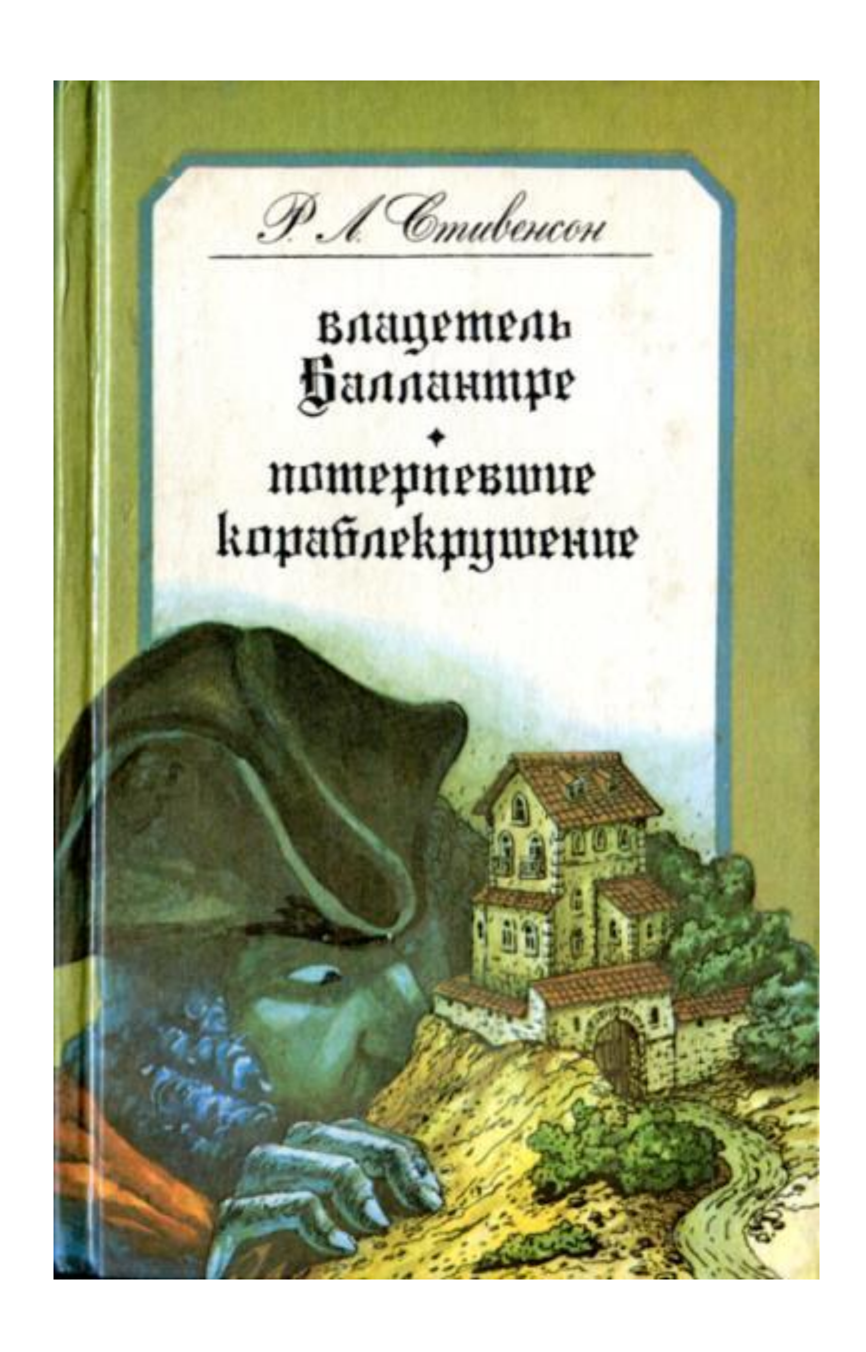
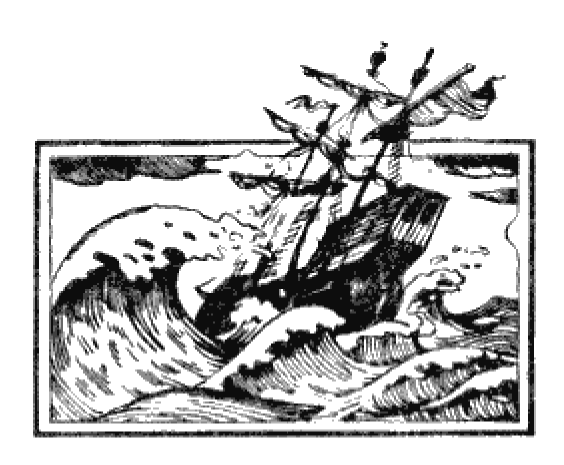
Стивенсон Роберт Луис

Потерпевшие кораблекрушение



потерпевшие кораблекрушение



ПРОЛОГ
НА МАРКИЗСКИХ ОСТРОВАХ

Было три часа зимнего дня в Таиохаэ, французской столице и главном порту Маркизских островов. Дул сильный шквалистый пассат, грохочущий прибой разбивался на крупной гальке пологого берега, и пятидесятитонная шхуна — военный корабль, олицетворяющий достоинство и влияние Франции на этом каннибальском архипелаге, — прыгала на волнах у своего причала под Тюремным Холмом. Низкие, черные тучи закрывали вершины поднимающихся амфитеатром гор; около полудня прошел сильный дождь — настоящий тропический ливень, когда вода падает с неба сплошной стеной, — и по темно-зеленым склонам все еще вились серебристые нити потоков.

На этих островах с жарким и здоровым климатом зима — только пустое название. Дождь не освежил жителей Таиохаэ, и ветер не принес им бодрости. Правда, на одной из окраин комендант лично наблюдал за работами, производившимися в его саду, и садовники — все до одного каторжники — волей-неволей продолжали трудиться, но все прочие обитатели городка предавались послеобеденному отдыху и сну: Вайкеху, туземная королева, почивала в своем прелестном домике под сенью шелестящих пальм, комиссар с Таити — в своей осененной флагами официальной резиденции, торговцы — в своих опустевших лавках, и даже клубный слуга крепко спал в помещении клуба, уронив голову на буфетную стойку, над которой были прибиты визитные карточки морских офицеров и карта мира. На протянувшейся вдоль берега единственной улице городка, где в благодатной тени пальм и в густых зарослях пурао прятались дощатые домики, не было видно ни души. Только на конце рассохшегося причала, который некогда (в дни краткого процветания восставших Южных Штатов) стонал под тяжестью тюков хлопка, на куче мусора примостился знаменитый татуированный европеец — живая диковинка Таиохаэ.

Он не спал — его взгляд был устремлен на бухту. Он смотрел на горный отрог, переходящий у горловины бухты в цепь невысоких утесов, на белую кипящую полосу прибоя у двух островков, между которыми в узком просвете виднелись на синем горизонте туманные вершины крутых гор острова Хуапу. Однако внимание его не задерживалось на этих давно знакомых чертах ландшафта. Он был погружен в то дремотное состояние, когда сон граничит с явью, и в памяти его всплывали разрозненные картины прошлого: лица туземцев и белых —

шкиперов, старших помощников, местных царьков и вождей проходили перед его глазами и снова исчезали в небытии; он вспоминал старые путешествия, забытые пейзажи, освещенные первыми лучами зари; он снова слышал грохот барабанов, сзывающих на каннибальское пиршество; быть может, он вспоминал темнокожую принцессу, из любви к которой подвергся мучительной пытке татуирования, а теперь сидел на мусорной куче в конце причала порта Таиохаэ — бездомный бродяга-европеец. А быть может, на память ему приходило еще более далекое прошлое, и он снова слышал звуки и ощущал запахи родной Англии, своего детства: веселый перезвон соборных колоколов, аромат цветущего вереска, нежную песню реки у плотины.

У входа в бухту — опасные воды, и корабль можно провести только совсем рядом с островками, так что с него легко добросить до берега сухарь. И вот, пока татуированный европеец дремал и грезил о прошлом, изза оконечности западного островка выдвинулся надутый ветром кливер — зрелище, которое мгновенно заставило его очнуться. Затем показались два стакселя, и, прежде чем татуированный европеец успел вскочить на ноги, топсельная шхуна круто легла к ветру и, обогнув островок, курсом бейдевинд вошла в бухту.

Сонный городок пробудился, как по волшебству. Со всех сторон высыпали туземцы, приветствуя друг друга радостным криком «эхиппи» — корабль; королева вышла на веранду и стала вглядываться в бухту, прикрыв глаза рукой, являвшей собою чудо высокого искусства татуировки; комендант, забыв о своих садовниках, бросился в дом за подзорной трубой; семнадцать бронзовых канаков, во главе с боцманом-французом составлявшие команду военной шхуны, столпились на ее баке, а все англичане, американцы, немцы, поляки, корсиканцы и шотландцы — торговцы и правительственные чиновники в Таиохаэ, — оставив свои лавки и конторы, по обычаю начали собираться на улице перед клубом.

Расстояния в городке были так малы, и вся дюжина его белых обитателей собралась поэтому так быстро, что они успели уже обменяться догадками относительно национальности и цели плавания неизвестной шхуны, прежде чем она продвинулась на полкабельтова по направлению к якорной стоянке. Через мгновение на клотике ее грот-мачты взвился английский флаг.

— Я же говорил, что это англичане — сразу узнал по стакселям! — воскликнул старый, но еще бодрый моряк, который с полным на то правом (если бы ему удалось найти незнакомых с его биографией судовладельцев) мог бы опять украсить своей персоной еще один капитанский мостик и разбить еще один корабль.

— Но ее корпус американской формы, этого вы отрицать не станете, — заметил проницательный шотландец — механик с хлопкоочистительной фабрики. — Помоему, это яхта.

— Вот-вот, — сказал старый моряк, — именно яхта.

Поглядите-ка на ее шлюпбалки и гичку, подвешенную за кормой.

— Яхта, как бы не так! — отозвался голос, несомненно, принадлежавшей уроженцу Глазго. — Она же несет флаг английского торгового флота! Яхта! Еще чего!

— Во всяком случае, вы можете запереть лавку, Том, — заметил холеный немец и добавил, обращаясь к проезжавшему мимо на красивой гнедой лошади туземцу с тонким и умным лицом: — Bonjour, mon Prince! Vouz allez boire une verre de biere?.[1]

Однако принц Станилас Моанатини — единственный по-настоящему занятый человек на острове — торопился осмотреть оползень, заваливший утром горную дорогу. Солнце уже клонилось к закату, скоро должны были спуститься сумерки, и если он хотел избежать опасностей, которые таят в себе мрак и невидимые пропасти, и страха перед призраками, населяющими джунгли, то не мог принять любезное приглашение. Впрочем, если он даже и собирался спешиться, тут же выяснилось, что угостить его будет нечем.

— Пива! — вскричал уроженец Глазго. — Как бы не так! В клубе осталось всего восемь бутылок! А я еще ни разу не видел в этом порту судна под английским флагом! Его капитан и должен выпить это пиво.

Это предложение показалось всем присутствующим вполне справедливым, хотя и не вызвало особого восторга: вот уже несколько дней самое слово «пиво» наводило тоску на членов клуба, которые каждый вечер уныло подсчитывали оставшиеся бутылки.

— А вот и Хэвенс! — сказал кто-то, словно обрадовавшись возможности переменить тему. — Ну-ка, Хэвенс, что вы думаете об этом корабле?

— Я не думаю, — ответил Хэвенс, высокий, невозмутимый, медлительный, облаченный в белоснежный полотняный костюм англичанин, закуривая папиросу, — я знаю. Он должен доставить мне груз от оклэндской фирмы «Дональд и Эденборо». Я как раз собираюсь отправиться на него.

— А что это за корабль? — спросил старый морской волк.

— Не имею ни малейшего представления. Какойнибудь трамп,[2] который они зафрахтовали.

С этими словами Хэвенс прошествовал дальше и скоро уже сидел на корме вельбота, там, где он был в безопасности от брызг, грозивших испортить безупречную свежесть его костюма, и отдавал команды буйным канакам негромким, вежливым голосом, что не помешало им подойти к борту шхуны с большой лихостью и точностью.

У трапа его встретил загорелый, обветренный капитан.

— По-моему, ваш груз адресован нам, — сказал англичанин. — Моя фамилия Хэвенс.

— Совершенно справедливо, сэр, — ответил капитан, обмениваясь с ним — рукопожатием. — Владелец, мистер Додд, ждет вас в каюте… Осторожнее, рубка только что окрашена.

Хэвенс вступил в узкий проход между рубкой и бортом и спустился по трапу в салон.

— Мистер Додд, если не ошибаюсь? — сказал он, обращаясь к невысокому бородатому человеку, который что-то писал за столом. И тут же воскликнул: — Да это же Лауден Додд!

— Он самый, милый друг, — радостно ответил мистер Додд, вскакивая на ноги. — Прочитав вашу фамилию во фрахтовых документах, я так и надеялся, что это будете вы! Ну, в вас не заметно никаких перемен: все тот же невозмутимый, подтянутый британец.

— Зато вы переменились, — ответил Хэвенс. — Вы, кажется, сами стали британцем?

— О нет, — возразил Додд. — Красная скатерть на верхушке мачты — это флаг моего компаньона. Но сам он в делах не участвует. Вот он. — И Додд указал на бюст, составлявший одно из многочисленных и весьма необычных украшений этой оригинальной каюты.

— Прекрасный бюст! — заметил Хэвенс, бросив на него вежливый взгляд.

— Судя по лицу, ваш компаньон — приятный человек.

— И даже очень, — отозвался Додд. — Собственно, он глава нашего предприятия. Это он его финансирует.

— И, кажется, он в деньгах особенно не стеснен, — сказал его собеседник, со все возрастающим изумлением осматривая каюту.

— Его деньги, мой вкус, — объяснил Додд. — Книжный шкаф из черного ореха — антикварная редкость; книги все мои — в основном это писатели французского Возрождения. Видели бы вы, как отскакивают от них скучающие жители здешних островов, когда подходят к шкафу, рассчитывая поживиться чем-нибудь получше библиотечных романов! Зеркала настоящие венецианские; вон то в углу — очень недурной образчикМазня — моя и его, лепка — только моя.

— Лепка? А что это такое? — спросил Хэвенс.

— Вот эти бюсты, — ответил Додд. — В молодости я ведь был скульптором.

— Да, я — об этом слышал. А кроме того, вы, помоему, упоминали, что интересовались недвижимостью в Калифорнии.

— Неужели я утверждал что-либо подобное? — удивился Додд. — «Интересовался» — это не то слово. «Был втянут в спекуляции» — гораздо ближе к истине. Как бы то ни было, я прирожденный художник: меня никогда ничто, кроме искусства, не интересовало. Если бы я завтра разбил эту посудину, — добавил он помолчав, — я, пожалуй, опять занялся бы искусством!

— Ваш корабль застрахован? — осведомился Хэвенс.

— Да, — ответил Додд. — Есть во Фриско дурак, который согласился застраховать его и забирает львиную долю наших прибылей, но мы с ним еще посчитаемся.

— Груз, я полагаю, в полном порядке? — заметил Хэвенс.

— Да, наверное, — ответил Додд. — Займемся документами?

— У нас для этого будет весь завтрашний день, — сказал Хэвенс. — А пока вас ждут не дождутся в нашем клубе. C'est l'heure de l'absinthe.[3] А потом, Лауден, вы, разумеется, пообедаете у меня?

Мистер Додд охотно выразил согласие, надел белую куртку — не без некоторого труда, потому что он был уже в годах и довольно толст, — расчесал бороду и усы перед одним из венецианских зеркал и, взяв фетровую шляпу с большими полями, вывел своего посетителя через помещение конторы на шкафут.

У борта их ждала кормовая шлюпка, очень изящная, с мягкими сиденьями и отделкой из полированного красного дерева.

— Садитесь за руль, — предложил Лауден. — Вы ведь знаете, где здесь удобнее всего пристать.

— Не люблю править чужими лодками, — возразил Хэвенс.

— Считайте ее лодкой моего компаньона, и мы с вами окажемся в одинаковом положении, — посоветовал Лауден, легко спускаясь по трапу.

Хэвенс последовал за ним и без дальнейших возражений взял румпель-штерты.

— Не понимаю, каким образом вам удается извлекать доходы из вашей шхуны, — заметил он. — Во-первых, она, на мой взгляд, великовата для торговли по архипелагам, а во-вторых, слишком роскошно отделана.

— Я не так уж уверен, что мы действительно извлекаем из нее доходы, — возразил Лауден. — Я ведь отнюдь не деловой человек. Мой компаньон, кажется, доволен, а деньги, как я вам уже говорил, принадлежат ему. Я вкладываю в дело только отсутствие коммерческого опыта.

— Полагаю, ваши обязанности вам по душе? — осведомился Хэвенс.

— Да, как ни странно, очень, — ответил Лауден.

Пока они пересекали гладь бухты, солнце зашло за горизонт, на военной шхуне раздался сигнальный выстрел пушки (точнее говоря, это было ружье) и был спущен флаг. Шлюпка пристала к берегу в уже сгущающихся сумерках, и на низкой веранде «Сёркль Интернасьональ»[4] (как официально и не без оснований назывался клуб) засветились многочисленные лампы. Наступили самые приятные часы суток: исчезли назойливые, больно жалящие мушки; повеял прохладный береговой бриз, и члены «Серкль Интернасьональ» собрались в клубе поболтать и выпить стаканчик-другой. Мистер Лауден Додд был официально представлен коменданту острова; партнеру коменданта по бильярду — торговцу с соседнего острова и почетному члену клуба, который начал свою карьеру помощником плотника на борту военного корабля северян; портовому доктору; начальнику жандармов; владельцу опийной

плантации и всем остальным людям с белой кожей, которых прихоти торговли или кораблекрушений, а может быть, просто нежелание служить в военном флоте забросили в Таиохаэ. Благодаря своей располагающей внешности и любезным манерам, а также умению красноречиво изъясняться как на английском, так и на французском языках Лауден всем очень понравился. Вскоре на столе возле него уже стояла одна из восьми последних бутылок пива, а сам он оказался довольно молчаливой центральной фигурой оживленно болтающей группы.

Разговоры в Южных Морях все на один образец: океан здесь огромен, но мир мал; вначале непременно будет упомянут Забияка Хейс, герой-моряк, чьи подвиги и вполне заслуженный конец остались совершенно неизвестными Европе; потом будет затронут вопрос о торговле копрой или жемчугом, а может быть, хлопком или губками, но очень небрежно, словно он никого особенно не интересует; то и дело будут упоминаться названия шхун и фамилии их капитанов, а затем собеседники обменяются новостями о последнем кораблекрушении и обстоятельно их обсудят. Человеку новому эти разговоры сначала не покажутся особенно интересными, но, когда он проживет в мире островов год или два и перевидает немало шхун, так что фамилия каждого капитана будет вызывать в его памяти определенную фигуру, облаченную в пижаму или парусиновый костюм, да к тому же привыкнет к снисходительности, с которой (в память мистера Хейса) относятся здесь к таким видам человеческой деятельности, как контрабанда, нарочно устроенное кораблекрушение, баратрия,[5] пиратство, насильственная вербовка рабочей силы и прочее, он убедится, что беседы в клубах Полинезии не менее остроумны и поучительны, чем разговоры в подобных же заведениях Лондона и Парижа.

Хотя мистер Лауден Додд и прибыл на Маркизские острова впервые, он был старым, просоленным торговцем Южных Морей; он знал множество кораблей и их капитанов; ему приходилось на других архипелагах присутствовать при зарождении предприятия, о конце которого шел рассказ, или, наоборот, он мог сообщить о дальнейшем развитии событий, начавшихся в Таиохаэ. Среди прочих интересных новостей — например, о появлении в здешних водах новых лиц — он сообщил также о кораблекрушении. «Джон Ричарде» разделил судьбу многих других островных шхун.

— Дикинсон выбросил ее на остров Пальмерстона, — возвестил Додд.

— А кто владельцы? — спросил один из его собеседников.

— О, как обычно, «Кепсикум и К°».

Все переглянулись с многозначительной улыбкой, и Лауден, пожалуй, выразил общее мнение, сказав:

— Вот, говорят, есть выгодные дела! Что может быть выгоднее застрахованной шхуны, опытного капитана и крепкого, надежного рифа?

— Выгодных дел не существует! — заметил уроженец Глазго. — Никто, кроме миссионеров, не получает барышей.

— Ну, не знаю, — возразил кто-то. — Опиум приносит недурную прибыль.

— Неплохо также подобраться к жемчужной отмели, где ловля запрещена, так году на четвертом, обчистить лагуну и удрать на всех парусах, пока французы не спохватились.

— Неплохо золота самородок отыскать, — вставил какой-то немец.

— Купить потерпевший крушение корабль тоже иной раз сделка недурная, — сказал Хэвенс. — Помните этого человека из Гонолулу и бриг, который выбросило на рифы Вайкики? Ветер был крепкий, и бриг начало ломать, не успел он как следует сесть на днище. Агент «Ллойда» продал его меньше чем через час, и до темноты, когда корабль наконец разбило в щепы, покупатель успел обеспечить себе безбедную жизнь, а если бы солнце зашло на три часа позже, он мог бы совсем удалиться от дел. Но и так он построил себе дом на улице Беретания и назвал его в честь этого корабля.

— Да, порой на кораблекрушении можно недурно нажиться, — сказал уроженец Глазго, — но далеко не всегда.

— Ну, это общее правило — выгодные дела встречаются редко, — ответил Хэвенс.

— Согласен, — продолжал шотландец. — А я мечтаю узнать тайну какого-нибудь богача и поприжать его как следует.

— Полагаю, вам известно, что такого рода способы среди порядочных людей неупотребительны? — возразил Хэвенс.

— Это меня не интересует, мне такой способ вполне подходит, — невозмутимо отозвался шотландец из Глазго. — Беда только в том, что подходящих секретов в Южных Морях не узнаешь. Их надо искать в Лондоне или в Париже.

— Мак-Гиббон начитался бульварных романов, — сказал кто-то.

— Он читал «Аврору Флойд», — добавили из другого угла.

— Ну и что? — возразил Мак-Гиббон. — Ведь это же правда. Почитайте-ка газеты! Вы хихикаете только из-за своего тупоголового невежества. А на мой взгляд, шантаж — такое же ремесло, как страхование, только в сто раз честнее.

Начавшаяся перепалка заставила Лаудена, который больше всего на свете ценил мир и спокойствие, поспешно вмешаться в разговор.

— Как ни странно, — сказал он, — но мне на своем веку пришлось испробовать все эти способы добывания хлеба насущного.

— Вы имели самородок найти? — жадно спросил немец, изъяснявшийся на ломаном языке.

— Нет, — ответил Лауден. — Я занимался всякими глупостями, но все-таки не золотоискательством. Любой дурости есть предел.

— Ну, а контрабандной торговлей опиумом вы занимались? — поинтересовался кто-то еще.

— Занимался, — ответил Лауден.

— Выгодное дело?

— Еще какое!

— И покупали разбившийся корабль?

— Да, сэр, — ответил Лауден.

— Ну, и что из этого вышло?

— Видите ли, этот корабль был особого сорта, — объяснил Лауден. — По чести говоря, я бы никому не советовал заниматься этим видом деятельности.

— А что, его разбило в щепы на мели?

— Вернее будет сказать, что из-за него на мели оказался я, — заметил Лауден. — Не сумел преодолеть трудностей.

— А шантажом занимались? — осведомился Хэвенс.

— Само собой разумеется! — кивнул Лауден.

— Выгодное дело?

— Видите ли, я человек невезучий. А так, наверное, выгодное.

— Вы узнали чью-нибудь тайну? — спросил уроженец Глазго.

— Великую, как этот океан.

— Тайну богача?

— Не знаю, что вы называете богачом, но эти острова он мог бы купить и не заметить, во что они ему обошлись.

— Ну, так за чем же дело стало? Вы не могли его разыскать?

— Да, на это потребовалось время, но в конце концов я загнал его в угол и…

— И что?

— Все полетело вверх тормашками. Я стал его лучшим другом.

— Ах, черт!

— По-вашему, он не слишком разборчив в выборе друзей? — любезно осведомился Лауден. — Да, пожалуй, у него довольно широкий круг симпатий.

— Если вы кончили болтать чепуху, Лауден, — сказал Хэвенс, — то нам пора идти ко мне обедать.

За стенами клуба во мраке ревел прибой. В темной чаще кое-где мерцали огоньки. Мимо по двое и по трое проходили островитянки, кокетливо улыбались и снова исчезали во мгле, а в воздухе еще долго держался запах пальмового масла и цветов франжипана. От клуба до жилища мистера Хэвенса было два шага, и любому обитателю Европы они показались бы двумя шагами по волшебной стране. Если бы такой европеец мог последовать за нашими двумя друзьями в дом, окруженный широкой верандой, и в прохладной комнате, с жалюзи вместо стен, сесть с ними за стол, на белую скатерть которого падали цветные тени от бокалов с вином; если бы он мог отведать экзотические кушанья: сырую рыбу, плоды хлебного дерева, печеные бананы, жареного поросенка с гарниром из упоительного мити и царя всех подобных блюд — салат из сердцевины пальмы; если бы он мог увидеть и услышать, как некая прелестная туземка, слишком скромная для супруги хозяина и слишком властная для любого иного положения, то появляется в столовой, то исчезает, браня невидимых помощников, а потом мгновенно очутился в родном лондонском пригороде, он сказал бы, протирая глаза и потягиваясь в своем любимом кресле у камина: «Мне приснилось дивное местечко! Ей-богу, это был рай!» Однако Додд и его хозяин давно уже привыкли ко всем чудесам тропической ночи, ко всем яствам островной кухни и принялись за еду просто как люди, давно проголодавшиеся, лениво перебрасываясь словами, как бывает, когда немного скучно.

Вскоре разговор коснулся беседы в клубе.

— Вы никогда еще не болтали столько чепухи, Лауден, — заметил Хэвенс.

— Мне показалось, что в воздухе запахло порохом, вот я и заговорил, чтобы отвлечь их. Однако все это вовсе не чепуха.

— Вы хотите сказать, что все это правда: и опиум, и покупка потерпевшего крушение корабля, и шантаж, и человек, который стал вашим другом?

— Все правда, до последнего слова, — ответил Лауден.

— Кажется, вы действительно много испытали на своем веку, — сухо сказал Хэвенс.

— Да, история моей жизни довольно любопытна, — отозвался его друг. — Если хотите, я расскажу ее вам.

Далее следует повесть о жизни Лаудена Додда, не так, как он поведал ее своему другу, а так, как он впоследствии записал ее.

РАССКАЗ ЛАУДЕНА

ГЛАВА I

ХОРОШЕЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Для начала мне следует описать характер моего бедного отца. Трудно представить себе человека лучше или красивее его и в то же время такого (с моей точки зрения) неудачника: ему не повезло и с делами, и с удовольствиями, и с выбором дома, и (как мне ни жаль) с единственным сыном. Он начал жизнь землемером, стал спекулировать земельными участками,

пустился в другие деловые предприятия и постепенно приобрел репутацию одного из самых ловких дельцов штата Маскегон.[6] «У Додда голова что надо», — отзывались о нем окружающие. Но сам я далеко не так уверен в его деловых способностях. Впрочем, удачливость его долгое время казалась несомненной, а уж настойчивость была совершенно бесспорной. Он вел ежедневную битву за деньги с меланхолической покорностью мученика: вставал чуть свет, ел на ходу, даже в дни побед возвращался домой измученным и обескураженным; он отказывал себе в развлечениях — если вообще был способен развлекаться, в чем я порой сомневался, — и доводил до благополучного конца очередную спекуляцию с пшеницей или алюминием, по сути своей ничем не отличавшуюся от грабежа на большой дороге, ценой самой высокой самоотверженности и добросовестности.

К несчастью, меня ничто, кроме искусства, никогда не интересовало и интересовать не будет. Я считал тогда, что высшее назначение человека — обогащать мир прекрасными произведениями искусства и приятно проводить время, свободное от этого благородного занятия. Насколько помню, о второй половине своей жизненной программы (которую, кстати, мне только и удалось осуществить) я отцу ничего не говорил, однако он, по-видимому, что-то заподозрил, так как назвал мой заветный план баловством и блажью.

— Ну хорошо, — воскликнул я однажды, — а что такое твоя жизнь? Ты думаешь только о том, как бы разбогатеть, и при этом за счет других людей.

Он грустно вздохнул (это вообще было его привычкой) и укоризненно покачал головой.

— Ах, Лауден, Лауден! — сказал он. — Все вы, мальчики, считаете себя мудрецами: Но как бы ты ни противился этому, всякий человек обязан работать. И выбор только один — быть честным человеком или вором, Лауден.

Вы сами видите, насколько бесполезно было спорить с моим отцом. Отчаяние, охватывавшее меня после подобных разговоров, отягощалось еще и раскаянием, потому что я нередко грубил ему, а он неизменно бывал со мной мягок и ласков. К тому же я ведь отстаивал мои личные стремления и желания, а он думал только о моем благе, хотя и понимал его по-своему. И он не терял надежды образумить меня.

— Основа у тебя хорошая, Лауден, — повторял он, — основа у тебя хорошая. В конце концов кровь скажется, и ты пойдешь по правильному пути. Я не боюсь, что мне придется стыдиться моего сына. Просто мне порой бывает неприятно, когда ты начинаешь нести чепуху.

После этого он похлопывал меня по плечу или по руке с нежностью, особенно трогательной в таком красивом и сильном человеке.

Как только я окончил школу, отец отправил меня в Маскегонскую коммерческую академию. Вы иностранец, и вам, вероятно, не так-то просто поверить, что подобное учебное заведение существует на самом деле. Поэтому, прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу заверить вас, что я не шучу. Эта академия действительно существовала, а может быть, существует и по сей день — наш штат чрезвычайно ею гордился, считая это учебное заведение высшим достижением современной цивилизации. Мой отец, провожая меня на вокзал, несомненно, был уверен, что открывает передо мной прямой и верный путь в президенты и в рай.

— Лауден, — сказал он мне, — я даю тебе возможность, какой не мог дать своему сыну даже Юлий Цезарь: возможность познать жизнь прежде, чем ты сам примешь в ней участие. Избегай рискованных спекуляций, старайся вести себя так, как следует благородному человеку, и, по возможности, ограничивайся надежными операциями с железнодорожными акциями. Пшеница всегда соблазнительна, но и очень опасна. В твоем возрасте я не стал бы начинать с пшеницы; однако другие ценности тебе не противопоказаны. Обращай особое внимание на ведение счетных книг и, раз потеряв деньги, вторично их в те же акции не вкладывай. Ну, сынок, поцелуй меня на прощание и не забывай, что ты у меня один и что твой отец будет следить за твоей карьерой с любовью и тревогой.

Коммерческая академия занимала несколько прекрасных просторных зданий, расположенных в лесу. Воздух там был очень здоровым, питание — превосходным, плата за обучение — весьма высокой. Телеграф соединял академию, говоря словами рекламного объявления, «с различными мировыми центрами». Читальный зал был в изобилии снабжен «коммерческой прессой». Разговоры велись большей частью об Уолл-стрите, а студенты (всего там обучалось около ста человек) в основном занимались тем, что пытались прикарманить «академические капиталы» своих товарищей. Правда, по утрам мы занимались в аудиториях: нам преподавали немецкий и французский языки, бухгалтерское дело и прочие солидные науки. Однако большую часть дня мы проводили на «бирже», обучаясь спекуляции товарами и ценными бумагами, — это-то и была основа основ получаемого нами образования. Поскольку ни один из участников не имел никакой собственности — ни бушеля реальной пшеницы, ни доллара в государственной валюте, — эти спекуляции, разумеется, не приносили их участникам никаких выгод и превращались в самоцель. Они сводились к откровенной, ничем не прикрытой азартной игре. Нас, не жалея никаких затрат на декорации, обучали именно тому, что уничтожает всякую истинную коммерцию. Для того чтобы мы на опыте познакомились с движением и капризами цен, наш учебный рынок точно воспроизводил реальное положение вещей в стране. Мы были обязаны вести счетные книги, которые в конце каждого месяца проверялись либо директором, либо кем-нибудь из его помощников. Чтобы сделать игру еще более правдоподобной, «академической валюте» была придана реальная стоимость. Заботливые родители или опекуны покупали ее студентам по цене цент за доллар. Заканчивая курс, студенты по той же цене продавали академии оставшуюся у них валюту. А наиболее удачливые «биржевики» порой реализовывали часть своих капиталов еще в бытность свою студентами, чтобы тайком устроить пирушку в соседнем городке. Короче говоря, хуже этой академии была, пожалуй, только та, где Оливер познакомился с Чарли Бейтсом.[7]

Когда кто-то из младших преподавателей проводил меня на «биржу», чтобы показать мне мою конторку, я был ошеломлен царившим там хаосом и шумом. В глубине зала виднелись черные доски со столбцами все время меняющихся цифр. После каждого изменения студенты толпой бросались к доскам и начинали во весь голос вопить какую-то, как мне показалось, абракадабру. Некоторые вскакивали на конторки и скамьи, подавая руками и головами загадочные знаки и что-то быстро отмечая в своих записных книжках. Мне показалось, что неприятней этой сцены я еще ничего в жизни не видывал; а когда я сообразил, что все эти сделки — простая игра и что всех денег, циркулирующих на «академической бирже», не хватит и на покупку пары коньков, то почувствовал большое изумление, хотя и ненадолго, ибо припомнил, как взрослые и очень богатые люди выходят из себя, проиграв жалкие гроши. Тогда, найдя таким образом оправдание моим соученикам, я изумился поведению преподавателя, который привел меня сюда: забыв показать мне мою конторку, он, бедняга, стоял среди этой суматохи как завороженный — казалось, цифры на досках всецело завладели его вниманием.

— Глядите, глядите, — завопил он мне в ухо, — курсы падают! Рынком со вчерашнего дня завладели «медведи».

— Ну и что же? — ответил я, с трудом перекрикивая шум (я еще не научился разговаривать в подобной обстановке). — Это же все понарошку.

— Да, конечно, — ответил он, — и вы должны твердо запомнить, что истинную прибыль вы получите, только если будете хорошо вести свои счетные книги. Надеюсь, Додд, мне предстоит только хвалить вас за них. Вы начинаете свою деятельность с весьма приличным капиталом — десять тысяч долларов в «академической валюте». Его, несомненно, хватит вам до конца обучения, если, конечно, вы не будете рисковать и пускаться в сомнительные операции… Постойте, что бы это значило? — перебил он сам себя, когда на досках появились новые цифры. — Семь, четыре, три! Додд, вам повезло: за весь семестр еще не было такого

оживления. И подумать только, что точно то же происходит сейчас в Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе и других соперничающих деловых центрах страны! Эх, я и сам поиграл бы вместе с мальчиками, — добавил он, потирая руки, — да только это не разрешается правилами.

— А что бы вы сделали?

— Что бы я сделал? — вскричал он, сверкнув глазами. — Покупал бы, пока хватит капитала!

— Это и значит не рисковать и не пускаться в сомнительные операции? — спросил я с самым невинным видом.

Он бросил на меня злобный взгляд, а затем сказал, словно для того, чтобы переменить тему:

— Видите того рыжего юношу в очках? Это Билсон, наш самый блестящий студент. Мы все уверены в его будущем. Берите пример с Билсона, Додд.

Вскоре после этого, пока шум по-прежнему нарастал, цифры на доске появлялись и исчезали все быстрее, а зал сотрясался от воплей биржевиков, младший преподаватель покинул меня, указав мне наконец мою конторку. Мой сосед подводил итоги в своей счетной книге — подсчитывал убытки за это утро, как я узнал позднее, — и очень охотно оторвался от этого малоприятного занятия, увидев незнакомое лицо.

— Эй, новичок! — окликнул он меня. — Как вас зовут?.. Что? Ваш отец — Додд Голова Что Надо? Сколько у вас капитала? Десять тысяч? Здорово! Ну и дурак же вы, что возитесь со своими книгами!

Я ответил, что не вижу — иного выхода, поскольку книги ежемесячно проверяются.

— Эх, разиня! Наймите писца! — крикнул он. — Кого-нибудь из наших банкротов — для этого они здесь и толкутся. Если вы будете удачно играть на бирже, вам в этом колледже работать не придется.

Шум к этому времени стал совсем уже невыносимым, и мой новый друг, сказав, что наверняка кто-то «прогорел», что он пойдет выяснить, в чем дело, и приведет мне писца, застегнул куртку и нырнул в неистовствующую толпу. Его предположение было правильно: кто-то действительно «прогорел», один из королей биржи был низложен — игра на сале оказалась для него роковой, — и писец, обязавшийся писать мои книги, избавлять меня от всей работы и получать все причитающееся мне образование за тысячу долларов в месяц в «академической валюте» (десять долларов в валюте США), оказался не кем иным, как знаменитым Билсоном, с которого мне рекомендовали брать пример. Бедняга был очень расстроен. Только за одно могу я похвалить Маскегонскую коммерческую академию: все мы, включая даже самую мелкую рыбешку, испытывали глубокий стыд, оказываясь банкротами; ну, а такому магнату, как Билсон, который в дни своего процветания столь высоко задирал нос, потерпеть полный крах было особенно тяжело. Но дух серьезного отношения к игре победил даже горечь недавнего поражения, и Билсон приступил к исполнению своих новых обязанностей с надлежащей энергией и деловитостью.

Таковы были мои первые впечатления от этого нелепого учебного заведения, и, говоря откровенно, я скорее назвал бы их приятными. Пока я буду богат, я смогу распоряжаться дневными и вечерними часами по своему вкусу: писец будет вести мои книги, писец будет толкаться и вопить на бирже, а я могу заниматься писанием пейзажей и чтением романов Бальзака — в то время это были два главных моих увлечения. Следовательно, моя задача сводилась к тому, чтобы оставаться богатым, то есть вести дела осмотрительно и не пускаться в рискованные спекуляции, иначе говоря, найти какой-то безопасный способ наживы. Я ищу его до сих пор, и, насколько могу судить, в нашем несовершенном мире ближе всего к нему стоит излюбленная детьми деловая операция, сводящаяся к формуле: «Орел — я выиграл, решка — ты проиграл». Помня напутственные слова моего отца, я робко взялся за железные дороги и около месяца занимал бесславно-надежную позицию, скупая в малых количествах

самые устойчивые акции и безропотно (насколько это у меня получалось) снося презрение своего писца. Однажды я в виде опыта решился на более смелый шаг и, не сомневаясь, что акции компании «Пен-Хендл» (если не ошибаюсь) будут падать и дальше, продал этих акций на несколько тысяч. Но не успел я произвести эту сделку, как какие-то идиоты в Нью-Йорке начали играть на повышение, акции «ПенХендла» взлетели к потолку, а мое положение оказалось подорванным. Кровь, как и надеялся мой отец, сказалась, и я мужественно продолжал вести свою линию: весь день я продавал эти дьявольские акции, и весь день они продолжали повышаться. Как кажется, я (хрупкая скорлупка) попал под носовую волну мощного корабля Джея Гульда — в дальнейшем, насколько помню, оказалось, что это был первый ход в очень крупной биржевой игре. В тот вечер имя Лаудена Додда занимало первое место в газете нашей академии, а мы с Билсоном (снова оказавшимся без места) претендовали на одну и ту же вакансию писца. О ком шумят, того скорей услышат. Мое разорение привлекло ко мне всеобщее внимание, и поэтому место писца получил я. Так что, как вы сейчас убедились, и в Маскегонской коммерческой академии можно было кое-чему научиться.

Меня лично совсем не трогало, выиграл я или проиграл в такой сложной и скучной игре, где все зависело только от случайности. Однако писать об этом отцу оказалось тяжелой задачей, и я пустил в ход все свое красноречие. Я доказывал (и это было абсолютной правдой), что студенты, удачно играющие на бирже, не получают никакого образования, и, следовательно, если он хочет, чтобы я чему-нибудь научился, ему следует радоваться моему разорению. Затем я (не очень последовательно) обратился к нему с просьбой снабдить меня новым капиталом, обещая в этом случае иметь дело только с надежными акциями железных дорог. Несколько увлекшись, я заключил свое письмо уверениями, что не гожусь в дельцы, и горячей просьбой забрать меня из этого отвратительного места и отпустить в Париж заниматься искусством. В ответ я получил короткое, ласковое и грустное письмо, в котором он писал только, что до каникул осталось совсем немного, а тогда у нас будет достаточно времени, чтобы все обсудить.

Когда я приехал домой на каникулы, отец встретил меня на вокзале, и я был потрясен, увидев, как он постарел. Казалось, он думал только о том, как утешить меня и вернуть мне бодрость духа (которую я, по его мнению, должен был утратить). Не надо унывать, убеждал он меня, сотни опытнейших биржевиков начинали свою карьеру с неудачи. Я заявил ему, что не создан быть финансистом, и его лицо омрачилось.

— Не говори так, Лауден, — сказал он. — Я не могу поверить, что мой сын оказался трусом.

— Но мне не нравится эта жизнь! — умоляюще произнес я. — Меня интересует не биржа, а искусство. На этом поприще я способен достичь гораздо большего!

И я напомнил ему, что известные художники зарабатывают большие деньги, что любая картина Мейсонье стоит много тысяч долларов.

— А не думаешь ли ты, Лауден, — возразил он, — что человек, способный написать тысячедолларовую картину, сумел бы показать свою закалку и на бирже? Уж поверь, этот Мэзон, о котором ты сейчас упомянул, или наш соотечественник Бьерстадт, очутись они завтра на хлебной бирже, показали бы, из какого материала они скроены. Послушай, Лауден, сынок, ведь я, видит бог, думаю только о твоем благе, и я хочу заключить с тобой договор: в следующем семестре я снова дам тебе десять тысяч ваших долларов, и, если ты покажешь себя настоящим мужчиной и удвоишь этот капитал, я позволю тебе поехать в Париж, коли тебе еще будет этого хотеться, в чем я сильно сомневаюсь. Но разрешить тебе уйти с позором, словно тебя высекли, мне не позволяет гордость.

Когда я это услышал, сердце мое забилось от радости, но тут же меня снова охватило уныние. Ведь, как мне казалось, куда легче было тут же, не сходя с места, написать картину не хуже Мейсонье, чем заработать десять тысяч долларов на нашей академической бирже. Не мот я также не подивиться столь странному способу проверки, есть ли у человека талант художника. Я даже осмелился выразить свое недоумение вслух.

— Ты забываешь, мой милый, — сказал отец с глубоким вздохом, — что я могу судить только об одном, но не о другом. Будь у тебя даже гений самого Бьерстадта, я бы этого не заметил.

— А кроме того, — продолжал я, — это не совсем справедливо. Другим студентам помогают их родные: присылают им телеграммы с указаниями. Вот, например, Джим Костелло, он и шага не сделает, пока отец из Нью-Йорка не подскажет ему, как поступить. А кроме того, как ты не понимаешь — ведь если кто-то наживается, значит, кому-то нужно разоряться.

— Я буду держать тебя в курсе выгодных сделок, — вскричал мой отец, просияв. — Я не знал, что это разрешается вашими правилами. Я буду посылать тебе телеграммы, зашифрованные нашим коммерческим шифром, и мы устроим нечто вроде фирмы «Лауден Додд и сын», а? — Он похлопал меня по плечу, а затем повторил с нежной улыбкой: — «Додд и сын», «Додд и сын».

Раз мой отец обещал давать мне советы, а коммерческая академия становилась преддверием Парижа, я мог с надеждой взирать на будущее. К тому же мысль о нашей «фирме» доставила моему старичку такое удовольствие, что он сразу ободрился. И вот после грустной встречи на вокзале мы сели ужинать, весело улыбаясь и в самом праздничном настроении.

А теперь я должен ввести в мое повествование нового героя, который, не сказав ни слова и даже пальцем не пошевелив, определил всю мою дальнейшую судьбу. Вам приходилось бывать в Штатах, и, возможно, вы видели его золоченую, хитро каннелированную голову, сверкающую над деревьями посреди обширной равнины, ибо этот новый герой был не что иное, как капитолий штата Маскегон, тогда еще только находившийся в проекте. Мой отец приветствовал его постройку из патриотических чувств, к которым в равной мере примешивалась деловая алчность, — и то и другое было совершенно искренним. Он был членом всех комитетов, связанных с этой постройкой, он пожертвовал на нее значительную сумму, и он подготавливал свое участие во всех связанных с ней подрядах. На конкурс было прислано много проектов. Когда я приехал из академии, мой отец был занят их рассмотрением, и они так его заинтересовали, что в первый же вечер после моего приезда он обратился ко мне за советом. Вот наконец был предмет, которым я мог заняться с искренним удовольствием! Правда, я ничего не смыслил в архитектуре, но, во всяком случае, это было искусство, а я в любом искусстве предпочитал классические образцы и, кроме того, был готов ради него на любые труды — способность, которую какой-то прославленный идиот объявил равнозначной гению. Я тут же с головой ушел в работу: ознакомился со всеми проектами, оценил их недостатки и достоинства, прочел множество книг по архитектуре, овладел теорией деформации, изучил текущие цены на строительные материалы и, короче говоря, оказался настолько хорошим «натаскивателем», что, когда началось рассмотрение проектов, Додд Голова Что Надо заслужил свежие лавры. Его доводы убедили всех, его выбор был единодушно одобрен комитетом, а я мог втихомолку торжествовать, зная, что и аргументы и выбор принадлежали мне и только мне. Когда в принятый проект вносились некоторые дополнения и изменения, моя роль оказалась еще более значительной, ибо я составил эскиз и сделал модель каминных решеток для служебных помещений. Энергия и способности, которые я при этом проявил, привели моего отца в полный восторг, а кроме того, хотя мне самому, пожалуй, не следовало бы говорить об этом, именно благодаря моим усилиям капитолий моего родного штата украшает, а не безобразит его.

В общем, когда я вернулся в Коммерческую академию, настроение у меня было очень бодрое, и мои первые биржевые операции увенчались блестящим успехом. Отец постоянно

присылал мне письма и телеграммы. «Ты должен сам решить, как поступить, Лауден, — не уставал повторять он. — Я сообщаю тебе только цифры, но любую свою спекуляцию ты предпринимаешь на свой страх и риск, и все, что ты заработаешь, ты заработаешь благодаря собственной смелости и инициативе». Однако, несмотря на это, всегда было легко угадать, чего он от меня ждет, и я всегда спешил оправдать его ожидания. Через месяц у меня уже было около восемнадцати тысяч долларов в «академической валюте». И тут я пал жертвой одного из пороков этой системы. Как я уже упоминал, за «академическую валюту» можно было получить один процент ее номинальной стоимости в денежных знаках Соединенных Штатов. Разорившиеся биржевые игроки постоянно продавали свою одежду, книги, банджо и запонки, чтобы покрыть дефицит, а нажившиеся, наоборот, не устояв перед соблазном, превращали часть своих «прибылей» в настоящие доллары для оплаты каких-нибудь реальных удовольствий. А мне понадобилось тридцать долларов, чтобы приобрести принадлежности для занятий живописью: я постоянно уходил в лес писать этюды, и, поскольку мои карманные деньги были израсходованы, в один злосчастный день я реализовал три тысячи в «академической валюте», чтобы купить себе палитру, — благодаря советам моего отца я уже начал смотреть на биржу как на место, где деньги сами плывут тебе в руки.

Палитра прибыла в среду, и я вознесся на седьмое небо. В это время мой отец (сказать «я» значило бы отступить от истины) пытался устроить «двойной опцион» на пшенице между Чикаго и Нью-Йорком — как вам известно, спекуляции такого рода считаются одними из самых рискованных на шахматной доске финансов. В четверг удача повернулась к нему спиной, и к вечеру моя фамилия второй раз красовалась на доске в списке банкротов. Это был тяжелый удар. Надо сказать, что моему отцу в любом случае было бы нелегко его перенести, потому что, как бы ни мучили человека промахи его сына, его собственные промахи мучают его гораздо сильнее. Однако в горькой чаше нашей неудачи была, кроме того, капля смертельного яда: отец превосходно знал состояние моих финансов и заметил недостачу трех тысяч «академических долларов», а это, с его точки зрения, означало, что я украл тридцать настоящих долларов. Пожалуй, такое суждение было слишком строгим, но некоторые основания для него были, а мой отец, хотя его биржевая деятельность, на мой взгляд, по самой своей сути исключала честность, был необыкновенно щепетилен во всех сопутствующих ей мелочах. Я получил от него только одно печальное, обиженное и ласковое письмо, и больше до конца семестра он мне не писал, так что все это горькое время, трудясь в качестве писца, продавая одежду и этюды, чтобы добыть средства на очередную безнадежную спекуляцию, и с тоской стараясь забыть свою мечту о Париже, я был лишен его поддержки и советов.

Однако все это время он, по-видимому, постоянно думал о своем сыне и о том, что с ним дальше делать. Полагаю, он пришел в настоящий ужас от моей беспринципности — именно так он оценивал мой поступок — и старался изыскать способ, как в дальнейшем оградить меня от искушений. С другой стороны, архитектор, строивший капитолии, похвально отозвался о моих решетках, и, пока отец колебался, не зная, на что решиться, вмешалась судьба, и Маскегонский капитолий определил мою дальнейшую жизнь.

— Лауден, — сказал мне отец, встретив меня на вокзале сияющей улыбкой, — если ты поедешь в Париж, сколько времени тебе понадобится, чтобы сделаться опытным скульптором?

— Я не понимаю, отец, что ты имеешь в виду? — вскричал я. — Что значит «опытным»?

— Это значит — скульптором, которому можно доверить самые сложные заказы, — ответил он. — Ну, например, обнаженную натуру, а также патриотический и эмблематический стили.

— На это может потребоваться три года, — ответил я.

— И ты считаешь, что этому можно научиться только в Париже? — спросил он. — Ведь и у нас тут есть всякие возможности, и, говорят, этот Проджерс очень искусный скульптор, хотя он, наверное, слишком важный, чтобы давать уроки.

— Кроме Парижа, этому нельзя научиться нигде, — заверил его я.

— Да, — признал он, — мне и самому кажется, что так будет гораздо звучнее: «Молодой уроженец нашего штата, сын одного из наших видных граждан, обучавшийся у самых опытных мастеров Парижа!»

— Но, папочка, я ничего не понимаю, — перебил я. — Я ведь никогда не думал о том, чтобы стать скульптором.

— Дело вот в чем, — объяснил он. — Я взял подряд на снабжение нашего капитолия скульптурами. Сперва я смотрел на это как на коммерческую сделку, а потом мне пришло в голову, что лучше превратить ее в семейное предприятие. Это придется тебе по вкусу, можно заработать большие деньги и проявить патриотизм. Если ты согласен, то поезжай в Париж и возвращайся через три года украшать капитолии своего родного штата. Пред тобой открываются блестящие возможности, Лауден. И вот еще что: к каждому заработанному тобой доллару я добавлю один от себя. Но чем скорее ты уедешь и чем старательнее будешь учиться, тем будет лучше, так как, если первые статуи не придутся по вкусу гражданам Маскегона, выйдут большие неприятности.

ГЛАВА II
РУССИЛЬОНСКОЕ ВИНО

Родители моей матери были шотландцы, и решено было, что по дороге в Париж я заеду навестить моего дядю Эдама Лаудена, удалившегося от дел бакалейщика, который проживал в Эдинбурге. Дядя говорил со мной очень сдержанно и очень иронично; кормил он меня великолепно, отвел мне чудесную комнату, но, казалось, возмещал себе все эти расходы до последнего гроша тем, что втайне надо мной потешался, отчего очки его то и дело насмешливо поблескивали, а уголки рта начинали лукаво подергиваться. Все это плохо скрываемое веселье, насколько я мог понять, объяснялось только тем фактом, что я американец. «Та-а-ак! — начинал он разговор, затягивая это слово до бесконечности. — В вашей стране вы, наверное, делаете это по-другому». И все мои многочисленные двоюродные братья и сестры принимались весело хихикать. Вероятно, именно такого рода отношение и породило то, что называется американской любовью к розыгрышам. Во всяком случае, я не выдержал и сообщил, что мои друзья летом ходят нагишом, а вторая методистско-епископальная церковь в Маскегоне украшена скальпами. Однако не могу сказать, чтобы подобные взлеты моей фантазии вызывали особенное изумление: их принимали почти так же, как сообщение о том, что мой отец принадлежит к республиканской партии, а в каждом штате есть своя столица, Вот если бы я рассказал им сущую правду — что мой отец вносил ежегодно высокую плату за то, чтобы меня обучали в заведении, по сути своей ничем не отличавшемся от игорного притона, — хихиканье и насмешливые улыбки моих родственников имели бы куда больше оснований.

Не могу отрицать, что порой меня охватывало непреодолимое желание угостить дядю Эдама хорошим тумаком, и надо сказать, что в конце концов дело, наверное, тем бы и кончилось, если бы в мою честь не был устроен званый обед. Во время него я, к большому моему удивлению и радости, убедился, что невежливость, с которой я столкнулся, не выходит за границы тесного семейного круга и может даже считаться проявлением родственной нежности. Гостям меня представляли со всяческим уважением, а то, что говорилось «о моем американском зяте, муже бедняжки Дженни, Джеймсе К. Додде, известном маскегонском миллионере», вполне могло исполнить гордостью сердце любящего сына.

Сначала моим проводником по городу был назначен дряхлый клерк моего деда, приятный, робкий человечек, питавший большую склонность к виски. В компании этого безобидного, но отнюдь не аристократического спутника я осмотрел «трон Артура» и Колтон-Хилл, послушал, как играет оркестр в саду на Принсис-стрит, поглядел на исторические реликвии и на кровь Риччио в величественном замке на утесе и влюбился и в этот замок, и в бесчисленные

колокольни, и в красивые здания, и в широкие проспекты, и в узенькие, кишащие народом улочки старинного города, где мои предки жили и умирали в те дни, когда никто еще не слыхал о Христофоре Колумбе.

Однако куда больше меня интересовала реликвия совсем иного рода, а именно: мой дед Александр Лауден. В свое время этот почтенный старец был простым каменщиком и, как мне кажется, сумел разбогатеть исключительно благодаря практической сметке, а не каким-то особым достоинствам. Его внешность, речь и манеры недвусмысленно указывали на его скромное прошлое, что было источником вечных мучений для дяди Эдама. Под его ногтями, несмотря на тщательный надзор, постоянно появлялся траур, одежда висела на нем мешком, как праздничный костюм на поденщике, речь его была простонародной, и даже в лучшие свои минуты, когда он соглашался хранить молчание, самое его присутствие в уголке гостиной, его обветренное морщинистое лицо, его редкие волосы, его мозолистые руки и веселая лукавая усмешка безжалостно выдавали тот неприятный факт, что семья наша «вышла из низов». Как бы ни жеманилась моя тетушка, как бы ни задирали нос мои кузены и кузины, ничто не могло противостоять весомой физической реальности — старику каменщику, сидящему в уголке у камина.

То, что я американец, давало мне одно преимущество: мне и в голову не приходило стыдиться деда, и старик не преминул это заметить. Он с большой нежностью вспоминал мою мать — вероятно, потому, что у него сложилась привычка сравнивать ее с дядей Эдамом, которого он презирал до неистовства, — и решил, что свое почтительное отношение к нему я унаследовал от его любимицы. Когда мы отправлялись с ним на прогулку — а скоро эти прогулки стали ежедневными, — он иногда (не забыв шепотом предупредить меня, чтобы я не проговорился об этом Эдаму) заходил в какой-нибудь трактир, где прежде бывал частым гостем, и там (если ему везло и он встречал своих старинных приятелей) с великой гордостью представлял меня честной компании, отпуская одновременно шпильку по адресу остальных своих потомков.

«Это сынок моей Дженни, — говаривал он в таких случаях. — Вот он — паренек хороший, не в пример другим». Во время наших прогулок мы не осматривали исторических древностей и не любовались видами, вместо этого мы посещали один за другим унылые окраинные кварталы. Интересны они были потому, что, как заявлял старик, он был подрядчиком, который их строил, а порой и единственным архитектором, который их планировал. Мне редко приходилось видеть более безобразные дома — их кирпичные стены, казалось, краснели, а черепичные крыши бледнели от стыда. Но я умел скрывать свои чувства от дряхлого ремесленника, и, когда он указывал на какой-нибудь очередной образчик уродства, обычно добавляя замечание вроде: «Вот эту штуку придумал я: дешево, красиво и всем пришлось по душе, а потом эту мыслишку у меня позаимствовали, и под Глазго есть целые кварталы с такими вот готическими башенками и плинтусами», — я торопился вежливо выразить свое восхищение и (заметив, что это доставляет ему особенное удовольствие) осведомиться, во сколько обошлось каждое такое украшение. Нетрудно догадаться, что наиболее частой и приятной темой наших разговоров был Маскегонский капитолий.

Я по памяти начертил для деда все планы этого здания, а он с помощью узкой и длинной книжицы, полной всяческих цифр и таблиц (справочника Молесворта, если не ошибаюсь), которую всюду носил с собой в кармане, составлял примерные сметы и покупал с воображаемых торгов воображаемые подряды. Наших маскегонских строителей он окрестил шайкой стервятников, и эта интересная для обеих сторон тема в соединении с моими познаниями в области архитектуры, теории деформации и цен на строительные материалы в Соединенных Штатах послужила надежной основой для сближения старика и юноши, в остальных отношениях совсем друг на друга не похожих, и заставила моего деда с большим жаром называть меня «умнейшим пареньком». Таким-то образом, как вы в свое время увидите, капитолий моего родного штата вторично оказал сильнейшее влияние на течение моей жизни.

Однако, покидая Эдинбург, я не подозревал о том, какую значительную услугу успел себе оказать, и чувствовал только огромное облегчение от сознания, что расстаюсь наконец с этим довольно-таки скучным домом и отправляюсь в город радужных надежд — в Париж. У каждого человека есть своя заветная мечта, а я мечтал о занятиях искусством, о студенческой жизни в Латинском квартале и о мире Парижа, каким описал его мрачный волшебник — автор «Человеческой комедии». И я не разочаровался. Впрочем, я и не мог разочароваться, ибо видел не реальный Париж, а тот, который рисовало мне воображение. Моим соседом в безобразном, пропитанном запахами кухни пансионе на улице Расина, где я поселился, был З. Марка; в захудалом ресторанчике я обедал за одним столом с Лусто и Растиньяком; а если на перекрестке на меня чуть не наезжал изящный кабриолет, значит, им правил Максим де Трай. Как я уже сказал, обедал я в дешевом ресторанчике, а жил в дешевом пансионе — но не из нужды, а из романтических побуждений. Отец щедро снабжал меня деньгами, и если бы я только пожелал, то мог бы жить на площади Звезды и ездить на занятия в собственном экипаже. Однако тогда вся прелесть парижской жизни была бы для меня утрачена: я остался бы прежним Лауденом Доддом, в то время как теперь я был студентом Латинского квартала, преемником Мюрже, и в самом деле жил так, как жили герои тех книг, которые я, погружаясь в мир мечты, запоем читал и перечитывал в лесах Маскегона.

В те годы мы, обитатели Латинского квартала, все были немножко помешаны на Мюрже. Поставленная театром «Одеон» пьеса «Жизнь богемы» (удивительно скучная и сентиментальная вещь) выдержала невиданное (для Парижа) число представлений и возродила созданную Мюрже легенду. Поэтому во всех мансардах нашего квартала разыгрывалось в частном порядке одно и то же представление, и добрая треть студентов вполне сознательно и к огромному собственному удовольствию старалась во всем подражать Родольфу или Шон-ару. Некоторые из нас заходили в этом очень далеко, а другие — еще дальше. Я, например, с величайшей завистью взирал на некоего моего соотечественника, который снимал мастерскую на улице Его Высочества Принца, носил сапоги, собирал свои длинные волосы в сетку и в таком облачении ничтоже сумняшеся шествовал в самый паршивый кабачок квартала в сопровождении натурщицы-корсиканки, одетой в живописный костюм своей родины и профессии. Несомненно, требуется некоторое величие души, чтобы придать подобный размах даже капризу; что же касается меня, то я довольствовался тем, что с огромным пылом притворялся бедняком, выходил на улицу в феске и пытался, невзирая на всяческие неприятные приключения, найти давно вымершее млекопитающее — гризетку. Самые большие жертвы я приносил в вопросах еды и питья: я был прирожденным гурманом и обладал тонким вкусом, особенно в отношении вин, так что только глубокая преданность романтическому идеалу давала мне силы прожевывать сдобренные жиром и мускусом блюда и запивать их красными чернилами, которые изготовляются в Берси под видом вина Порой после тяжелого дня в студии, где я трудился прилежно и весьма успешно, меня вдруг охватывало непреодолимое отвращение к подобной жизни, и тогда я, на время покинув дешевые кабачки и своих товарищей, отправлялся вознаградить себя за долгие недели самопожертвования хорошими винами и изысканными яствами. Я усаживался на террасе или в саду какого-нибудь ресторана, раскрывал томик одного из моих любимых писателей и, то принимаясь читать, то откладывая его в сторону, блаженствовал, пока не наступали сумерки и Париж не загорался огнями, а тогда отправлялся домой по набережным, любуясь звездами, наслаждаясь поэзией и приятной сытостью.

Однажды, когда на втором году моего пребывания в Париже я устроил себе такой отдых, со мной случилось приключение, о котором следует рассказать; собственно, к нему-то я и вел, ибо именно благодаря этому приключению я познакомился с Джимом Пинкертоном. Как-то в октябре я обедал совершенно один; на бульварах осыпались рыжие листья и, крутясь, неслись по мостовой. В такие осенние дни впечатлительные люди склонны равным образом и грустить в одиночестве и веселиться в дружеской компании — Ресторан не был особенно модным

заведением, но обладал хорошим погребом, и клиенту предлагалась весьма разнообразная карта вин. Ее-то я и читал с двойным наслаждением человека, любящего и хорошие вина и красивые, звучные названия, когда мой взгляд упал (в самом ее конце) на малоизвестную марку — «руссильонское». Я вспомнил, что никогда еще не пробовал этого вина, тут же заказал бутылку и, найдя ее содержимое превосходным, осушил ее до дна, а затем заказал еще пинтовую бутылку. Оказалось, что руссильонское вино в маленькие бутылки не разливается. «Ладно, — сказал я, — давайте еще одну большую», после чего все погрузилось в туман. Столики в этом заведении стоят близко друг к другу, и когда я немного опомнился, то обнаружил, что веду громогласный разговор с моими ближайшими соседями. Очевидно, такое количество слушателей меня не удовлетворило, так как я отчетливо помню, что обводил взглядом зал, где все стулья были повернуты в мою сторону и откуда на меня смотрели улыбающиеся лица. Я даже помню, что именно я говорил, но, хотя с тех пор прошло уже двадцать лет, стыд по-прежнему жжет меня, и я сообщу вам только одно: речь моя была весьма патриотичной — остальное пусть дорисует ваше воображение. Я собирался отправиться пить кофе в обществе моих новых друзей, но едва вышел на улицу, как почему-то оказался в полном одиночестве. Это обстоятельство и тогда меня почти не удивило, а теперь удивляет еще меньше; но зато я весьма огорчился, когда заметил, что пытаюсь пройти сквозь будку с афишами. Я начал подумывать, не повредила ли мне последняя бутылка, и решил выпить кофе с коньяком, чтобы привести свои нервы в порядок. В кафе «Источник», куда я отправился за этим спасительным средством, бил фонтан, и (что крайне меня изумило) мельничка и другие механические игрушки по краям бассейна, казалось, недавно починенные, выделывали самые невероятные штуки. В кафе было необычайно жарко и светло, и каждая деталь, начиная от лиц клиентов и кончая шрифтом в газетах на столике, выступала удивительно рельефно, а весь зал мягко и приятно покачивался, словно гамак. Некоторое время все это мне чрезвычайно нравилось, и я подумал, что не скоро устану любоваться окружающим, но вдруг меня охватила беспричинная печаль, а затем с такой же быстротой и внезапностью я пришел к заключению, что я пьян и мне следует поскорее лечь спать.

До моего пансиона было два шага. Я взял у швейцара зажженную свечу и поднялся на четвертый этаж в свою комнату. Хотя я и был пьян, мысль моя работала с необычайной ясностью и логичностью. Меня заботило одно: не опоздать завтра на занятия, и, заметив, что часы на каминной полке остановились, я решил спуститься вниз и отдать соответствующее распоряжение швейцару. Оставив горящую свечу на столе и не закрыв двери, чтобы на обратном пути не сбиться с дороги, я стал спускаться по лестнице. Дом был погружен в полный мрак, но, поскольку на каждую площадку выходило только три двери, заблудиться было невозможно, и я мог спокойно продолжать свой спуск, пока не завижу мерцание ночника в швейцарской. Я прошел четыре лестничных марша — никаких признаков швейцарской! Разумеется, я мог сбиться со счета, поэтому я прошел еще один марш, и еще один, и еще один, пока, наконец, не оказалось, что я отшагал их целых девять. Я уже не сомневался, что каким-то образом прошел мимо каморки швейцара, не заметив ее, — по самому скромному подсчету, я спустился уже на пять этажей ниже уровня улицы и находился где-то в недрах земли. Открытие, что мой пансион расположен над катакомбами, было очень интересным, и если бы я не был настроен по-деловому, то, без сомнения, продолжал бы всю ночь исследовать это подземное царство. Но я твердо помнил, что завтра должен встать вовремя и что для этого мне необходимо отыскать швейцара. И вот, повернув обратно и тщательно считая, я стал подниматься до уровня улицы. Я прошел пять… шесть… семь маршей — попрежнему никаких следов швейцара. Все это мне порядком надоело, и, сообразив, что моя комната уже совсем близко, я решил вернуться в нее и лечь спать. Я продолжал подъем и вскоре оставил за собой восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый марши лестницы, но моя открытая дверь, казалось, исчезла так же, как швейцар и его ночник. Я вспомнил, что в самой своей высокой точке этот дом насчитывает шесть этажей, из чего следовало, что я

находился теперь по меньшей мере на три этажа выше крыши. Сначала мое приключение казалось мне забавным, но теперь оно, вполне естественно, начало меня раздражать. «Моя комната должна быть здесь, и все», — сказал я и, вытянув руки, направился к двери. Двери не было, не было и стены, вместо них передо мной зиял темный коридор. Некоторое время я шел по нему, не встречая никакого препятствия. И это в доме, где на каждом этаже были только три маленькие комнаты, выходившие прямо на лестничную площадку! Происходившее было настолько нелепо, что я, как вы легко поймете, окончательно потерял терпение. Тут я заметил у самого пола узкую полоску света, исследовал стену, нащупал дверную ручку и без всяких церемоний вошел в какую-то комнату. Там я увидел молодую девушку, которая, судя по ее весьма домашнему туалету, собиралась ложиться спать.

— Простите мое вторжение, — сказал я, — но я живу в двенадцатом номере, а с этим проклятым домом произошло что-то непонятное.

Поглядев на меня, она ответила:

— Если вы будете так любезны выйти отсюда на несколько минут, я вас туда провожу.

Таким образом, вопрос был улажен при полной невозмутимости обеих сторон. Я стал ждать в коридоре. Вскоре незнакомка вышла в халате, взяла меня за руку, повела вверх по лестнице (то есть на четвертый этаж выше крыши) и втолкнула в мою комнату, где, чрезвычайно утомленный всеми этими удивительными открытиями, я немедленно бросился на постель и заснул, как ребенок.

Я рассказал вам об этом происшествии так, как оно мне представлялось ночью; однако на следующее утро, проснувшись и вспоминая о нем, я не мог не признать, что многое из случившегося выглядит весьма неправдоподобно. Вопреки вчерашним добродетельным намерениям, настроения идти в студию у меня не было, и вместо этого я отправился в Люксембургский сад, чтобы там в обществе воробьев, статуй и осыпающихся листьев остудить голову и привести в порядок мысли. Я очень люблю этот сад, занимающий столь видное место и в истории и в литературе. Баррас и Фуше выглядывали из окон этого дворца. На этих скамьях писали стихи Лусто и Банвиль (первый кажется мне не менее реальным, чем второй). За садовой решеткой кипит городская жизнь, а внутри шелестит листва деревьев, щебечут воробьи и дети, смотрят вдаль статуи. Я устроился на скамье напротив входа в музей и начал размышлять о событиях прошлой ночи, стараясь (насколько был в состоянии) отделить истину от фантазии.

При дневном свете оказалось, что в доме только шесть этажей, как было и прежде. Со всем моим архитектурным опытом я не мог втиснуть в его высоту все эти бесконечные лестничные марши, и он был слишком узок, чтобы вместить в себя длинный коридор, по которому я шел ночью. Однако самым неправдоподобным было даже не это. Мне вспомнился прочитанный когдато афоризм, гласивший, что все может оказаться не соответствующим себе, кроме человеческой натуры. Дом может вырасти или расшириться — во всяком случае, на взгляд хорошо пообедавшего человека. Океан может высохнуть, скалы — рассыпаться в прах, звезды — попадать с небес, словно яблоки осенью, и философ ничуть не удивится. Но встреча с молодой девушкой была случаем иного порядка. В этом отношении от девушек толку мало; или, скажем, мало толку применять к ним подобные правила; иначе говоря (можно и так взглянуть на дело), они существа высшего толка. Я готов был принять любую из этих точек зрения, так как все они приводили, в сущности, к одному выводу, к которому я уже начал склоняться, когда мне в голову пришел еще один аргумент, окончательно его подтвердивший. Я помнил наш разговор дословно — ну, так вот: я заговорил с ней по-английски, а не по-французски, и она ответила мне на том же языке. Отсюда следовало, что все ночное происшествие было сном, и катакомбы, и лестницы, и милосердная незнакомка.

Едва я успел прийти к этому заключению, как по осеннему саду пронесся сильный порыв ветра, посыпался дождь сухих листьев и над моей головой с громким чириканьем взвилась

стайка воробьев. Этот приятный шум длился всего несколько мгновений, но он успел вывести меня из рассеянной задумчивости, в которую я был погружен. Я быстро поднял голову и увидел перед собой молодую девушку в коричневом жакете, которая держала в руках этюдник. Рядом с ней шел юноша несколькими годами старше меня; под мышкой он нес палитру. Их ноша, а также направление, в котором они шли, подсказали мне, что они идут в музей, где девушка, несомненно, занимается копированием какой-нибудь картины. Представьте же себе мое изумление, когда я узнал в ней мою вчерашнюю незнакомку! Если у меня и были сомнения, они мгновенно рассеялись, когда — наши взгляды встретились и она, поняв, что я узнал ее, и вспомнив, в каком наряде была она во время нашей встречи, с легким смущением отвернулась и стала смотреть себе под ноги.

Я не помню, была ли она хорошенькой, или нет, но при нашей первой встрече она проявила столько здравого смысла и такта, а я играл такую жалкую роль, что теперь мне страшно захотелось показать себя в более выгодном свете. Ее спутник был, вероятнее всего, ее братом, а братья склонны действовать без долгих размышлений, поскольку им еще в детские годы приходится играть роль защитника и покровителя, и я решил, что ввиду этого мне следует немедленно принести свои извинения, тем самым предупредив возможность будущих осложнений.

Рассудив так, я приблизился ко входу в музей и едва успел занять подходящую позицию, как оттуда вышел тот самый молодой человек, о котором я думал. Так я столкнулся с третьим фактором, определившим мою судьбу, ибо мой жизненный путь сложился под влиянием следующих трех элементов: моего отца, капитолия штата Маскегон и моего друга Джима Пинкертона. Что же касается молодой девушки, которая в ту минуту занимала все мои мысли, то ее я с тех пор больше не видел и ничего о ней не слышал — вот великолепный пример игры в жмурки, которую мы зовем жизнью.

ГЛАВА III

В КОТОРОЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ МИСТЕР ПИНКЕРТОН

Незнакомец, как я уже говорил, был на несколько лет старше меня. Он был хорошо сложен, обладал очень подвижным лицом и весьма дружелюбными манерами, а глаза у него были серые, живые и быстрые.

— Простите, можно сказать вам два слова? — начал я.

— Мой дорогой сэр, — перебил он, — хотя я не знаю, о чем вы хотите говорить, но готов выслушать хоть тысячу слов.

— Вы только что сопровождали молодую особу, по отношению к которой я совершенно непреднамеренно был невежлив. Обратиться прямо к ней значило бы снова поставить ее в неловкое положение, и поэтому я пользуюсь возможностью принести свои нижайшие извинения человеку одного со мной пола, ее другу и, может быть, — добавил я, поклонившись, — защитнику по крови.

— Вы мой соотечественник, в этом нет сомнения! — вскричал он. — Доказательство тому — ваша деликатность по отношению к незнакомой вам женщине. И она вполне заслуживает самого высокого уважения. Я был представлен ей на званом чае у моих друзей и, встретившись с ней сегодня утром, разумеется, предложил помочь ей нести ее палитру. Мой дорогой сэр, могу ли я узнать ваше имя?

Я был очень разочарован, узнав, что он совсем посторонний моей незнакомке, и предпочел бы уйти, но не мог этого сделать, так как начал разговор первым. Впрочем, этот молодой человек чем-то мне понравился.

— Меня зовут, — ответил я, — Лауден Додд. Я приехал сюда из Маскегона учиться ваянию.

— Ваянию? — повторил он так, словно это показалось ему очень странным. — А меня зовут Джим Пинкертон. Очень рад с вами познакомиться.

— Пинкертон? — в свою очередь, удивился я. — Не вы ли Пинкертон «Гроза табуреток»?

Он подтвердил мою догадку с веселым мальчишеским смехом, и действительно любой житель Латинского квартала мог бы гордиться столь почетным прозвищем.

Чтобы объяснить, откуда оно взялось, мне придется несколько отвлечься и сообщить кое-какие сведения, касающиеся истории нравов XIX столетия; такое отступление может быть интересным и само по себе. В те времена в некоторых студиях новичков «крестили» самыми варварскими и гнусными способами. Но два происшествия, последовавшие одно за другим, помогли развитию цивилизации, и (как это часто бывает) именно благодаря тому, что в ход тоже были пущены самые варварские средства. Первое случилось вскоре после появления в студии новичка-армянина. На голове его была феска, а в кармане (о чем никто не знал) — кинжал. «Крестить» его начали в самом обычном стиле и даже — изза головного убора жертвы — куда более буйно, чем других. Сначала он переносил все с подзадоривающим терпением, но, когда кто-то из студентов позволил себе действительно непростительную грубость, выхватил свой кинжал и без всякого предупреждения всадил его в бок шутнику. Рад сообщить, что последнему пришлось пролежать несколько месяцев в кровати, прежде чем он смог снова приступить к занятиям. Свое прозвище Пинкертон приобрел в результате второго происшествия. Однажды в набитой народом студии трепещущий новичок подвергался особенно жестоким и подленьким шуточкам. Вдруг высокий бледный юноша вскочил со своего табурета и завопил: «А ну, англичане и американцы, разгоним эту лавочку!» Англосаксы жестоки, но не любят подлости, и призыв встретил горячую поддержку. Англичане и американцы схватили свои табуреты, и через минуту окровавленные французы уже в беспорядке отступали к дверям, бросив онемевшую от изумления жертву. В этой битве и американцы и англичане покрыли себя равной славой, но я горжусь тем, что зачинщиком был американец и притом горячий патриот, которого как-то впоследствии на представлении «L'oncle Sam»[8] пришлось оттеснить в глубь ложи и не подпускать к барьеру, потому что он то и дело выкрикивал: «О моя родина, моя родина!» А еще один американец (мой новый знакомый Пинкертон) больше всех отличился во время сражения. Одним ударом он раскрошил свой табурет, и самый грозный из его противников, отлетев в сторону, пробил спиной то, что на нашем жаргоне именовалось «добросовестно обнаженной натурой». Говорят, что обратившийся в паническое бегство воин так и выскочил на улицу, обрамленный разорванным холстом.

Нетрудно понять, сколько разговоров вызвало это событие в студенческом квартале и как я был рад встрече с моим прославленным соотечественником. В то же утро мне было суждено самому познакомиться с донкихотской стороной его натуры. Мы проходили мимо мастерской одного молодого французского художника, чьи картины я давно уже обещал посмотреть, и теперь, в полном согласии с обычаями Латинского квартала, я пригласил Пинкертона пойти к нему вместе со мной. В те времена среди моих товарищей попадались крайне неприятные личности. Настоящие художники Парижа почти всегда вызывали мое горячее восхищение и уважение, но добрая половина студентов оставляла желать много лучшего — настолько, что я часто недоумевал, откуда берутся хорошие художники и куда деваются буяны-студенты. Подобная же тайна окутывает промежуточные ступени медицинского образования и, наверное, не раз ставила в тупик даже самых ненаблюдательных людей. Во всяком случае, субъект, к которому я привел Пинкертона, был одним из самых мерзких пьяниц квартала. Он предложил нам полюбоваться огромным полотном, на котором был изображен святой Стефан: мученик лежал в луже крови на дне пересохшего водоема, а толпа иудеев в синих, зеленых и желтых одеждах побивала его — судя по изображению — сдобными булочками. Пока мы смотрели на это творение, хозяин развлекал нас рассказом о недавнем эпизоде из собственной биографии, в котором он, как ему представлялось, играл героическую роль. Я принадлежу к тем

американцам-космополитам, которые принимают мир (и на родине и за границей) таким, каков он есть, и предпочитают оставаться зрителями, однако даже я слушал эту историю с плохо скрываемым отвращением, как вдруг почувствовал, что меня отчаянно тянут за рукав.

— Он говорит, что спустил ее с лестницы? — спросил Пинкертон, побелев, как святой Стефан.

— Да, — ответил я. — Свою любовницу, которая ему надоела. А потом стал швырять в нее камнями. Возможно, именно это и подсказало ему сюжет его картины. Он только что привел убедительнейший довод — она была так стара, что годилась ему в матери.

Пинкертон издал странный звук, похожий на всхлипывание.

— Скажите ему, — пробормотал он, задыхаясь, — а то я не говорю по-французски, хотя кое-что понимаю… Так скажите ему, что я сейчас вздую его.

— Ради бога, воздержитесь! — вскричал я. — Они тут этого не понимают!

— И я попытался увести его.

— Ну, хотя бы скажите ему, что мы о нем думаем. Дайте я ему выскажу, что о нем думает честный американец.

— Предоставьте это мне, — сказал я, выталкивая Пинкертона за дверь.

— Qu'est ce qu'il a?[9] — спросил студент.

— Monsieur se sent mal au coeur d'avoir trop regarder votre croute,[10] — ответил я и ретировался вслед за Пинкертоном.

— Что вы ему сказали? — осведомился тот.

— Единственное, что могло его задеть, — сообщил я.

После этой сцены, после той вольности, которую я позволил себе, вытолкнув моего спутника за дверь, после моего собственного не слишком достойного ухода мне оставалось только предложить ему пообедать со мной. Я забыл название ресторанчика, в который мы пошли, во всяком случае, он находился где-то за Люксембургским дворцом, а позади него был сад, и мы через несколько минут уже сидели там за столиком друг против друга и, как водится в юности, обменивались сообщениями о своей жизни и вкусах.

Родители Пинкертона приехали в Штаты из Англии, где, как я понял, он и родился, хотя у него была привычка об этом забывать. То ли он сам убежал из дому, то ли его выгнал отец, не знаю, но, во всяком случае, когда ему было двенадцать лет, он уже начал вести самостоятельную жизнь. Бродячий фотограф подобрал его, словно яблоко-паданец, на обочине дороги в Нью-Джерси. Маленький оборвыш понравился ему, он взял его себе в подручные, научил всему, что знал сам, то есть изготовлять фотографии и сомневаться в священном писании, а затем умер в придорожной канаве где-то в Огайо.

— Он был замечательным человеком, — говорил Пинкертон. — Видели бы вы его, мистер Додд! Он был благообразен, как библейский патриарх!

После смерти своего покровителя мальчик унаследовал его фотографические принадлежности и продолжал дело.

— Такая жизнь пришлась мне по душе, — рассказывал он. — Я побывал во всех живописных уголках замечательного континента, наследниками которого мы с вами родились. Видели бы вы мою коллекцию фотографий! Эх, жаль, что у меня нет ее с собой! Я делал эти снимки для себя на память, и на них запечатлены и самые величественные и самые чарующие явления природы.

Бродя по Западным штатам и территориям и занимаясь фотографией, он читал все книги, которые попадались ему под руку, — хорошие, плохие и средние, увлекательные и скучные, начиная от романов Сильвена Кобба и кончая «Началами» Эвклида, причем, к моему величайшему изумлению, выяснилось, что и того и другого автора он умудрился прочесть от

корки до корки. Наделенный большой наблюдательностью и отличной памятью, подросток собирал сведения о людях, промышленности, природе и накапливал у себя в голове массу отвлеченных знаний и благородных представлений, которые в простоте душевной считал естественными и обязательными для всякого истинного американца. Быть честным, быть патриотом, обеими руками с одинаковым жаром загребать культуру и деньги — вот каковы были его принципы. Позже (разумеется, не при первой нашей встрече) я иногда спрашивал его, зачем это ему нужно. «Чтобы создать национальный тип! — заявлял он с горячностью. — Это наша общая обязанность, мы все должны стремиться к осуществлению американского типа! Лауден, это единственная надежда человечества. Если мы потерпим неудачу, как все эти старые феодальные монархии, то что же останется?»

Занятия фотографией не удовлетворяли его честолюбивых стремлений — они ни к чему не вели, объяснил он, в них отсутствовал дух современности — и вот, переменив профессию, он стал спекулировать железнодорожными билетами. Как подобные спекуляции осуществлялись, я не понял, хотя суть их, по-видимому, заключалась в том, чтобы лишить железную дорогу части ее доходов.

— Я отдался этому занятию всей душой, — рассказывал он. — Я недоедал и недосыпал, и даже самые опытные мои собратья признавали, что я постиг все тонкости дела за один месяц и революционизировал его еще до истечения года. И оно страшно увлекательно. Ведь это же очень интересно: наметить клиента, в одну секунду понять его характер и вкусы, выскочить из конторы и ошеломить его предложением билета до того самого места, куда он собирался ехать. Не думаю, что кто-нибудь во всей стране делал меньше ошибок, чем я. Но для меня это ремесло было лишь переходной стадией. Я копил деньги, я думал о будущем. Я знал, что мне нужно: богатство, образование, культурный семейный очаг, умная, образованная жена. Да, мистер Додд, — тут он повысил голос, — каждый человек должен искать жену выше себя по положению, а главное — в духовном отношении. Иначе это не брак, а чувственность. По крайней мере таково мое мнение. Вот для чего я делал сбережения, и немалые! Однако не всякий — нет, далеко не всякий! — решился бы на то, на что решился я: закрыть процветающее агентство в Сент-Джо, где я загребал деньги лопатой, и одному, без друзей, не зная ни слова по-французски, приехать сюда, чтобы истратить свой капитал на обучение искусству.

— Это была давняя склонность, — спросил я, — или минутный каприз?

— Ни то и ни другое, мистер Додд, — признался он. — Конечно, в те времена, когда я был бродячим фотографом, я научился понимать и ценить красоту природы. Но дело не в этом. Я просто спросил себя, что в данную эпоху нужнее всего моей стране. Побольше культуры и побольше искусства, ответил я себе. И вот, выбрав самое лучшее место, где можно приобрести необходимые знания, я накопил денег и приехал сюда.

Глядя на Пинкертона, я испытывал восхищение и стыд. У него в мизинце было больше энергии, чем во всем моем теле; он был нашпигован всяческими завидными добродетелями; он буквально излучал бережливость и мужество; а если его художественное призвание и казалось (по крайней мере человеку с моей требовательностью в этом отношении) несколько смутным, то, во всяком случае, трудно было предугадать, чего может добиться человек, исполненный такого энтузиазма, обладающий такой душевной и физической силой. Поэтому, когда он пригласил меня к себе посмотреть его произведения (один из обычных этапов развития дружбы в Латинском квартале), я пошел с ним, исполненный больших ожиданий и интереса.

Ради экономии он снимал дешевую мансарду в многоэтажном доме вблизи обсерватории; мебелью ему служили его собственный сундук и чемоданы, а обоями — его собственные отвратительные этюды. Я не выношу говорить людям неприятности, но есть область, в которой я не умею льстить, не краснея: это — искусство и все, что с ним связано; тут моя прямота бывает поистине римской. Дважды я медленно проследовал вдоль стен, ища хоть какого-нибудь проблеска таланта, а Пинкертон шел за мной, исподтишка стараясь по моему лицу

догадаться о приговоре, с волнением снимал очередной этюд, чтобы я мог лучше рассмотреть, и (после того, как я молча старался найти в картине хоть какиенибудь достоинства — и не находил) жестом, полным отчаяния, отбрасывал его в сторону. К тому времени, когда я кончил обходить комнату во второй раз, нами обоими овладело крайнее уныние.

— Ах, — простонал он, нарушая долгое молчание, — вы можете ничего не говорить! И так все ясно.

— Вы хотите, чтобы я был откровенен с вами? По моему мнению, вы зря тратите время, — сказал я.

— Вы не видите никаких проблесков? — спросил он со внезапно пробудившейся надеждой. — Даже в этом натюрморте с дыней? Одному моему товарищу он понравился.

Мне оставалось только еще раз со всей внимательностью рассмотреть дыню, что я и проделал, но потом опять покачал головой.

— Мне очень жаль, Пинкертон, — сказал я, — но я не могу посоветовать вам и дальше заниматься живописью.

Он, казалось, в эту минуту снова обрел мужество, оттолкнувшись от разочарования, словно резиновый.

— Так, — решительно произнес он, — честно говоря, ваши слова меня не удивили. Но я буду продолжать обучение и отдам ему все силы. Не думайте, что я теряю время зря. Ведь это все культура, и она поможет мне расширить сферу моей деятельности, когда я вернусь на родину. Может быть, мне удастся устроиться в какой-нибудь иллюстрированный журнал, а на крайний случай я всегда могу стать торговцем картинами, — добавил он простодушно, хотя от такого чудовищного предположения мог, казалось, рухнуть весь Латинский квартал. — Ведь все это жизненный опыт, — продолжал Пинкертон, — а, по-моему, люди склонны недооценивать опыт и как доходную статью и как выгодное помещение капитала. Ну, да все равно. С этим кончено. Однако, для того, чтобы сказать то, что вы сказали, требуется большое мужество, и я никогда этого не забуду. Вот моя рука, мистер Додд. Я неровня вам и по культуре и по таланту…

— Ну, об этом вы судить не можете, — перебил я. — Свои работы вы мне показали, но ведь моих еще не видели.

— И то правда! — вскричал он. — Так пойдемте посмотрим их сейчас. Но я знаю, что мне до вас далеко. Я это просто чувствую.

Сказать по правде, мне было почти стыдно вести его в мою мастерскую. Хороши ли, плохи ли были мои работы, все равно они неизмеримо превосходили его творения. Однако хорошее настроение уже успело к нему вернуться, и я только диву давался, слушая, как он весело болтает о всяческих новых замыслах. В конце концов я понял, в чем суть: передо мной был не художник, который понял, что бездарен, а просто делец, узнавший (может быть, слишком внезапно), что из двадцати заключенных им сделок одна оказалась неудачной.

А кроме того (хотя тогда я об этом и не подозревал), он уже искал утешения у другой музы и льстил себя мыслью, что отблагодарит меня за искренность, укрепит нашу дружбу и (с помощью того же средства) докажет мне свою талантливость. Уже по пути, стоило мне заговорить о себе, он вытаскивал блокнот и что-то быстро в него записывал, а когда мы вошли в мастерскую, он повторил эту операцию и, прижав карандаш к губам, обвел неуютный зал внимательным взглядом.

— Вы собираетесь сделать набросок моей мастерской? — не удержался я от вопроса, снимая покров с Гения штата Маскегон.

— Это секрет, — сказал он. — Ну ничего. И мышь может помочь льву.

Он обошел вокруг моей статуи, и я объяснил ему мой замысел. Маскегон я изобразил в виде юной — совсем еще юной — матери несколько индейского типа; на коленях она держала

крылатого младенца, символизировавшего взлет, который обещало нашему штату будущее, а восседала она на груде обломков греческих, римских и готических статуй, служивших напоминанием о тех странах, где жили наши предки.

— Вы удовлетворены своим произведением, мистер Додд? — спросил Пинкертон, когда я закончил объяснения.

— Ну, — ответил я, — мои товарищи считают, что для начала это не так уж плохо. Признаться, я и сам того же мнения. Отсюда статуя видна в наиболее выгодном ракурсе. Да, мне кажется, у нее есть кое-какие достоинства, — добавил я, — но я намереваюсь лепить еще лучше.

— Именно так! — вскричал Пинкертон. — Хорошо сказано! — И он принялся что-то царапать в своем блокноте.

— Что на вас нашло? — осведомился я. — Это же самое обычное и заурядное выражение.

— Чудесно! — удовлетворенно хмыкнул Пинкертон. — Гений, не сознающий собственной гениальности. Ну до чего же хорошо все ложится! — И он снова начал яростно писать.

— Если вы решили рассыпаться в любезностях, — заметил я, — то балаган закрывается. — И я сделал движение, собираясь набросить покров на статую.

— Нет, нет, — сказал он, — погодите! Расскажите мне еще что-нибудь. Что именно в ней хорошо?

— Я предпочел бы, чтобы вы сами это решили, — ответил я.

— Беда в том, — возразил он, — что я никогда не занимался скульптурой, хотя, конечно, часто любовался статуями, как всякий человек, наделенный душой. Сделайте мне одолжение, объясните, что вам в ней нравится, к чему вы стремились и каковы ее достоинства. Это будет полезно для моего образования.

— Ну хорошо. В скульптуре в первую очередь важен общий эффект. Ведь, по сути, она разновидность архитектуры, — начал я и прочел целую лекцию об этом виде искусства, используя в качестве иллюстрации свой шедевр, — лекцию, которую я, с вашего разрешения (или без такового), опущу целиком и полностью.

Пинкертон слушал с глубочайшим интересом, задавал вопросы, изобличавшие в нем человека не слишком образованного, но наделенного большой практической сметкой, и продолжал царапать в своем блокноте, вырывая листок за листком. То, что мои слова записываются, словно лекция какого-нибудь профессора, вдохновляло меня, а поскольку я еще никогда не имел дела с прессой, то и не подозревал, что записываются они почти все наоборот. По той же самой причине (хотя американцу это может показаться невероятным) мне и в голову не приходило, что они будут сдобрены приправой легких сплетен, а меня самого и мои художественные произведения превратят в фарш, чтобы доставить удовольствие читателям какой-то воскресной газеты. Когда фонтан моего лекторского красноречия иссяк. Гений Маскегона был уже окутан ночным мраком. Однако я расстался с моим новым другом только после того, как мы условились встретиться на следующий день.

Надо сказать, что мой соотечественник мне очень понравился, и при дальнейшем знакомстве он продолжал в равной мере интересовать, забавлять и очаровывать меня. Говорить о его недостатках я не хочу, и не только потому, что благодарность запечатывает мои уста, но и потому, что недостатки эти порождались воспитанием, которое он получил, и, как нетрудно заметить, он взлелеял и развивал их, считая добродетелями. Однако не могу отрицать, что он был для меня весьма беспокойным другом, и беспокойства эти начались очень скоро.

Тайну блокнота я открыл недели две спустя после первой нашей встречи. Милейший Пинкертон, как обнаружилось, посылал корреспонденции в одну из газет Дальнего Запада и

очередную статью посвятил описанию моей особы. Я указал ему, что он не имел на это права, не попросив предварительно моего разрешения.

— Ох, как хорошо! — воскликнул он. — Я так и думал, что вы не поняли, в чем дело, да только не верилось: слишком уж это была бы большая удача.

— Но, мой милый, вы же были обязаны предупредить меня! — возразил я.

— Конечно, так полагается, — согласился он, — однако, поскольку мы друзья, а я затеял все, только чтобы услужить вам, мне казалось, что можно обойтись и без этого. Я хотел, по возможности, устроить вам сюрприз; я хотел, чтобы вы, как лорд Байрон, в один прекрасный день проснулись и узнали, что вами полны все газеты. Признайте, что такая мысль была вполне естественной. А ведь никто не любит заранее хвастать еще не оказанной услугой.

— Господи! Да почему вы вообразили, что я считаю это услугой? — воскликнул я.

Он немедленно погрузился в уныние.

— Вы считаете, что я позволил себе непростительную вольность, — сказал он. — Все ясно. Уж лучше бы я отрубил себе руку! Я остановил бы статью, да только поздно. Она, наверное, уже в наборе. А я-то еще писал ее с такой гордостью и удовольствием!

Теперь я думал только о том, как бы утешить его.

— О, это все пустяки, — сказал я. — Я знаю, что вы хотели сделать мне приятное, и, уж наверное, статья написана с большим вкусом и тактом.

— Ну, в этом вы можете не сомневаться! — вскричал он. — И какая газета! Первокласснейшая — «Санди Геральд» города Сент-Джозеф. А эту серию корреспонденции придумал я сам: явился к редактору, изложил ему мою мысль, он был покорен ее свежестью, и я вышел из его кабинета с договором в кармане. Свою первую парижскую корреспонденцию я написал в тот же вечер, не покидая Сент-Джо. Редактор только глянул на заголовок и сказал: «Вас-то нам и нужно!»

Это описание литературного жанра, в котором мне предстояло фигурировать, отнюдь меня не успокоило, но я промолчал и терпеливо ждал, пока однажды мне не была доставлена газета, помеченная: «С приветом от Д. П.». Я не без страха развернул ее и между отчетом о боксерском состязании и юмористической статьей о выведении мозолей — ну что можно найти смешного в выведении мозолей! — обнаружил полтора столбца, посвященных мне и моей несчастной скульптуре. Я, как и редактор, взявший в руки первую корреспонденцию, только скользнул взглядом по заголовку и был более чем удовлетворен.

НОВОЕ ЗАБОРИСТОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПИНКЕРТОНА

ПАРИЖСКИЕ ХУДОЖНИКИ

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ МАСКЕГОНСКИЙ КАПИТОЛИЙ

Сын миллионера Додда

Патриот и ваятель

Он намерен лепить еще лучше

В тексте под заголовком мне бросились в глаза убийственные фразы вроде: «несколько мясистая фигура», «ясная интеллектуальная улыбка», «гения, не сознающий собственной гениальности». «Скажите, мистер Додд, — продолжал репортер, — что вы думаете о сугубо американском скульптурном стиле?» Да, этот вопрос был мне задан, и — увы! — я действительно на него ответил, и дальше следовал мой ответ, или, вернее, какое-то крошево из моего ответа, напечатанное равнодушным шрифтом для всеобщего обозрения. Я горячо поблагодарил бога, что студенты-французы не знают английского языка, но тут же вспомнил об англичанах: например, о Майнере, о братьях Стеннис… Я готов был избить Пинкертона.

Чтобы отвлечься (если только это было возможно) от свалившейся на меня беды, я обратился к письму моего отца, которое пришло с той же почтой. В конверт была вложена газетная вырезка, и мой взгляд снова упал на слова: «сын миллионера Додда», «несколько мясистая фигура», а дальше следовала вся остальная позорящая меня чепуха. «Что подумал об этом мой отец?» — спросил я себя и начал читать письмо:

«Мой дорогой мальчик, посылаю тебе доставившую мне большую радость статью из весьма почтенной газеты, издающейся в Сент-Джозефе. Наконец-то ты начинаешь выбиваться в первые ряды, и я не могу не испытывать восторга и не благодарить бога при мысли, что не многим юношам твоего возраста доводилось занять почти два газетных столбца. О, если бы твоя мать стояла сейчас рядом со мной, читая статью через мое плечо! Но будем надеяться, что она разделяет мою радость на небесах. Разумеется, я послал экземпляр газеты твоим дедушке и дяде в Эдинбург, так что эту вырезку можешь сохранить себе на память. Этот Джим Пинкертон, очевидно, очень полезный знакомый, и, во всяком случае, он обладает огромным талантом, а быть в хороших отношениях с прессой всегда выгодно».

Надеюсь, на том свете мне будет зачтено, что, едва дочитав эти трогательные в своей наивности слова, я перестал сердиться на Пинкертона и почувствовал к нему глубочайшую благодарность. За всю мою жизнь, не считая, пожалуй, только факта моего рождения, я ничем не доставлял отцу большей радости, чем та, которую он испытывал, когда читал статью в «Санди Геральд». Как же глупо с моей стороны было огорчаться! Ведь мне впервые удалось ценой нескольких неприятных минут хоть чем-то возместить мой неоплатный долг отцу. Поэтому, встретившись вслед за этим с Пинкертоном, я был очень мягок. Мой отец весьма доволен и считает, что корреспонденция написана очень талантливо, сказал я ему; что же касается меня, то я предпочитаю не привлекать внимания публики к моей особе, так как убежден, что ее должен интересовать не художник, а только его произведения; поэтому, хотя статья написана с большим тактом, я прошу его как об одолжении впредь этого никогда больше не делать.

— Ну вот, — сказал он уныло, — я вас обидел! Нет, вам не обмануть меня, Лауден. У меня нет деликатности, и это непоправимо.

Он сел и опустил голову на руки.

— Видите ли, в детстве я ведь не мог научиться ничему хорошему, — добавил он.

— Ну что вы, мой милый, — сказал я, — ничего подобного! Только в следующий раз, когда вы захотите оказать мне услугу, пишите о моем творчестве, а мою персону оставьте в стороне и не записывайте моих бессмысленных высказываний. А главное, — добавил я, задрожав, — не сообщайте, как я все это говорил! Вот, например: «С гордой, радостной улыбкой». Кому интересно, улыбался я или нет?

— Вот тут вы ошибаетесь, Лауден, — перебил он меня. — Именно это и нравится читателям, в этом-то и заключается достоинство статьи, ее литературная ценность. Таким образом я воссоздаю перед ними всю сцену, даю возможность самому скромному из наших

сограждан получить от нашего разговора такое же удовольствие, какое получил я сам. Подумайте, что значило бы для меня, когда я был бродячим фотографом, прочесть полтора столбца подлинного культурного разговора, — узнать, как художник в своей заграничной мастерской рассуждает об искусстве, узнать, как он при этом выглядит, и как выглядит его мастерская, и что у него было на завтрак; а потом, поедая консервированные бобы на берегу ручья, сказать себе: «Если все пойдет хорошо, рано или поздно того же самого сумею добиться и я». Да я бы словно в рай заглянул, Лауден!

— Ну, если это может доставить столько радости, — признал я, — пострадавшим не следует жаловаться. Только пусть теперь читателей радует кто-нибудь Другой.

В результате этого происшествия между мной и Пинкертоном завязалась настоящая дружба. Если я чтонибудь понимаю в человеческой натуре (и «если» здесь не простая фигура речи, а означает искреннее сомнение), то могу смело утверждать, что никакие взаимные услуги, никакие совместно пережитые опасности не укрепили бы ее так, как эта ссора, которой удалось избежать, ибо тем самым мы нашли общий язык, несмотря на открывшуюся нам разницу в наших вкусах и понятиях.

ГЛАВА IV, В КОТОРОЙ Я ПОЗНАЮ ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ

Было ли это результатом полученного мною образования и постоянных банкротств в коммерческой академии или сказывались качества, унаследованные от старика Лаудена, эдинбургского каменщика, но я, вне всяких сомнений, был очень бережлив. Беспристрастно разбирая свой характер, я прихожу к заключению, что это единственная добродетель, которой я могу похвалиться. В течение первых двух лет пребывания в Париже я не только никогда не тратил больше того, что высылал мне отец, а, наоборот, успел накопить в банке порядочную сумму. Вы скажете, что вряд ли это было особенно трудно, поскольку я разыгрывал из себя бедняка-студента, однако гораздо легче было бы тратить все до последнего гроша. Просто чудо, что я не пошел по этой дорожке; а на третьем году моей жизни в Париже, то есть вскоре после того, как я познакомился с Пинкертоном, выяснилось, что это не только чудо, но и счастье. В очередной срок деньги от отца не пришли. Я послал ему обиженное письмо с напоминанием и впервые не получил от него никакого ответа. Каблограмма возымела большее действие, так как, во всяком случае, заставила отца вспомнить о моем существовании. «Напишу немедленно», — телеграфировал он мне, однако обещанное письмо пришло очень не скоро. Я недоумевал, сердился, тревожился, но благодаря своей прежней бережливости не испытывал никаких финансовых затруднений. Все затруднения, тревоги, муки отчаяния выпали на долю моего бедного отца, который там, в Маскегоне, боролся с судьбой за существование и богатство и, возвращаясь домой после тяжелого дня бесплодного риска и неудач, перечитывал, может быть, со слезами, последнее злое письмо своего единственного сына, ответить на которое у него не хватало мужества.

Только три месяца спустя, когда от моих сбережений почти ничего не осталось, я получил наконец обещанное письмо вместе с обычным чеком.

«Мой дорогой сынок, — начиналось оно. — Боюсь, что из-за биржевой горячки я не только не отвечал на твои письма, но и не выслал тебе денег. Прости своего старика отца — ему пришлось очень нелегко, а теперь, когда все кончилось, доктор требует, чтобы я переменил обстановку и поехал охотиться в Адирондакские горы. Только не думай, что я нездоров — простое переутомление и упадок душевных сил. Многие из самых видных дельцов не устояли: Джон Т. Брейди удрал в Канаду с чужими капиталами. Билли Сендуит, Чарли Даунс, Джо Кейзер и еще многие из наших видных граждан сели на мель. Но Додд Голова Что Надо снова выстоял бурю, и, мне кажется, я так все устроил, что к осени мы станем богаче, чем были.

Теперь выслушай, сынок, мое предложение: ты писал, что далеко продвинулся в работе над своей первой статуей, — так возьмись же за дело серьезно и кончи ее. Если твой учитель

— все не могу запомнить, как пишется его фамилия, — вышлет мне сертификат, что она отвечает рыночным нормам, ты получишь в свое полное распоряжение десять тысяч долларов, чтобы истратить их здесь или в Париже, как захочешь. Поскольку ты утверждаешь, что там больше возможностей для твоей работы, я даже думаю, что тебе следует купить или выстроить в Париже собственный домик, а там, глядишь, твой старик отец начнет заходить к тебе обедать. Я с удовольствием приехал бы сейчас, потому что начинаю стареть и очень стосковался по своему милому мальчику, но у меня на руках еще несколько спекуляций, которые требуют моего личного присутствия и наблюдения.

Скажи своему другу мистеру Пинкертону, что я каждую неделю читаю его корреспонденции и, хотя напрасно ищу в них имя моего Лаудена, все же кое-что узнаю о той жизни, которую он ведет в этом незнакомом мне Старом Свете, описанном талантливым пером».

Разумеется, ни один молодой человек не сумел бы переварить подобное письмо в одиночестве. Оно означало такую перемену судьбы, что необходим был наперсник, — и таким наперсником я, разумеется, выбрал Джима Пинкертона. Возможно, это отчасти объяснялось тем, что он упоминался в письме; однако не думаю, чтобы последнее обстоятельство сыграло какую-нибудь особую роль, — наше знакомство уже успело перейти в дружбу. Мой соотечественник мне очень нравился; я посмеивался над ним, я читал ему нотации, и я любил его. Он, со своей стороны, глубоко восхищался мной и глядел на меня снизу вверх — ведь я в избытке получил то «образование», о котором он так мечтал. Он ходил за мной по пятам, всегда готов был смеяться моим шуткам, и наши общие знакомые прозвали его «оруженосцем».

Мы с Пинкертоном читали и перечитывали это письмо, причем радовался он не меньше меня, а выражал эту радость куда более бурно. Статуя была уже почти закончена, так что потребовалось всего несколько дней, чтобы подготовить ее к показу. Мой учитель дал свое согласие, и в безоблачное майское утро у меня в мастерской собрались зрители предстоящего испытания. Мой учитель вдел в петлицу пеструю орденскую ленточку. Он пришел в сопровождении двух студентов-французов, моих приятелей; они оба теперь — известные парижские скульпторы. «Капрал Джон» (как мы его называли), вопреки своей сдержанности и своей привычке целиком отдаваться работе, которые с тех пор принесли ему такое уважение во всем мире, на этот раз покинул свой мольберт, чтобы поддержать земляка в столь важную минуту. Милейший Ромни пришел по моей особой просьбе, ибо кто из знавших его не чувствовал, что радость неполна, если он ее не разделяет, а несчастье переносится легче благодаря его утешениям? Кроме того, при церемонии присутствовали Джон Майнер, англичанин, братья Стеннис — Стеннис-аше[11] и Стекнис-frere,[12] как они фигурировали в счетах барбизонеких трактирщиков, — два легкомысленных шотландца, и, разумеется, Джим; от волнения он был бел как полотно, а на лбу у него поблескивали капельки пота.

Полагаю, что и у меня, когда я снимал покрывало с Гения Маскегона, вид был не лучше. Учитель с серьезным видом обошел статую, потом улыбнулся.

— Неплохо. Да, для начала неплохо.

Мы все вздохнули с облегчением, а Капрал Джон (в качестве самого способного студента из числа присутствующих) объяснил ему, что статуя предназначается для украшения общественного здания, своего рода префектуры.

— Как? Что? — вскричал он. — Это еще что такое? А… в Америке, — добавил он, когда ему были даны соответствующие разъяснения. — Ну, это дело другое. Отлично, отлично.

О сертификате с ним пришлось заговорить, как о шутке — как о капризе богача, который в вопросах культуры недалеко ушел от дикарей Фенимора Купера, после чего потребовалось объединение всех наших способностей, чтобы составить сертификат в выражениях, приемлемых для обеих сторон. В конце концов этот документ был сочинен. Капрал Джон написал его своим неразборчивым почерком, учитель освятил своим именем и росчерком, я

сунул его в конверт вместе с уже приготовленным письмом, после чего мы все отправились завтракать — все, кроме Пинкертона, помчавшегося на извозчике отвезти мое послание на почту.

Завтрак был заказан у Лавеню, куда не стыдно пригласить даже своего мэтра. Стол накрыли в саду, блюда я выбирал лично, а над картой вин мы устроили военный совет, что привело к превосходным результатам, и вскоре все уже разговаривали с большим воодушевлением и быстротой, Правда, когда произносились тосты, всем приходилось на несколько минут умолкать. Разумеется, мы выпили за здоровье мэтра, и он ответил короткой остроумной речью, полной изящных намеков на мое будущее и на будущее Соединенных Штатов; затем пили за мое здоровье; затем — за здоровье моего отца, о чем он был немедленно извещен каблограммой. Подобное мотовство и экстравагантность чуть не доконали мэтра. Выбрав в поверенные Капрала Джона (очевидно, исходя из предположения, что он стал уже слишком хорошим художником, чтобы в нем могли сохраниться какие-либо американские черты, кроме имени), он излил свое негодующее изумление в одной несколько раз повторенной фразе: «C'est barbare!».[13] Помимо обмена формальными любезностями, мы разговаривали — разговаривали об искусстве, и разговаривали о нем так, как могут говорить только художники. Здесь, в Южных Морях, мы чаще всего разговариваем о кораблях; в Латинском квартале мы обсуждали вопросы искусства — и с таким же постоянным интересом и, пожалуй, с таким же отсутствием результатов.

Довольно скоро мэтр ушел. Капрал Джон (который в какой-то мере уже сам был молодым мэтром) последовал за ним, после чего все простые смертные, разумеется, почувствовали большое облегчение. Остались только равные среди равных, бутылки заходили по кругу, беседа становилась все более и более оживленной. Мне кажется, я и сейчас слышу, как братья Стеннис произносят свои многословные тирады, как Дижон, мой толстый приятель-француз, сыплет остротами, столь же изящными, как он сам, а другой мой приятель, американец, перебивает говорящих фразами вроде: «Я нахожу, что в отношении тонкости Коро…» или: «для меня Коро — самый…» — после чего, исчерпав свой запас французских слов (он был не силен в этом языке), снова погружается в молчание. Однако он хотя бы понимал, о чем идет речь, что же касается Пинкертона, то шум, вино, солнечный свет, тень листвы и экзотическое удовольствие принимать участие в иностранной пирушке были для него единственным развлечением.

Мы сели за стол около половины двенадцатого, а примерно около двух, когда зашел спор о каких-то тонкостях и в качестве примера была названа какая-то картина, мы решили отправиться в Лувр. Я уплатил по счету, и несколько минут спустя мы всей толпой уже шли по улице Ренн. Погода стояла жаркая, и Париж сверкал тем поверхностным блеском, который очень приятен, когда у вас хорошее настроение, и действует угнетающе, когда на душе грустно. Вино пело у меня в ушах и озаряло все вокруг. Картины, которые мы видели, когда, громко переговариваясь, проходили по галереям, полным бессмертных творений, кажутся мне и теперь прекраснейшими, какие мне только доводилось видеть, а мнения, которыми мы обменивались, казались нам тогда необыкновенно тонкими, глубокомысленными и остроумными.

Но, когда мы вышли из музея, наша компания распалась из-за различия наших национальных обычаев. Дижон предложил отправиться в кафе и запить события дня пивом; старшего Стенниса эта мысль возмутила, и он потребовал, чтобы мы поехали за город, если возможно — в лес, и совершили длинную прогулку. К его мнению немедленно присоединились все англичане и американцы, и даже мне, человеку, над которым часто смеялись за его пристрастие к сидячей жизни, мысль о деревенском воздухе и тишине показалась неотразимо соблазнительной. По наведении справок выяснилось, что мы можем успеть на скорый поезд до Фонтенбло, если сейчас же отправимся на вокзал. Не считая одежды, у нас с собой не было никаких «личных вещей» — термин изысканный, но довольно смутный, — и кое-кто из нашей

компании предложил все-таки заехать за ними домой. Но братья Стеннис принялись издеваться над нашей изнеженностью. Оказалось, что они неделю назад приехали из Лондона, захватив с собой только пальто и зубные щетки. Отсутствие багажа — вот тайна жизни. Несколько дорогостоящая, разумеется, поскольку каждый раз, когда вам нужно причесаться, приходится платить парикмахеру, и каждый раз, когда нужно сменить белье, приходится покупать новую рубашку, а старую выбрасывать; однако можно пойти на любые жертвы (доказывали братья), только бы не стать рабом чемоданов. «Человеку необходимо порвать все материальные путы; только тогда он может считать себя взрослым, — заявили они, — а пока вы чем-нибудь связаны — домом, зонтиком, саквояжем, — вы все еще не вышли из пеленок». Это теория покорила большинство из нас. Правда, оба француза, презрительно посмеиваясь, отправились пить свое пиво, а Ромни, слишком бедный, чтобы позволить себе такую поездку за собственный счет, и слишком гордый, чтобы прибегнуть к займу, незаметно стушевался. Остальная компания влезла в извозчичью карету и принялась погонять лошадь (как это обычно бывает), предложив чаевые кучеру, так что мы успели на поезд за минуту до его отхода и полчаса спустя уже вдыхали благодатный лесной воздух, направляясь по холмистой дороге из Фонтенбло в Барбизон. Те из нас, кто шагал впереди, покрыли это расстояние за пятьдесят одну с половиной минуту, установив рекорд, ставший легендарным в анналах англосаксонской колонии Латинского квартала, но вас, вероятно, не удивит, что я сильно от них отстал. Майнер, склонный к философии британец, составил мне компанию, и, пока мы медленно шли вперед, великолепный закат, лиловатые тени сумерек, упоительный аромат леса и царившая в нем торжественная тишина настроили меня на молчаливый лад. Мое душевное состояние передалось моему спутнику, и, когда он вдруг заговорил, помню, это заставило меня вздрогнуть — в такую глубокую задумчивость успел я погрузиться.

— Ваш отец, судя по всему, — очень хороший отец, — сказал он. — Почему он не приезжает навестить вас?

У меня наготове было десятка два объяснений да еще столько же в запасе, но Майнер с присущей ему проницательностью, которая всех восхищала, но и заставляла побаиваться его, неожиданно посмотрел на меня сквозь монокль и спросил:

— А вы его уговаривали приехать?

Я покраснел. Нет, я не уговаривал его приехать, я даже ни разу не попросил его навестить меня. Я гордился им, гордился его красивым. Мужественным лицом, его мягкостью и добротой, его умением радоваться чужому счастью, а также (если хотите, это была уже не гордость, а чванство) его богатством и щедростью. И все же для него не было места в моей парижской жизни, которая не пришлась бы ему по вкусу. Я боялся насмешек над его наивными высказываниями об искусстве; я внушал себе — и отчасти верил этому, — что он не хочет приезжать; мне казалось (как кажется и сейчас), что счастлив он мог быть только в Маскегоне. Короче говоря, у меня была тысяча веских и легковесных объяснений, ни одно из которых ни на йоту не меняло того факта, что он ждал только моего приглашения, чтобы приехать, — и я это знал.

— Спасибо, Майнер, — сказал я. — Вы даже лучше, чем я о вас думал. Сегодня же напишу ему.

— Ну, вы сами вовсе уж не так плохи, — возразил Майнер с более чем обычной шутливостью, но (за что я был ему очень благодарен) без обычной иронии.

Это были чудесные дни, о которых я мог бы вспоминать без конца. Чудесными были и дни, которые последовали за ними, — когда мы с Пинкертоном бродили по Парижу и предместьям и в поисках моего будущего обиталища приценивались к домам или, осыпанные пылью, возвращались из антикварных лавок, нагруженные китайскими божками и медными жаровнями. Оказалось, что Пинкертон хорошо знал местоположение этих лавок, а также цены всяческих редкостей и неплохо судил о них. Как выяснилось, он занимался скупкой картин и

редкостей для перепродажи их в Штатах, и его педантичность и старательность привели к тому, что, не превратившись в настоящего ценителя, он сумел стать неплохим экспертом. Сами предметы оставляли его глубоко равнодушным, но он находил особую радость в том, что научился покупать и продавать их.

В таких занятиях время шло незаметно, и наконец наступил срок, когда я мог ожидать ответа от отца. Однако с первыми двумя почтами я не получил ничего, а с третьей пришло длинное, бессвязное письмо, полное угрызений, ободрений, утешений и отчаяния. Из этого грустного послания, которое, движимый сыновней почтительностью, я сжег, как только прочитал, выяснилось, что мыльный пузырь миллионов моего отца лопнул, что у него не осталось ни гроша, что он болен и что мне не только придется забыть о десяти тысячах долларов, которые я мог бы промотать в свое удовольствие, но даже денег, высылавшихся мне на жизнь, я больше получать не буду. Это был тяжелый удар, но у меня хватило ума и совести поступить как должно. Я продал все свои редкости — вернее, я попросил сделать это Пинкертона, а он сумел продать их не менее выгодно, чем в свое время купить, так что я на этом почти ничего не потерял. Полученная сумма вместе с оставшимися у меня деньгами составила пять тысяч франков. Пятьсот из них я оставил себе на необходимые расходы, а остальное еще до истечения недели послал отцу в Маскегон, где они были получены — как раз вовремя, чтобы оплатить его похороны.

Известие о смерти отца не удивило и почти не огорчило меня. Я не мог представить его бедняком. Слишком долго вел он жизнь богатого человека, ни в чем не отказывающего ни себе, ни другим, чтобы вынести подобную перемену. И, хотя мне было жаль себя, я радовался, что мой отец покинул битву жизни. Я говорю, что мне было жаль себя, и для этого у меня было вполне достаточно оснований: я лишился средств к существованию; все мое состояние (включая и деньги, возвращенные из Маскегона) не превышало тысячи франков, и в довершение бед подряд на статуи был передан другому лицу. У нового подрядчика был не то сын, не то племянник, и мне с деловой прямотой предложили поискать для своего товара другой рынок. Я начал с того, что съехал с квартиры, и ночевал у себя в мастерской. Так что теперь и когда я читал перед сном, и когда я просыпался, тяжеловесная и отныне бесполезная махина — Гений Маскегона — все время торчала у меня перед глазами. Бедная каменная красавица! Она предназначалась для того, чтобы торжественно восседать под огромным золоченым куполом нового капитолия, — какая судьба ждет ее теперь? Для каких низменных целей будет она разбита, словно отправленный на слом старый корабль? И что ждет ее рожденного под несчастной звездой создателя, с тысячей франков в кармане стоящего в преддверии той тяжелой жизни, которая ждет всякого никому не известного скульптора?

Эту тему мы с Пинкертоном обсуждали без конца.

По его мнению, я должен был немедленно отказаться от своей профессии. «Бросай все это, — повторял он снова и снова. — Поедем со мной в Штаты и заведем какоенибудь дело. У меня есть капитал, а у тебя — культура. „Додд и Пинкертон“ — такое название фирмы для рекламы просто находка, а ты и не представляешь себе, Лауден, какое большое значение может иметь название».

Со своей стороны, я должен был признать, что скульптору для успеха необходима одна из трех вещей: деньги, влиятельный покровитель или адская энергия.

Первых двух я лишился, а третьей у меня никогда не было, и все-таки мне не хватало трусости (а быть может, и мужества) без всякого сопротивления отказаться от выбранной мной профессии. Кроме того, как я сказал Пинкертону, хотя мои шансы преуспеть в качестве скульптора были невелики, как делец я вообще не мог ни на что рассчитывать, поскольку не имел к этому ни вкуса, ни способностей. Но в этом отношении Пинкертон ничем не отличался от моего отца: он принялся уверять меня, что я говорю так по неопытности, что всякий умный и образованный человек непременно преуспеет на этом поприще, что я наверняка унаследовал

деловые качества моего отца и что я получил все необходимые для этой карьеры знания в специальном колледже.

— Пинкертон, — отвечал я, — неужели ты не можешь пенять, что все время, пока я пробыл там, я ничем не интересовался и ничему не научился? Для меня все это было смертной мукой.

— Этого не может быть, — возражал он. — Не мог же ты находиться в самой гуще подобной жизни и не почувствовать ее очарования. У тебя для этого слишком поэтичная душа! Нет, Лауден, ты меня просто бесишь. По-твоему, какая-нибудь вечерняя заря должна потрясать человека, но он не почувствует интереса к месту, где идет борьба за богатство, где состояния наживаются и теряются за один день; по-твоему, он останется равнодушным к карьере, которая требует, чтобы он изучил жизнь, как свои пять пальцев, умел выискать самую маленькую щелку, чтобы запустить в нее лапу и извлечь доллар, и стоял бы посреди всего этого вихря — одной ногой на банкротстве, а другой — на взятом взаймы долларе, — и загребал бы деньги лопатой наперекор судьбе и счастью?

Этой биржевой романтике я противопоставлял романтику (она же добродетель) искусства, напоминая ему о людях, упорно сохранявших верность музам, несмотря на все тяготы, с которыми эта верность связана, начиная от Милле и кончая нашими многочисленными приятелями и знакомыми, которые избрали именно этот приятный горный путь по жизни и теперь мужественно пробирались по скалам и колючим зарослям, без гроша в кармане, но полные надежд.

— Тебе этого не понять, Пинкертон, — говорил я. — Ты думаешь о результатах, ты хочешь получать выгоду от затраченных тобой усилий, вот почему ты не станешь художником, доживи ты хоть до тысячи лет. Результаты — это ерунда. Глаза художника обращены внутрь, его цель — внутреннее настроение. Погляди на Ромни. Вот у кого душа художника. Он беден, как церковная мышь, но предложи ему стать главнокомандующим или даже президентом Соединенных Штатов, и он откажется, — ты же знаешь, что он откажется.

— Может быть, и откажется, — кричал в ответ Пинкертон, ероша волосы обеими руками, — но я не понимаю, почему; я не понимаю, чего ему надо! Наверное, я не могу подняться до подобных взглядов. Конечно, это потому, что в юности я не получил образования. Однако, Лауден, с моей низменной точки зрения это кажется мне глупым. Дело в том, — порой добавлял он с улыбкой, — что на пустой желудок мне внутреннее настроение ни к чему, и я убежден, что первый долг всякого человека — умереть богатым, если удастся.

— А для чего? — спросил я его как-то.

— Ну, не знаю, — ответил он. — А почему человек хочет стать скульптором, если уж на то пошло? Я и сам бы не прочь лепить. Только я не понимаю, почему ты не хочешь заниматься ничем другим. Это вроде как указывает на обедненную натуру.

Не знаю, научился ли он когда-нибудь понимать меня — а мне с тех пор пришлось столько пережить, что я сам себя разучился понимать, — но, во всяком случае, он скоро заметил, что я говорю совершенно серьезно, и дней через десять неожиданно прекратил споры и заявил, что он зря тратит свой капитал и должен немедленно вернуться на родину. Несомненно, ему следовало бы вернуться уже давно, и медлил он в Париже только ради нашей дружбы и из-за моих несчастий, но так уж устроен человек: тот самый факт, который должен был бы обезоружить меня, только усилил мою досаду и раздражение. Мне казалось, что, уезжая, он подло покидает меня. Вслух я этого не высказывал, но, без сомнения, выдал свои чувства. Унылый вид Пинкертона доказывал, что его и самого мучает эта же мысль. Как бы то ни было, за время, пока он готовился к отъезду, наша дружба, казалось, сильно остыла, о чем я вспоминаю теперь с немалым стыдом. В день отъезда он пригласил меня пообедать в ресторане, который, как ему было хорошо известно, я часто посещал, пока из соображений экономии не был вынужден от этого отказаться.

Он, по-видимому, чувствовал себя неловко, а я и жалел о его отъезде и злился, так что за едой мы почти не говорили.

— Вот что, Лауден, — сказал он с видимым усилием, когда был подан кофе и мы закурили трубки, — тебе никогда не понять, как я тебе благодарен и как я к тебе привязан. Ты не знаешь, какой дар судьбы — дружба с человеком, стоящим на самой вершине цивилизации; ты не можешь себе представить, как эта дружба облагородила и очистила меня, как она возвысила мой дух, и я хочу сказать тебе, что готов умереть у твоих дверей, как верная собака.

Не знаю, что бы я ему ответил, но он перебил меня.

— Позволь, я договорю! — воскликнул он. — Я преклоняюсь перед твоей преданностью искусству. Сам я не могу подняться до подобного чувства, но в моей душе есть поэтическая струнка, Лауден, которая отзывается на него. Я хочу, чтобы ты следовал своему призванию, и собираюсь помочь тебе в этом.

— Пинкертон, что это еще за чепуха? — прервал я его.

— Пожалуйста, не сердись, Лауден, — сказал он, — это простое деловое предложение — такие сделки заключаются каждый день, они даже типичны. Каким образом Гендерсон, Самнер, Лонг оказались в Париже? Все одна и та же история: с одной стороны — молодой человек, так и брызжущий гениальностью, с другой — коммерсант, не знающий, куда девать деньги.

— Брось говорить глупости — у тебя же нет ни гроша за душой, — перебил я.

— Погоди, пока я примусь как следует за дело! — воскликнул он. — Я наверняка разбогатею, и поверь, я хочу извлечь из своих денег кое-какое удовольствие. Вот твоя первая стипендия. Прими ее из рук друга; я ведь, как и ты, принадлежу к тем людям, для кого дружба священна. Это всего сто франков, и ты их будешь получать каждый месяц, а как только я расширю свое дело, мы эту сумму увеличим до приличной цифры. И тут нет никакого одолжения — если ты поручишь мне сбывать свои скульптуры в Америке, то это будет одной из выгоднейших сделок в моей жизни.

Потребовалось много времени, взаимного расшаркивания и обид, прежде чем мне удалось отклонить его предложение, согласившись взамен распить бутылку коллекционного вина. Наконец он прекратил спор, неожиданно сказав: «Ну ладно, с этим — все», — и больше уже к этой теме не возвращался, хотя мы провели вместе целый день и я проводил его до дверей зала ожидания вокзала Сен-Лазар. У меня было страшно одиноко на душе; какой-то голос говорил мне, что я отверг и мудрый совет и руку дружбы, и, когда я возвращался домой по огромному, сияющему огнями городу, в первый раз я глядел на него, как на врага.

ГЛАВА V,
В КОТОРОЙ Я БЕДСТВУЮ В ПАРИЖЕ

Нет такого места на земле, где было бы приятно голодать, но, если не ошибаюсь, давно признано, что тяжелее всего голодать в Париже. В нем кипит такая веселая жизнь, он так похож на огромный ресторан с садом, его дома так красивы, театры так многочисленны, а экипажи мчатся так быстро, что человек, измученный душевно и больной телесно, чувствует себя заброшенным и никому не нужным. Ему кажется, что он единственная реальность в мире кошмаров. Весело болтающие посетители кафе, толпы у театральных подъездов, извозчичьи кареты, набитые по воскресным дням искателями дешевых удовольствий, витрины ювелирных магазинов — все эти привычные зрелища как-то особенно усугубляют и подчеркивают его собственное несчастье, нужду, одиночество. И в то же самое время, если он человек моего склада, ему служит утешением детски наивное тщеславие. Вот наконец настоящая жизнь, говорит он себе, наконец-то я стою с ней лицом к лицу: спасательный пояс, поддерживавший меня на поверхности океана, исчез, ничто не помогает мне в борьбе с волнами, от меня одного зависит, спасусь ли я или погибну, и теперь я на самом деле испытываю то, чем восторгался, читая о судьбе Лусто или Люсьена, Родольфа или Шокара.

Не стану подробно описывать, как я бедствовал. Нуждавшиеся студенты обычно прибегали к тому, что мягко именовалось «займами» (хотя отдавать эти долги они с самого начала не собирались), и многим удалось продержаться таким образом несколько лет. Но мое разорение произошло в самый неблагоприятный момент. Большинство моих друзей уехало, другие сами еле сводили концы с концами. Ромни, например, вынужден был ходить по парижским тротуарам в деревенских сабо, а в его единственном костюме зияли такие прорехи (несмотря на все булавки, которыми были искусно сколоты лохмотья), что дирекция Люксембургского музея попросила его больше там не появляться. Дижон тоже сидел на мели и делал эскизы часов и газовых бра по заказу какого-то торговца, так что был в состоянии предложить мне только угол своей мастерской, где я мог бы работать. Моей собственной мастерской, как нетрудно догадаться, я к этому времени уже лишился, и в результате Гений Маскегона навеки расстался со своим творцом. Для того чтобы хранить большую статую художнику необходима мастерская, галерея или хотя бы право пользоваться садиком. Он не может возить ее с собой на задке пролетки, как чемодан, и равным образом, поселившись на крохотном чердаке, не может делить его с жильцом столь внушительных размеров. Сперва я решил оставить Гения в моей прежней мастерской, ибо мне казалось, что он, пребывая там, где был создан, может послужить источником вдохновения для моего преемника. Но хозяин дома, с которым я, к несчастью, поссорился, воспользовался случаем сделать мне неприятность и потребовал, чтобы я немедленно вывез свою собственность. Для человека, находившегося в таких стесненных обстоятельствах, как я, нанять подводу значило бы пойти на непозволительно большой расход, но даже это не остановило бы меня, если бы, наняв подводу, я знал, куда мне везти свое творение. Мной овладел истерический смех, когда я увидел (глазами воображения), как я, ломовой извозчик и Гений Маскегона стоим посреди Парижа, не имея ни малейшего понятия, что делать дальше, и в конце концов, пожалуй, направляемся к ближайшей свалке и водружаем любимое дитя моей творческой мысли на кучу городских отбросов. От подобной крайности меня спас вовремя явившийся покупатель, которому я уступил Гения Маскегона за тридцать франков. Где он теперь стоит, под каким именем его хвалят или бранят, история умалчивает. Но мне хочется думать, что он украшает сад какого-нибудь загородного кафе, и продавщицы, вырвавшиеся на воскресенье из душного Парижа, вешают шляпки на мать, а их кавалеры (желая сказать любезность) утверждают, что крылатое дитя — это бог любви.

Я обедал в кредит в дешевом трактире на окраине, где столовались извозчики. Договариваясь с хозяином, я намекнул, — что ужина мне не потребуется, так как вечером я буду садиться за изысканно сервированный стол кого-нибудь из богатых знакомых. Но это было крайне опрометчиво с моей стороны. Моя выдумка, вполне правдоподобная, пока на мне был приличный костюм, стала казаться более чем сомнительной, когда рукава и лацканы моего сюртука обтрепались, а оторванные подметки башмаков начали звонко шлепать по полу трактира. Кроме того, есть один раз в день было очень полезно для моего кошелька, но вредно для моего желудка. Раньше я частенько заходил в этот трактир из романтических побуждений — чтобы познакомиться с жизнью студентов, менее богатых, чем я. И каждый раз я входил туда с отвращением, а выходил, испытывая тошноту. Мне было странно, что теперь я сажусь тут за столик с нетерпением, встаю из-за него довольный и принимаюсь считать часы, которые отделяют меня от возможности снова приняться за эти сомнительные яства. Но голод — великий волшебник, а как только я истратил все свои деньги и не мог уже заморить червячка чашкой шоколада или куском хлеба, этот извозчичий трактир остался единственным местом, где я кое-как подкреплял свои силы, если не считать редких, долго ожидаемых и долго хранимых в памяти неожиданных удач. Например, торговец расплачивался с Дижоном или кто-нибудь из старых друзей приезжал в Париж. Тогда меня приглашали на настоящий обед, и я производил заем в стиле Латинского квартала, после чего мне в течение двух недель хватало денег на табак и утреннюю чашку кофе.

Казалось бы, такое полуголодное существование должно было убить во мне гурмана. Однако в действительности все обстоит как раз наоборот: чем грубее пища, которую ест человек, тем больше он мечтает о деликатесах. Свои последние деньги — тридцать франков — я ничтоже сумняшеся истратил на один хороший обед, а оставаясь один, занимался преимущественно тем, что составлял меню воображаемых пиров.

Однажды во мне снова проснулась надежда — богатый житель одного из Южных штатов заказал мне свой бюст. Заказчик был щедр, шутлив, весел. Позируя, он развлекал меня всевозможными рассказами, а после окончания сеанса приглашал пообедать с ним и продолжить осмотр достопримечательностей Парижа. Я ел вволю, начал толстеть. Бюст, по общему мнению, получался очень похожим, и, признаюсь, я уже решил, что моим злоключениям пришел конец. Но, когда работа была закончена и я отослал бюст в Америку, мой заказчик даже не сообщил мне о его получении. Этот удар совсем сразил меня, и, вероятно, я даже не попытался бы бороться за свои права, если бы не встал вопрос о чести моей родины. Ибо Дижон, воспользовавшись удобным случаем, по-европейски, поспешил просветить меня (в первый раз) относительно американских нравов: по его словам, Соединенные Штаты были бандитским притоном, где нет и следа закона и порядка и где долги удается взыскивать только под дулом ружья. «Это известно всему миру, — заявил он, — только вы один, mon petit[14] Лауден, только вы один об этом не знаете. Совсем недавно в Цинциннати члены верховного суда устроили поножовщину прямо в святилище правосудия. Прочтите-ка книгу одного из моих друзей «Le Touriste dans le Far-West»;[15] все эти факты изложены там на хорошем французском языке».

Такие разговоры длились целую неделю, и наконец, сильно рассердившись, я взялся доказать ему обратное и передал это дело в руки поверенного моего покойного отца. По истечении надлежащего срока я имел удовольствие узнать, что мой должник умер от желтой лихорадки в Ки-Уэсте, оставив свои дела в запутанном состоянии. Имени его я не называю, хотя он и обошелся со мной весьма небрежно, но, может быть, совершенно честно собирался заплатить мне.

Вскоре после этого отношение ко мне в извозчичьем трактире стало еле заметно меняться, знаменуя новую фазу моих бедствий. В первый день я старался внушить себе, что мне это просто почудилось; на следующий я твердо убедился, что мое впечатление меня не обмануло; на третий, поддавшись панике, я не пошел в трактир и пропостился сорок восемь часов. Это был крайне безрассудный поступок, ибо должник, не являющийся в обычный час, только привлекает к себе больше внимания и рискует, что его заподозрят в намерении скрыться. Поэтому на четвертый день я все-таки отправился туда, трепеща в душе. Хозяин бросил на меня косой взгляд, официантки (его дочери) обслуживали меня кое-как и только презрительно фыркнули в ответ на мое преувеличенно веселое приветствие, и — что было красноречивее всего, — когда я потребовал сыр (который подавался всем обедающим), мне грубо ответили, что он весь вышел. Сомневаться не приходилось: приближалась катастрофа. Только тоненькая дощечка отделяла меня от полной нужды, и эта дощечка уже дрожала. Я провел бессонную ночь, а утром отправился в мастерскую Майнера. Я уже давно подумывал об этом шаге, но никак не мог на него решиться. Наше знакомство с Майнером было шапочным, и, хотя мне было известно, что этот англичанин богат, его поведение и его репутация заставляли предполагать, что он не терпит попрошаек.

Когда я вошел, он работал над картиной, которую я мог похвалить, не кривя душой, однако, поглядев на его простой суконный костюм, я смутился — хотя и скромный, но аккуратный и тщательно выутюженный, он являл слишком разительный контраст с моей собственной изношенной и грязной одеждой. Пока мы разговаривали, он продолжал поглядывать то на холст, то на толстую нагую натурщицу, которая сидела в дальнем конце мастерской, терпеливо держа над головой согнутую руку. Даже при самых благоприятных обстоятельствах мне было бы нелегко высказать свою просьбу, а теперь, стесняясь отрывать

Майнера от работы, стесняясь присутствия голой дебелой женщины, сидевшей в нелепой и неудобной позе, я почувствовал, что не могу вымолвить ни слова о деньгах. Снова и снова пытался я заговорить о своей просьбе, но снова и снова начинал расхваливать картину. Потом натурщица некоторое время отдыхала, взяв на себя ведение разговора, и тихим, расслабленным голосом рассказывала нам о процветающих делах своего мужа, о прискорбном легкомыслии своей сестры и гневе их отца — скопидома-крестьянина из окрестностей Шалона, и, только когда она опять приняла требуемую позу, а я опять откашлялся, собираясь приступить к делу, и опять сказал лишь какую-то банальность о картине, сам Майнер наконец коротко и энергично положил конец моим колебаниям.

— Вы ведь пришли ко мне не для того, чтобы болтать пустяки, — сказал он.

— Да, — ответил я угрюмо, — я пришел занять денег.

Некоторое время он продолжал молча работать, а потом спросил:

— Мы как будто никогда не были особенно близки?

— Благодарю вас, — ответил я, — все понятно.

Кипя от ярости, я сделал шаг к двери.

— Разумеется, вы можете уйти, если хотите, — заметил Майнер, — но я посоветовал бы вам остаться и высказать все.

— О чем нам говорить? — вскричал я. — Зачем вы задерживаете меня, — чтобы подвергать ненужному унижению?

— Послушайте, Додд, вам следовало бы научиться владеть собой, — ответил он. — Вы сами пришли ко мне, я вас не звал. Если вы думаете, что этот разговор мне приятен, вы ошибаетесь, а если вы полагаете, что я одолжу вам деньги, не узнав точно, как вы надеетесь их отдать, значит, вы считаете меня дураком. Кроме того, — добавил он, — подумайте, и вы поймете, что самое худшее осталось позади: вы уже высказали свою просьбу и имеете все основания ожидать, что я отвечу на нее отказом. Я не хочу обманывать вас ложной надеждой, но, может быть, вам все-таки будет полезно дать мне возможность взвесить положение вещей.

Вот так (я чуть было не написал «ободренный») я довольно сбивчиво рассказал ему о своих делах: о том, что я столуюсь в извозчичьем трактире, но, судя по всему, там собираются отказать мне в кредите; что Дижон уступил мне угол своей мастерской, где я пытаюсь лепить эскизы фигур, украшающих часы и подсвечники, — Время с косой, Леду с лебедем, мушкетеров и прочее, — но ни одна из них вплоть до этой минуты никого еще не заинтересовала.

— А как вы платите за комнату? — спросил Майнер.

— Ну, с этим у меня, кажется, все в порядке, — ответил я. — Хозяйка — очень милая и добрая старушка, она ни разу даже не заговаривала со мной о просроченной плате.

— Если она милая и добрая старушка, это еще не основание для того, чтобы ей приходилось терпеть убытки, — заметил Майнер.

— Что вы хотите этим сказать? — вскричал я.

— А вот что, — ответил он. — У французов принято предоставлять в делах большой кредит. Вероятно, такая система окупается, иначе они от нее отказались бы, однако она создана не для иностранцев. По-моему, не слишком честно со стороны нас, англосаксов, пользоваться здешним обычаем, а потом удирать за Ла-Манш или (когда дело касается вас, американцев) за Атлантический океан.

— Но я не собираюсь удирать! — запротестовал я.

— Конечно, — сказал он. — Хотя, пожалуй, именно это вам и следовало бы сделать. На мой взгляд, вы довольно безжалостны к, владельцам извозчичьих трактиров. По вашим же собственным словам выходит, что никакого просвета в вашей судьбе не предвидится, и, следовательно, чем дольше вы здесь пробудете, тем дороже это обойдется вашей милой и доброй квартирной хозяйке. Теперь выслушайте мое предложение: если вы согласитесь

уехать, я куплю вам билет до Нью-Йорка и оплачу оттуда проезд до этого… Маскегона (если я не путаю названия), где жил ваш отец, где, вероятно, у него остались друзья и где, без сомнения, вам удастся найти какое-нибудь занятие. Я не жду от вас благодарности — ведь вы, конечно, считаете меня свиньей; однако я попрошу вас вернуть мне эти деньги, как только вам представится такая возможность. Больше я для вас ничего сделать не могу. Другое дело, если бы я считал вас гением, Додд. Но я так не думаю и вам не советую.

— Мне кажется, без последнего замечания можно было бы и обойтись, — не сдержался я.

— Возможно, — сказал он все тем же ровным, голосом. — Но мне казалось, что оно имеет прямое отношение к делу, а кроме того, вы, попросив у меня денег без всякого обеспечения, позволили себе вольность, допустимую только между близкими друзьями, и дали мне основание ответить вам тем же. Однако речь идет не о том: вы согласны?

— Нет, благодарю вас, — ответил я. — У меня остался еще один выход.

— Очень хорошо, — ответил Майнер. — Однако взвесьте, честен ли он.

— Честен?.. Честен?.. — вскричал я. — По какому праву вы сомневаетесь в моей честности?

— Не буду, если вам это не нравится, — ответил он.

— По-вашему, честность — это что-то вроде игры в жмурки. Я придерживаюсь другого мнения. Просто мы определяем это понятие по-разному.

После этого неприятного разговора, во время которого Майнер ни на минуту не прервал работы над картиной, я отправился в мастерскую к моему бывшему учителю. Это была моя последняя карта, и теперь я решил пойти с нее: я решил снять фрак джентльмена и заниматься отныне искусством в блузе рабочего.

— А, да ведь это наш маленький Додд! — воскликнул мэтр, но тут взгляд его упал на мой потертый костюм, и лицо его как будто омрачилось.

— Мэтр, — сказал я, — не возьмете ли вы меня опять в свою студию, на этот раз в качестве рабочего?

— Но я думал, что ваш отец очень богат, — удивился он.

Я объяснил ему, что мой отец разорился и умер. Он покачал головой.

— У дверей моей студии толпятся рабочие получше, — сказал он. — Намного лучше.

— Прежде вам кое-что нравилось в моих работах, — умоляюще сказал я.

— Кое-что мне в них нравилось, это правда, — ответил он. — Они были неплохи для сына богача, но для бедного сироты они плохи. Кроме того, я полагал, что вы можете выучиться на художника, но не думаю, что вам удастся выучиться на рабочего.

В те времена на одном из бульваров неподалеку от гробницы Наполеона стояла осененная жалким деревцем скамья, с которой открывался вид на грязную мостовую и на глухую стену. На эту-то скамью я и опустился, чтобы обдумать свое ужасное положение. Небо было затянуто сумрачными тучами; за три дня я ел только один раз; мои башмаки промокли насквозь, панталоны были заляпаны грязью. Окружающая обстановка, события последних дней и мое мрачное и унылое настроение прекрасно гармонировали между собой. Я думал о двух людях, которые хвалили мою работу, пока я был богат и ни в чем не нуждался, а теперь, когда я бился в тисках нужды, заявили: «Не гений» и «плохи для сироты», и один из них предложил мне, словно нищему иммигранту, оплатить билет до НьюЙорка, а другой не пожелал взять меня тесальщиком камня — похвальная прямолинейность с голодным человеком! В прошлом они не кривили душой, были искренни они и сегодня: изменившиеся обстоятельства породили новую оценку, только и всего.

Но хотя я и не сомневался в их искренности, однако отнюдь не собирался признавать их мнение безошибочным. Сколько раз художники, которых долгое время никто не признавал, в конце концов получали возможность посмеяться над своими суровыми критиками! В каком

возрасте обрел себя и прославился Коро? На кого в молодости сыпалось больше насмешек (и вполне справедливых), чем на Бальзака, которому я поклонялся? А если этих примеров мне было недостаточно, стоило только повернуть голову, посмотреть туда, где на фоне чернильных туч сверкал золотой купол Дома Инвалидов, и вспомнить историю того, кто под ним покоится, — от дней, когда над молодым лейтенантом артиллерии подтрунивали насмешливые девицы, окрестившие его Котом в сапогах, и до дней бесчисленных корон, и бесчисленных побед, и тысяч пушек, и многотысячной кавалерии, топтавшей дороги потрясенной Европы в восьмидесяти милях впереди Великой армии. Вернуться на родину, сдаться, признать себя неудачником, честолюбивым неудачником — бенгальским огнем, от которого осталась только обгоревшая палочка! Я, Лауден Додд, который с презрением отверг все другие профессии, которого в сентджозефовском «Геральде» восхваляли как патриота и художника, вернусь в Маскегон, словно подпорченный товар, и буду со шляпой в руке обходить знакомых моего отца, вымаливая у них местечко уборщика их контор? Нет, клянусь Наполеоном, нет! Я так и умру скульптором, а эти двое людей, отказавшие мне сегодня в помощи, еще будут завидовать моей славе или проливать горькие слезы запоздалого раскаяния над моим нищенским гробом.

Однако, хотя мужество меня не покинуло, я все-таки не знал, как и где раздобыть еду. Неподалеку, за грязной извозчичьей стоянкой, на берегу широкой, залитой грязью мостовой, маня и пугая, виднелся мой трактир. Может быть, меня впустят туда и мне удастся еще раз наполнить там свой желудок, но, может быть, именно этот день окажется роковым и я буду изгнан оттуда после вульгарного скандала. Попытаться все-таки, конечно, стоило, но за это утро моей гордости было нанесено слишком много тяжелых ударов, и я чувствовал, что предпочту голодную смерть возможности получить еще один. Я смело смотрел в будущее, но для настоящего у меня не хватало отваги; я смело шел на битву жизни, но для этого предварительного набега на извозчичий трактир мне не хватало храбрости. Я продолжал сидеть на скамье неподалеку от места упокоения Наполеона и то погружался в дремоту, то словно начинал бредить, то терял способность соображать, то испытывал животное удовлетворение от возможности сидеть не двигаясь, то принимался с необычайной ясностью думать, планировать, вспоминать, рассказывать себе сказки о падающем с неба богатстве, жадно заказывать и пожирать воображаемые обеды и в конце концов, очевидно, уснул.

Уже темнело, когда меня разбудил холодный дождь, и я, дрожа, вскочил на ноги, снова охваченный муками голода. Мгновение я стоял, ничего не понимая, а в голове у меня вихрем проносились все мои недавние мысли и сны; снова меня начал неотразимо манить извозчичий трактир и снова мысль о возможном оскорблении удержала меня. «Qui dort dine»,[16] — подумал я и, шатаясь от слабости, побрел домой по мокрым улицам, где уже горели фонари и светились огни витрин. И всю дорогу я продолжал составлять меню воображаемых обедов.

— А, мсье Додд! — сказал швейцар. — Вам было заказное письмо. Почтальон опять принесет его завтра.

Заказное письмо мне, когда я так давно совсем не получал писем? О его содержании у меня не было ни малейшего представления, но я не стал тратить время на догадки и тем более на обдумывание каких-нибудь бесчестных планов — я просто начал лгать так естественно, словно всю жизнь только этим и занимался.

— А! — сказал я. — Наконец-то мне прислали эти деньги! Жаль, что я не успел получить их сегодня. Не одолжите ли вы мне до завтра сотню франков?

До этой минуты я еще ни разу не брал у швейцара взаймы, кроме того, заказное письмо послужило гарантией — и он отдал мне все, что у него было: три наполеондора и несколько франков серебром.

Я небрежно сунул деньги в карман, еще минуту поболтал со швейцаром, медленно вышел из подъезда, а затем со всей быстротой, на какую были способны мои подкашивающиеся ноги, бросился за угол в кафе «Клюни». Французские официанты ловки и проворны, но на этот раз

их проворство казалось мне недостаточным, и едва передо мной были поставлены бутылка вина и масло, как я, забыв о приличии, сразу наполнил свой стакан и набил рот. О восхитительный хлеб кафе «Клюни», о восхитительный первый стакан старого бургундского, теплой волной разлившийся по всему моему телу до промокших ног, о неописуемая первая оливка, снятая с жаркого, — даже в мой смертный час, когда потускнеет светильник сознания, я буду помнить ваш дивный вкус! Дальнейшее течение обеда и весь остальной вечер скрыты в густом тумане — может быть, он был порожден парами бургундского, а может быть, явился результатом пресыщения после долгой голодовки.

Однако я отчетливо помню стыд и отчаяние, охватившие меня на следующее утро, когда я обдумал свой поступок: я обманул честного бедняка швейцара и более того — попросту сжег свои корабли, поставив под угрозу мое последнее убежище, мой чердак. Швейцар будет ждать, что я верну долг, платить мне нечем, начнется скандал, и я хорошо понимал, что виновнику этого скандала придется покинуть дом. «По какому праву вы сомневаетесь в моей честности?» — в бешенстве кричал я Майнеру еще накануне. Ах, этот день накануне! День накануне Ватерлоо, день накануне всемирного потопа — накануне я продал кров над моей головой, мое будущее и мое самоуважение за обед в кафе «Клюни»!

Пока я предавался мучительным размышлениям, почтальон принес пресловутое заказное письмо и с ним спасение от всех угрожавших мне бед. Оно было послано из Сан-Франциско, где Пинкертон уже вел бесчисленные и разнообразные дела: мой друг вторично предлагал выплачивать мне стипендию, которую в связи с его упрочивавшимся финансовым положением он собирался увеличить до двухсот франков в месяц, а на случай, если я окажусь в стесненных обстоятельствах, в письмо был вложен чек на сорок долларов.

Можно найти сотни убедительнейших причин для того, чтобы человек в нашу эпоху, когда каждому следует полагаться только на себя, отклонил предложение, ставящее его в зависимость от другого, но любое число самых веских соображений бессильно перед суровой необходимостью, и не успели банки открыться, как я уже получал деньги по чеку.

Я продал себя в рабство в начале декабря и шесть месяцев влачил все растущую тяжесть цепей благодарности и тревоги. Заняв некоторую сумму, я сумел превзойти себя и затмить Гений Маскегона, создав для Салона небольшого, но крайне патриотичного «Знаменосца». Он был принят, простоял там положенное число дней, никем не замеченный, а затем вернулся ко мне, по-прежнему такой же патриотичный. Я всей душой (как выразился бы Пинкертон) предался часам и подсвечникам, но подлецу литейщику не нравились мои эскизы. Даже когда Дижон, человек чрезвычайно добродушный и чрезвычайно презиравший такую ремесленную работа, соглашался продать их вместе со своими, литейщики сразу отбирали мои и отказывались от них. И они возвращались ко мне, верные, как «Знаменосец», который во главе целого полка истуканов поменьше мозолил нам глаза в углу крохотной мастерской моего друга. Мы с Дижоном часами смотрели на эту коллекцию разнообразных фигур. Здесь были представлены все стили — строгий, игривый, классический и стиль Людовика Пятнадцатого, — а также все мыслимые персонажи — от Жанны д'Арк в воинственной кольчуге до Леды с лебедем; более того — да простит мне бог! — комический жанр тоже имел своих представителей. Мы смотрели на них, мы критиковали их, поворачивали и так и сяк — даже при самом тщательном осмотре приходилось признать, что это статуэтки как статуэтки, и, однако, никто не соглашался брать их и даром!

Тщеславие умирает нелегко. В некоторых случаях оно переживает самого человека, но примерно на шестом месяце, когда я был должен Пинкертону около двухсот долларов, и еще сто различным людям в Париже, я проснулся как-то утром в страшно угнетенном настроении и обнаружил, что остался один — мое тщеславие за ночь испустило дух. Я не осмеливался глубже погрузиться в трясину; я перестал возлагать надежды на мои бедные творения; я наконец признал свое поражение и, усевшись в ночной рубашке на подоконник, откуда мне были видны верхушки деревьев на бульваре, и с удовольствием прислушиваясь к музыке

просыпающегося города, написал письмо — мое прощание с Парижем, искусством, со всей моей прежней жизнью, со всей моей прежней сущностью.

«Сдаюсь, — писал я. — Как только получу следующий чек, поеду прямо на Дальний Запад, и там можешь делать со мной что хочешь».

Следует сказать, что Пинкертон с самого начала, сам того не сознавая, всячески старался заставить меня приехать к нему: он описывал свое одиночество среди новых знакомых («ни один из которых не обладает твоей культурой»), изливался в таких горячих дружеских чувствах, что это меня смущало — ведь я не мог отплатить ему тем же, — жаловался, как трудно ему без помощника, и тут же принимался хвалить мою решимость и уговаривать меня остаться в Париже.

«Только помни, Лауден, — снова и снова писал он, — что, если он тебе все-таки надоест, здесь тебя ждет большая работа — честная, трудная, приносящая хороший доход работа: ты будешь способствовать развитию ресурсов этого штата, пребывающего пока в первозданном состоянии. И, конечно, мне незачем писать, как я буду рад, если мы станем заниматься этим вместе, плечом к плечу». Вспоминая то время, я дивлюсь, как у меня вообще хватало духа противостоять этим призывам и упорно тратить деньги моего друга, хотя мне и было известно, что моя манера расходовать их ему не по душе. Во всяком случае, осознав свое положение, я осознал его полностью и решил не только следовать в будущем советам Пинкертона, но и возместить убытки, понесенные им из-за меня в прошлом. Я припомнил, что у меня еще остались кое-какие возможности, и решил посетить семейство Лауденов в древнем городе Эдинбурге.

И вот я, пользуясь не очень изящным выражением, навострил лыжи — поступок довольно неблаговидный, но зато совершенный без особых затруднений. Поскольку у меня не было никаких вещей, которые стоило бы брать с собой, я покинул свое имущество без малейшего сожаления. Дижон унаследовал «Жанну д'Арк», «Знаменосца» и мушкетеров. Вместе с ним я купил чемодан и кое какие необходимые в дороге вещи, и тут же, у дверей магазина, мы расстались, так как свои последние часы в Париже я хотел провести в одиночестве. И вот в одиночестве я заказал свой прощальный обед (гораздо более роскошный, чем позволяли мои финансы); в одиночестве купил билет на вокзале Сен-Лазар; в полнейшем одиночестве, хотя вагон был переполнен, смотрел я на залитую лунным светом Сену, усеянную маленькими островками, на шпили руанского собора, на корабли в гавани Дьеппа. Когда первые лучи зари пробудили меня на палубе пакетбота от беспокойного сна, я с удовольствием встретил рассвет, с удовольствием смотрел, как из розовой дымки встают зеленые берега Англии; с восторгом вдыхал соленый морской воздух — и тут вдруг вспомнил: я более не художник, я перестал быть самим собой, я расстался со всем, что мне было дорого, и возвращаюсь к тому, что всегда презирал, возвращаюсь рабом долгов и благодарности, безнадежным неудачником.

Неудивительно, что от этой картины моих несчастий и позора мысль моя с облегчением обратилась к Пинкертону, питавшему ко мне, как я знал, прежнюю горячую дружбу и уважение, которые я ничем не заслужил и поэтому мог надеяться сохранить навсегда. Неравенство в наших отношениях вдруг остро меня поразило: я был бы безнадежно туп, если бы мог думать об истории нашей дружбы без стыда: ведь я давал так мало, а брал и принимал так много! Мне предстояло целый день пробыть в Лондоне, и я решил (хотя бы на словах) установить некоторое равновесие. Усевшись в углу кафе и требуя все новые листы бумаги, я изливал в письме свою благодарность и раскаяние, давал обещания на будущее. До сих пор, писал я, вся моя жизнь была проникнута эгоизмом. Я был эгоистичен по отношению к моему отцу и к моему другу, принимал их помощь и ничем за нее не платил, лишая их даже такого пустяка (хотя большего они и не требовали!), как мое общество.

Какую силу утешения таит в себе написанное слово! Едва это послание было закончено и отправлено, как сознание собственной добродетели согрело меня, точно хорошее вино.

ГЛАВА VI,
В КОТОРОЙ Я ОТПРАВЛЯЮСЬ НА ДАЛЬНИЙ ЗАПАД

На следующее утро я уже подъезжал к дому моего дяди, как раз вовремя, чтобы позавтракать со всей семьей. Почти никаких перемен не произошло здесь за три года, протекших с тех пор, как я впервые сел за этот стол юным американским студентом, который совсем растерялся, глядя на неведомые яства — копченую треску, копченую лососину, копченую баранину, — и тщетно ломал голову, стараясь догадаться, что скрывается под пышной юбкой куклы на подносе. Единственное изменение можно было заметить только в том, что ко мне стали относиться с большим уважением. С подобающей грустью была упомянута кончина моего отца, а потом вся семья поспешила заговорить на более веселую тему (о господи!) — о моих успехах. Им было так приятно услышать обо мне столько хорошего; я стал настоящей знаменитостью; а где сейчас находится эта прекрасная статуя Гения… Ну, Гения какого-то места? «Вы ее, правда, не захватили с собой? Неужели?» — потряхивая кудрями, спросила самая кокетливая из моих кузин, словно предполагая, что я привез свое творение с собой и просто прячу его в кармане, как подарок ко дню рождения. Это семейство, не искушенное в тропических ураганах газетной чепухи Дальнего Запада, свято поверило «Санди Геральду» и болтовне бедняги Пинкертона. Трудно придумать другое обстоятельство, которое могло бы подействовать на меня столь же угнетающе, и до конца завтрака я вел себя, как наказанный школьник.

Когда и завтрак и семейные молитвы подошли к концу, я попросил разрешения побеседовать с дядей Эдамом «о состоянии моих дел»; При этой зловещей фразе лицо моего почтенного родственника заметно вытянулось, а когда дедушка наконец расслышал, о чем я прошу (старик был глуховат), и выразил желание присутствовать при нашем разговоре, огорчение дяди Эдама совершенно явно сменилось раздражением. Однако все это внешне почти не проявилось, и, когда он с обычной угрюмой сердечностью выразил свое согласие, мы втроем перешли в библиотеку — весьма мрачное обрамление для предстоящего неприятного разговора. Дедушка набил табаком свою глиняную трубку и устроился курить рядом с холодным камином — окна позади него были полуоткрыты, а шторы полуопущены, хотя утро было холодное и сумрачное; не могу описать, насколько не соответствовал он всей этой обстановке. Дядя Эдам занял свое место за письменным столом посредине. Ряды дорогих книг зловеще смотрели на меня, и я слышал, как в саду чирикают воробьи, а кокетливая кузина уже барабанит на рояле и оглашает дом заунывной песней в гостиной над моей головой.

И вот, по-мальчишески уставившись в пол и стараясь говорить как можно короче, я сообщил моим родственникам о своем финансовом положении — о том, сколько я задолжал Пинкертону, о том, что я не могу зарабатывать себе на жизнь как скульптор, о том, чем я намерен заниматься в Штатах, и о том, как я решил прежде, нежели еще задолжать человеку постороннему, сообщить обо всем этом своим родным.

— Могу только пожалеть, что ты не обратился ко мне с самого начала, — сказал дядя Эдам. — Смею сказать, это выглядело бы более прилично.

— Согласен с вами, дядя Эдам, — ответил я, — но ведь я не знал, как вы посмотрите на мою просьбу.

— Надеюсь, я не способен повернуться спиной к своему племяннику! — воскликнул он с горячностью, но в его тоне, к которому я тревожно прислушивался, прозвучало скорее раздражение, чем родственное чувство. — Неужели я мог бы забыть, что ты сын моей сестры? Я считаю, что помочь тебе — мой прямой долг, и я его исполню.

Мне оставалось только пробормотать:

— Благодарю вас.

— Да, — продолжал он. — И можно усмотреть руку провидения в том, что ты приехал именно сейчас. В фирме, где я когда-то служил, открылась вакансия; теперь ее владельцы

величают себя «Итальянские оптовики»; можешь считать, что тебе повезло, — добавил он, чуть улыбнувшись, — в мое время это были простые бакалейщики. Я сведу тебя туда завтра же.

— Погодите минутку, дядя Эдам, — перебил я. — Ведь я прошу вас совсем о другом. Я прошу вас вернуть Пинкертону, человеку небогатому, его деньги. Я прошу вас помочь мне распутаться с долгами, а не устраивать за меня мою жизнь.

— Если бы я хотел быть резким, я мог бы напомнить тебе, что нищим выбирать не положено, — возразил мой дядя, — кроме того, ты уже видел, что получилось, когда ты сам устраивал свою жизнь. Теперь тебе следует положиться на советы тех, кто старше и — что бы ты об этом ни думал — умнее тебя. Все эти планы твоего приятеля, о котором, кстати говоря, я ничего не знаю, и болтовню о возможностях, открывающихся перед тобой на Дальнем Западе, я просто оставляю без внимания. Я не могу допустить, чтобы ты отправился через всю Америку в погоне за мыльным пузырем. Приняв место, которое я, по счастью, могу тебе предложить и за которое многие молодые люди ухватились бы с величайшей радостью, ты будешь получать для начала целых восемнадцать шиллингов в неделю.

— Восемнадцать шиллингов в неделю! — вскричал я. — Да ведь мой бедный друг давал мне больше, ничего не получая взамен!

— Если не ошибаюсь, именно этому другу ты хотел бы теперь возвратить свой долг, — заметил дядя с видом человека, выдвигающего неопровержимый довод.

— Эда-ам! — сказал мой дедушка.

— Мне крайне неприятно, что вам пришлось присутствовать при этом разговоре, — произнес дядя Эдам, с угодливым видом поворачиваясь к каменщику, — но ведь вы сами так захотели.

— Эда-ам! — повторил старик.

— Я слушаю вас, сударь, — сказал дядя.

Дедушка несколько секунд просидел молча, попыхивая трубкой, а затем сказал:

— Смотреть на тебя противно, Эдам!

Было заметно, что дядя обиделся.

— Мне очень грустно, если вы так думаете, — заметил он, — и тем более грустно, что вы сочли возможным сказать это в присутствии третьего лица.

— Оно, конечно, так, Эдам, — сухо отрезал старик, — да только мне на это почему-то наплевать. Вот что, малый, — продолжал он, обращаясь ко мне, — я твой дед, так, что ли? А Эдама ты не слушай. Я пригляжу, чтобы тебя не обидели. Я ведь богат.

— Папа, — сказал дядя Эдам, — мне хотелось бы поговорить с вами наедине.

Я встал и направился к дверям.

— Сиди, где сидел! — крикнул мой дед, приходя в ярость. — Если Эдаму хочется поговорить, пусть говорит. А все деньги здесь мои, и я заставлю, чтобы меня слушались!

После такого предисловия у дяди Эдама явно пропала охота говорить: ему дважды предлагалось «выложить, что у него на душе», но он угрюмо отмалчивался, причем должен сказать, что в эту минуту мне было его искренне жаль.

— Вот что, сынок моей Дженни, — сказал наконец дедушка. — Я собираюсь поставить тебя на ноги. Твою мать я всегда любил больше, потому что с Эдамом каши не сваришь. Да и ты сам мне нравишься, голова у тебя работает правильно, рассуждаешь ты, как прирожденный строитель, а кроме того, жил во Франции, а там, говорят, знают толк в штукатурке. А это — первое дело, особливо для потолков; небось, по всей Шотландии не найдешь строителя, который больше меня пускал бы ее в ход. А хотел я сказать вот что: если с капиталом, который я тебе дам, ты займешься этим ремеслом, то сумеешь стать богаче меня. Ведь тебе полагается

доля после моей смерти, а раз она понадобилась тебе теперь, ты по справедливости получишь чуток поменьше.

Дядя Эдам откашлялся.

— Вы очень щедры, папа, — сказал он, — и Лауден, конечно, это понимает. Вы поступаете, как сами выразились, по справедливости; но, с вашего разрешения, не лучше ли было бы оформить все это письменно?

Тлевшая между ними вражда чуть не вырвалась наружу при этих не вовремя сказанных словах. Каменщик быстро повернулся к сыну, оттопырив нижнюю губу, словно обезьяна. Несколько мгновений он глядел на него в злобном молчании, а потом сказал:

— Позови Грегга!

Эти слова произвели видимый эффект.

— Он, наверное, уже ушел в контору, — пробормотал дядя Эдам.

— Позови Грегга! — повторил дед.

— Да говорю же вам, что он ушел в контору, — настаивал Эдам.

— А я тебе говорю, что он сидит в саду, как всегда, и покуривает, — отрезал старик.

— Очень хорошо! — воскликнул дядя и быстро вскочил, словно что-то сообразив. — В таком случае я сам за ним схожу.

— Нет, не сходишь! — крикнул дедушка. — Сиди, где сидел!

— Так как же, черт побери, я смогу его позвать? — огрызнулся дядя с вполне простительным раздражением.

Дедушка (которому на это возразить было нечего) посмотрел на своего сына со злорадной мальчишеской усмешкой и позвонил в колокольчик.

— Возьмите ключ от садовой калитки, — сказал дядя Эдам слуге, — пройдите в сад и, если мистер Грегг, нотариус, там (он обычно сидит под старым боярышником), передайте ему, что мистер Лауден-старший просит его зайти к нему.

Мистер Грегг, нотариус! Тут я наконец понял скрытый смысл слов моего деда и причину тревоги бедного дяди Эдама. Речь, оказывается, шла о завещании старого каменщика.

— Послушайте, дедушка, — сказал я, — ничего этого мне не надо. Я просто хотел попросить взаймы фунтов двести. Я могу позаботиться о себе сам; у меня есть надежды и верные друзья в Штатах…

Старик отмахнулся от меня.

— Разговаривать буду я! — сказал он резко.

И мы в молчании с, тали ожидать прихода нотариуса. Наконец он появился — суровый человек в очках, но с довольно симпатичным лицом.

— А, Грегг! — воскликнул каменщик. — Ответьте-ка мне на один вопрос: какое отношение имеет Эдам к моему завещанию?

— Боюсь, я не совсем вас понял, — ответил нотариус с некоторой растерянностью.

— Какое он имеет к нему отношение? — повторил старик, ударяя кулаком по ручке своего кресла. — Чьи это деньги — мои или Эдама? Имеет он право вмешиваться?

— А, понимаю, — ответил мистер Грегг. — Разумеется, нет. Вступая в брак, и ваша дочь и ваш сын получили определенную сумму и приняли ее по всем правилам закона. Вы, конечно, помните об этом, мистер Лауден?

— Так что, коли мне захочется, — произнес мой дед, отчеканивая каждое слово, — я могу оставить все свое имущество хоть Великому Моргалу? (Очевидно, он имел в виду Великого Могола.)

— Разумеется, — ответил Грегг с легкой улыбкой.

— Слышишь, Эдам? — спросил старик.

— Разрешите заметить, что мне ни к чему было это слышать, — ответил тот.

— Ну и ладно, — объявил дед. — Вы с сынком Дженни отправляйтесь погулять, а нам с Греггом надо обсудить одно дельце.

Когда я снова оказался в зале наедине с дядей Эдамом, я повернулся к нему, весьма расстроенный, и сказал:

— Дядя Эдам, я думаю, мне незачем говорить вам, как все это для меня тяжело.

— Да, мне очень грустно, что тебе пришлось увидеть своего деда в столь новом для тебя свете, — ответил этот необыкновенный человек. — Впрочем, пусть это тебя не расстраивает. Он обладает многими высокими достоинствами и оригинальным характером. Я твердо уверен, что он щедро тебя обеспечит.

Подражать его невозмутимости у меня не хватило сил. Я не мог долее оставаться в этом доме, ни даже обещать, что я в него вернусь. В результате мы договорились, что через час я зайду в контору нотариуса, которого (когда он выйдет из библиотеки) дядя Эдам предупредит об этом. Полагаю, трудно придумать более запутанное положение: могло показаться, что это мне нанесен тяжелый удар, а облаченный в непроницаемую броню Эдам — великодушный победитель, который не пожелал воспользоваться своим преимуществом.

Можно было не сомневаться, что я получу какие-то деньги, но сколько и на каких условиях, я должен был узнать только через час, а пока мне оставалось лишь размышлять об этом, бродя по широким пустынным улицам нового города, советуясь со статуями Георга IV и Уильяма Питта, любуясь поучительными картинами в витрине магазина нот и возобновляя свое знакомство с эдинбургским восточным ветром. К концу этого часа я направился в контору мистера Грегга, где мне после надлежащего вступления был вручен чек на две тысячи фунтов и небольшой сверток с трудами по архитектуре.

— Мистер Лауден просил меня также сообщить вам, — добавил нотариус, заглянув в свои записи, — что хотя эти труды очень полезны для строителя-практика, вам следует остерегаться, чтобы не утратить оригинальности. Он советует вам также не «ходить на поводу» — это его собственное выражение — у теории деформации и помнить, что портландского цемента, если к нему добавить песок в правильной пропорции, хватит надолго.

Я улыбнулся и ответил, что, вероятно, его действительно хватит надолго.

— Мне как-то пришлось жить в доме, выстроенном моим уважаемым клиентом, — заметил нотариус, — и у меня создалось впечатление, что дальше некуда.

— В таком случае, сэр, — ответил я, — вы будете рады услышать, что я не собираюсь стать строителем.

Тут он засмеялся, лед был сломан, и я получил возможность посоветоваться с ним о своих дальнейших действиях. Он утверждал, что мне следует вернуться в дом дяди пообедать, а потом отправиться на прогулку с дедом.

— На вечер, если хотите, я могу вас освободить, — добавил он, — пригласив поужинать со мной по-холостяцки. Но ни от обеда, ни от прогулки уклоняться вам не следует. Ваш дед стар и, кажется, очень к вам привязан. Его, разумеется, огорчит мысль, что вы его избегаете. Что же касается мистера Эдама, то тут, я думаю, ваша деликатность излишня… Ну, а теперь, мистер Додд, как вы намерены распорядиться своими деньгами?

Как — в этом-то и был вопрос. Получив две тысячи фунтов, то есть пятьдесят тысяч франков, я мог бы вернуться в Париж к моему любимому искусству и жить в бережливом Латинском квартале, как миллионер. Кажется, у меня хватило совести порадоваться, что я отослал уже упоминавшееся лондонское письмо, однако я ясно помню, как все худшее во мне заставляло меня горько каяться, что я слишком поспешил с его отсылкой. Тем не менее, несмотря на противоречивость моих чувств, одно было твердо и несомненно: раз письмо

отослано, я обязан ехать в Америку. И вот мои деньги были разделены на две неравные части — под первую мистер Грегг выдал мне аккредитив на имя Дижона, чтобы тот мог заплатить мои парижские долги, а на вторую, поскольку у меня была кое-какая наличность на ближайшие расходы, он вручил мне чек на банк в Сан-Франциско.

Остальное время моего пребывания в Эдинбурге, если не считать очень приятного ужина с нотариусом и ужасающего семейного обеда, я потратил на прогулку с каменщиком, который на этот раз не повел меня любоваться творениями своих старых рук, а, повинуясь естественному и трогательному порыву, решил показать мне вечное жилище, избранное им для своего последнего упокоения. Оно находилось на кладбище, которое благодаря какой-то странной случайности оказалось внутри тюремного вала и было к тому же расположено на самом краю утеса, усеянного старыми могильными плитами и надгробиями и покрытого зеленой травой и плющом. Восточный ветер (показавшийся мне слишком резким и холодным для старика) заставлял непрерывно трепетать ветви деревьев, и неяркое солнце шотландского лета рисовало на земле их пляшущие тени.

— Я хотел, чтобы ты побывал здесь, — сказал дед. — Вон видишь камень. «Юфимия Росс» — это была моя хозяйка, твоя бабушка… Тьфу! Перепутал: она была моей первой женой, и детей у нас не было, а твоя бабка вот: «Мэри Меррей, родилась в 1819 году, скончалась в 1850 году». Хорошая была женщина, без всяких глупостей, что там ни говори. «Александр Лауден, родился в 1792 году, скончался…», а дальше пусто: это обо мне. Меня ведь звать Александр. Когда я был мальчишкой, меня называли Эки. Эх, Эки, каким же ты стал дряхлым стариком!

Очень скоро мне пришлось снова нанести визит на кладбище, и гораздо более грустный. Случилось это в Маскегоне, над которым уже возвышался одетый — в леса купол нового капитолия. Я приехал под вечер. Моросил дождь, и, проходя по широким улицам, самые названия которых были мне незнакомы, где мимо меня, звеня, проносились ряды конок, над головой сплетались сотни телеграфных и телефонных проводов, а по сторонам вздымались громады ярко окрашенных и все же угрюмых зданий, я с тоской вспоминал улицу Расина, и даже мысль об извозчичье трактире вызвала слезы на моих глазах. За время моего отсутствия этот скучный город так разросся — можно даже сказать, раздулся, — что мне то и дело приходилось спрашивать дорогу у прохожих, и даже кладбище оказалось с иголочки новым. Однако смерть не дремала, и могил там было уже много. Я бродил под дождем среди пышных и безвкусных склепов миллионеров и скромных черных крестов над могилами рабочих-иммигрантов, пока случайность — а может быть, инстинкт — не привела меня к последнему месту упокоения моего отца. Памятник над ним был воздвигнут, как я уже знал, «его восторженными почитателями». Одного взгляда мне оказалось достаточно, чтобы создать суждение об их художественном вкусе, и, без труда представив, каким должен быть их литературный вкус, я остерегся подойти ближе к монументу и прочитать надпись. Однако имя «Джеймс К. Додд» было вырезано крупными буквами и сразу бросилось мне в глаза. Какая странная вещь — имя, подумал я, как оно прилипает к человеку, представляет его б неверном свете, а затем переживает его. И тут с горькой улыбкой я вспомнил, что не знаю — и теперь никогда не узнаю, — какое слово скрывается за этим «К». Кинг, Килтер, Кей, Кайзер — перебирал я наугад имена и, наконец, переиначив «Герберта» в «Керберта», чуть не рассмеялся вслух. Никогда еще я так не ребячился — наверное, потому, что (хотя все мои чувства, казалось, омертвели) никогда еще я не был так глубоко потрясен. Но после того как мои нервы сыграли со мной такую шутку, я, испытывая глубочайшее раскаяние, поспешил удалиться с кладбища.

Столь же похоронными были и все мои остальные впечатления от Маскегона, в котором я пробыл еще несколько дней, навещая друзей и знакомых отца. Я задержался в Маскегоне из благоговения перед его памятью и мог бы избавить себя от этого испытания, ибо он был уже совершенно забыт. Правда, ради него меня принимали радушно, а ради меня некоторое время поддерживался неловкий разговор о его редких добродетелях. Бывшие товарищи отца,

беседуя со мной, тепло вспоминали о его деловых талантах, о его щедрых взносах на общественные нужды, а стоило мне отойти, как они мгновенно о нем забывали. Мой отец любил меня, а я его покинул, и он жил и умер среди людей равнодушных к нему; вернувшись, я нашел только его забытую могилу. Мое бесплодное раскаяние претворилось в новое решение: еще один человек любит меня — Пинкертон. Я не должен дважды совершать одну и ту же ошибку.

В Маскегоне я задержался примерно на неделю, не известив об этом моего приятеля. И вот, когда я пересел в Каунсил-Блафф на другой поезд, в вагон ворвался посыльный с телеграммой в руке, громогласно вопрошая, нет ли среди пассажиров «Лондона Додда». Решив, что имена почти сходятся, я предъявил свои права на телеграмму. Она была от Пинкертона: «Какого числа ты приезжаешь, страшно важно». Я послал ему депешу с указанием дня и часа и в Огдене получил ответ: «Отлично. Испытываю неимоверное облегчение. Встречу тебя в Сакраменто». В Париже я придумал тайное прозвище Пинкертону — в минуты горечи я называл его «Неукротимым», и именно это слово прошептали теперь мои губы. Какую авантюру затеял он теперь? Какую чашу испытаний готовило мое доброжелательное чудовище своему Франкенштейну? В какой лабиринт событий попаду я, оказавшись на тихоокеанском побережье? Мое доверие к Пинкертону было абсолютным, мое недоверие к нему — непоколебимым. Я знал, что намерения его всегда были наилучшими, но не сомневался, что поступит он, с моей точки зрения, обязательно не так, как надо.

Полагаю, что эти смутные опасения окрасили в мрачные тона и без того угрюмые пейзажи за окнами вагона, где хмурились Небраска, Вайоминг, Юта, Невада, словно желая прогнать меня обратно на мою вторую родину, в Латинский квартал. Но, когда Скалистые горы остались позади и поезд, так долго пыхтевший на крутых подъемах, понесся вниз по склону, когда я увидел плодороднейшую область, простирающуюся от лесов и голубых гор до океана, увидел необозримые поля волнующейся кукурузы, рощи, чуть колышимые летним ветерком, деревенских мальчишек, осаждающих поезд, предлагая инжир и персики, мое настроение сразу поднялось. Забота спала с моих плеч, и когда в толпе на перроне в Сакраменто я увидел моего Пинкертона, то, забыв все, кинулся к нему — к самому верному из друзей.

— Лауден! — закричал он. — Как я по тебе стосковался! И ты приехал как раз вовремя. Тебя здесь знают и ждут. Я уже устроил тебе рекламу, и завтра вечером ты читаешь лекцию «Жизнь парижского студента: его занятия и развлечения». Тысяча двести билетов разошлись все до единого… Но как же ты исхудал! Нука, хлебни вот этого. — И он извлек из кармана бутылку с удивительнейшей этикеткой: «Пинкертоновский коньяк Золотого Штата, тринадцать звездочек, лицензированный».

— Господи! — воскликнул я, закашлявшись после глотка этой огненной жидкости. — А что означает «лицензированный»?

— Да неужели ты этого не знаешь, Лауден? — удивился Пинкертон. — Отличное выражение, которое можно увидеть на любом старинном кабачке.

— Но, если не ошибаюсь, там оно означает совсем другое и относится к заведению, а не к продаваемым в нем напиткам.

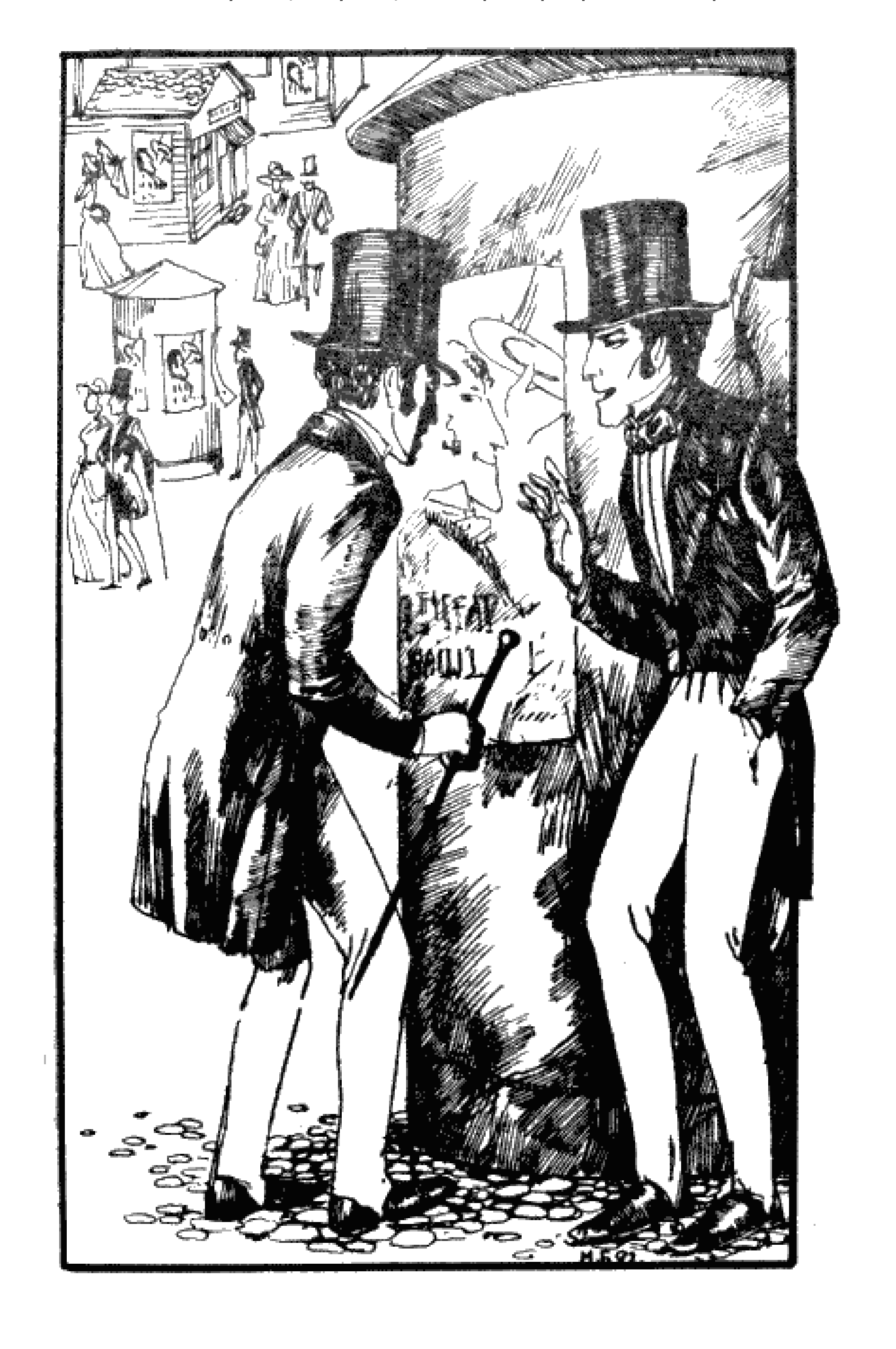
— Возможно, — ответил Джим, нимало не смущаясь. — Однако это слово очень эффектно и дало ход напитку — он теперь расходится ящиками. Кстати, надеюсь, ты не рассердишься: в связи с лекцией я расклеил по всему Сан-Франциско твои портреты с подписью: «Лауден Додд, американо-парижский скульптор». Вот образец афишки для раздачи на улицах, а стенные афиши точно такие же, только набраны крупным шрифтом, синим и красным.

Я взглянул на афишку, и у меня потемнело в глазах. Слова были бесполезны. Как я мог растолковать Пинкертону, насколько ужасно это сочетание «американопарижский», когда он не замедлил указать мне на него и объяснить:

— Очень удачное выражение — сразу раскрывает обе стороны вопроса. Я хотел, чтобы лекция отвечала именно такому требованию.

Даже когда мы добрались до Сан-Франциско, и я, не выдержав зрелища расскленных повсюду изображений моей физиономии, разразился потоком негодующих слов, Пинкертон не понял, чем я недоволен.

— Если бы я только знал, что ты не любишь красных букв! — был единственный вывод, который он сделал из моей речи. — Ты совершенно прав: четкая черная печать гораздо предпочтительнее и сильнее бросается в глаза. Вот с портретом ты меня огорчил — признаюсь, я думал, он получился очень удачно. Честное слово, мне страшно неприятно, что все так вышло, мой дорогой. Теперь я понимаю, ты, конечно, имел право ожидать совсем другого. Но ведь я старался сделать как лучше, Лауден, и все репортеры в восторге.



Тут я перешел к самому главному:

— Послушай, Пинкертон, из всех твоих сумасшедших выдумок эта лекция — самая сумасшедшая. Как я успею подготовить ее за тридцать часов?

— Все сделано, Лауден, — ответил он с торжеством, — лекция готова. Она лежит уже отпечатанная в ящике моего письменного стола. Я пригласил для этого самого талантливого литератора Сан-Франциско — Гарри Миллера, лучшего репортера города.

И он, не слушая моих робких возражений, продолжал болтать, описывая мне свои сложные деловые предприятия, перечислял своих новых знакомых, то и дело сожалея, что не может тут же на месте представить мне какого-нибудь «чудеснейшего парня, первоклассного дельца», а у меня при одной мысли об этом знакомстве по спине пробегала дрожь.

Ну, со воем этим я должен был смириться: смириться с Пинкертоном, смириться с портретом, смириться с заранее напечатанной лекцией. Мне, правда, удалось вырвать у него обещание никогда в дальнейшем не давать от моего имени обязательств, не поставив меня об этом в известность. Но я тут же раскаялся в своем требовании, заметив, как удивило и обескуражило оно Неукротимого, и побрел без жалоб за его триумфальной колесницей. Я назвал его «Неукротимым». Вернее было бы сказать «Неотразимый».

Но все это и в сравнение не шло с тем, что я испытал, просмотрев лекцию Гарри Миллера. Он оказался большим остряком, питал пристрастие к несколько вольным шуткам, которые вызывали у меня тошноту, и вместе с тем, описывая гризеток и голодающих гениев, впадал в слащавый или даже мелодраматический тон. Я понял, что материалом ему служила моя переписка с Пинкертоном, ибо иногда натыкался на описание своих собственных приключений, только искаженных до неузнаваемости, а также своих мыслей и чувств, но в таком преувеличенном изложении, что мне оставалось только краснеть. Надо отдать Гарри Миллеру справедливость, он действительно обладал своеобразным талантом, чтобы не сказать гением — все попытки умерить его тон оказались бесплодными, он был неизгладим. Более того, у этого чудовища был определенный ярко выраженный стиль — или отсутствие стиля, — так что любая моя вставка отчаянно дисгармонировала со всем остальным и обедняла (если только это было возможно) общий эффект.

За час до лекции я пообедал в ресторанчике «Пудель» со своим агентом — так было угодно Пинкертону величать себя. Оттуда он, как быка на бойню, повел меня в зал, где я оказался лицом к лицу со всем СанФранциско, и притом в полном одиночестве, если не считать стола, стакан с водой и отпечатанной на машинке рукописи, творцом которой был Гарри Миллер и немножко я. Я начал читать ее вслух — у меня не было ни времени, ни желания выучивать всю эту чепуху наизусть. Читал я торопливо, монотонно, всем своим видом показывая, как мне стыдно. Порой, когда я встречался взглядом с чьими-нибудь умными глазами или вдруг натыкался на особо сочный образчик миллеровского остроумия, я запинался и некоторое время что-то бормотал еле слышным голосом. Слушатели зевали, ерзали, шептались, ворчали и наконец принялись выкрикивать: «Громче! Ничего не слышно!» Я начал пропускать страницы и, плохо зная материал, почти каждый раз оказывался в середине фразы, не имевшей ничего общего с предыдущей. Но эти неувязки ни у кого не вызывали смеха, что показалось мне весьма зловещим знаком. По правде сказать, я начинал бояться худшего и почти не сомневался, что мне вскоре будет нанесено оскорбление действием, когда вдруг ощутил, насколько все это смешно. Я чуть было не расхохотался, и, когда мне опять крикнули, чтобы я читал громче, я в первый раз улыбнулся своим слушателям.

— Отлично, — сказал я. — Я попробую читать громче, хотя, по-моему, никому не хочется меня слушать, что, впрочем, и неудивительно.

После чего и аудитория и лектор принялись хохотать и хохотали до слез. Моя импровизированная острота была вознаграждена громовыми и продолжительными аплодисментами. Затем, пропустив три страницы, я весело заметил:

— Вот видите, я пропускаю все, что возможно.

После чего уважение ко мне зрителей чрезвычайно возросло, и, когда я наконец сошел с эстрады, мне вслед смеялись, стучали ногами, кричали и махали шляпами.

Пинкертон сидел за кулисами и что-то лихорадочно записывал в свой блокнот. Едва увидев меня, он вскочил на ноги, и я с удивлением заметил, что по его щекам текут слезы.

— Мой дорогой! — вскричал он. — Я себе этого никогда не прощу, и ты меня не простишь! Ну, да ладно. Я же хотел, как лучше. А с каким мужеством и благородством ты довел ее до конца! Я ведь боялся, что нам придется вернуть деньги.

— Так было бы честнее всего, — ответил я.

Тут к нам подошли репортеры во главе с Гарри Миллером, и я не без изумления обнаружил, что, в общем, все они люди очень приятные, и даже Гарри Миллер как будто человек вполне порядочный. Я потребовал устриц и шампанского (лекция принесла нам солидную сумму) и, поскольку мое нервное напряжение требовало разрядки, принялся шутить, да так, что все они непрерывно хохотали. С необычайным подъемом я описывал свое бдение над литературными трудами Гарри Миллера и гамму чувств, которые я испытал на эстраде. Мои сотрапезники наперебой клялись, что я душа общества и царь всех лекторов, и — столь удивительна сила печати — если бы вы прочли отчеты о моей лекции, появившиеся на следующий день в газетах, то вообразили бы, что она прошла удивительно удачно.

Вечером, возвращаясь домой, я был в превосходном настроении, но приунывший Пинкертон огорчался за двоих.

— Ах, Лауден, — сказал он, — я никогда себе этого не прощу! Сообразив, что мысль об этой лекции тебе неприятна, я должен был бы прочесть ее сам.

ГЛАВА VII

ДЕЛА ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ

Телесная пища глупца и мудреца, слона и воробышка не так уж различна — одни и те же химические элементы, лишь облеченные в различную форму, поддерживают жизнь всех обитателей земли. Немного понаблюдав Пинкертона в его новой обстановке, я убедился, что это правило применимо и к тем мыслительным процессам, с помощью которых мы извлекаем из жизни радость. Начитавшийся Майн Рида мальчуган, сжимая в руках игрушечное ружье, крадется по воображаемым лесам — и точно так же Пинкертон, шествуя по Кирни-стрит в свою контору, чувствовал, что жизнь его полна жгучего интереса, а случайная встреча с миллионером преисполняла его счастьем на долгие часы. Его романтикой была реальность, он гордился своим занятием, он наслаждался деловой жизнью. Представьте себе, что кто-нибудь наткнулся у Коромандельского берега на затонувший галион и, пока его шхуна лежит в дрейфе, отмеряет под грохот прибоя золотые слитки ведрами при свете горящих обломков; но, хотя этот человек, несомненно, окажется владельцем неизмеримо большего богатства, ему не испытать и половины того романтического волнения, с которым Пинкертон подводил в пустой конторе свой еженедельный баланс. Каждый нажитый доллар был словно сокровище, извлеченное из таинственной морской пучины, каждая сделка — словно прыжок искателя жемчуга в волны, а когда Пинкертон предпринимал биржевые операции, он с восторгом чувствовал, что сотрясает самые столпы современной жизни, что в самых дальних странах люди, словно по боевому кличу, принимаются за дело, а золото в сейфах миллионеров содрогается.

Я так никогда толком и не узнал полного размаха его деятельности, однако было пять совершенно не связанных между собой предприятий, о которых он постоянно говорил и

которыми страшно гордился. «Коньяк Золотого Штата, тринадцать звездочек, лицензированный» (весьма ядовитый напиток) занимал в его мыслях весьма большое место и расхваливался в весьма красноречивой, хотя и не слишком правдивой брошюре «Зачем пить французский коньяк? Обращение к умным людям». Он держал рекламную контору — давал советы, составлял проспекты и служил посредником между владельцами типографий и людьми неопытными или малоизобретательными. Тупой галантерейщик приходил к нему набраться идей, разбитной театральный агент являлся за сведениями о местных условиях, и все до одного его клиенты уходили, унося с собой экземпляр его брошюры «Как, когда и где, или руководство по рекламе». Каждую субботу он зафрахтовывал буксирный пароходик и вывозил желающих на взморье, снабжая их удочками и приманкой для шестичасового ужения за пять долларов с головы. Мне рассказывали, что кое-кто из его пассажиров (без сомнения, умелые рыболовы) еще наживались на этой сделке. Иногда он покупал потерпевшие крушение или назначенные на слом суда, которые затем (уж не знаю как) вновь оказывались на плаву, сменяя только названия, и продолжали бороздить океан под флагами Боливии или Никарагуа. И, наконец, имелась некая сельскохозяйственная машина, блиставшая малиновой и синей краской и, как считалось, «восполнявшая давно ощущавшийся пробел», — Пинкертону принадлежала десятая часть патента.

Таковы были его основные и официальные предприятия, «а помимо них» (его собственное выражение), он занимался самой разнообразной и весьма таинственной деятельностью. Ни один доллар, находившийся в его владении, не лежал спокойно — он жонглировал ими, словно клоун апельсинами. Мои собственные заработки, когда я начал получать свою долю прибылей, он только показывал мне, а затем они исчезали, как те деньги, которые дарят ребенку только для того, чтобы он опустил их в церковную кружку. После подведения еженедельного баланса Пинкертон являлся сияя, хлопал меня по плечу и заявлял, что чистая прибыль достигла гигантской цифры, после чего выяснялось, что у него нет четверти доллара на стакан виски.

— Но что же ты сделал с полученной прибылью? — спрашивал я.

— Пустил в оборот. Все снова вложено в дело, — объявлял он с неописуемым восторгом.

Он признавал только «вклады в дело» и терпеть не мог «биржевой игры», как он выражался.

— Никаких акций, Лауден, — не уставал повторять он, — только солидные предприятия.

Но при этом самый азартный биржевик пришел бы в ужас от одного только намека на некоторые капиталовложения Пинкертона, В качестве примера приведу одно из них, которое мне удалось проследить от начала и до конца: он купил седьмую часть фрахта некой злополучной шхуны, направлявшейся в Мексику с контрабандной партией оружия. Затем шхуна должна была вернуться в Сан-Франциско со столь же контрабандными сигарами. О печальном исходе этого предприятия — кораблекрушении, конфискации шхуны и судебном процессе со страховой компанией — я распространяться не стану, слишком уж это грустная тема. «Идея оказалась малоудачной», — больше Пинкертон ничего не сказал, но я видел, что его финансы потерпели серьезный ущерб. Надо добавить, что об этой сделке я узнал совершенно случайно, так как Пинкертон довольно скоро перестал посвящать меня в свои тайны. О причине такой перемены я расскажу ниже.

Контора, куда стекались (или, вернее, должны были стекаться) все эти доллары, находилась в самом центре города и представляла собой обширное помещение с высокими потолками и множеством зеркальных окон. Стеклянная горка полированного красного дерева являла взгляду батарею примерно в двести бутылок с яркими этикетками. Они содержали «Пинкертоновские тринадцать звездочек», хотя, глядя на них издали, только эксперт отличил бы их от бутылок с соответствующим французским напитком. Я часто поддразнивал моего приятеля этим сходством и советовал ему выпустить второе издание его брошюры, с исправленным заглавием: «Зачем пить французский коньяк, если мы предлагаем вам те же

самые этикетки?» Дверцы горки то и дело открывались, и если в конторе появлялся человек, незнакомый с достоинствами пинкертоновского коньяка, ему перед уходом непременно преподносилась бутылка. Когда я пробовал протестовать против такой расточительности, Пинкертон восклицал:

— Мой милый Лауден, ты по-прежнему не понимаешь деловых приемов! Себестоимость напитка практически равна нулю. Как бы я ни старался, дешевле рекламы мне не найти.

К горке был прислонен пестрый зонтик, хранившийся как реликвия. Дело в том, что, когда Пинкертон собирался пустить «Тринадцать звездочек» в продажу, наступил дождливый сезон. Он ждал, не имея за душой почти ни гроша, первого ливня: едва пошел дождь, все улицы, как по сигналу, наполнились агентами, продававшими пннкертоновские рекламные зонтики, и все обитатели Сан-Франциско, от торопящегося к парому биржевого маклера и до старушки, ожидающей на углу конки, стали прятаться от дождя под зонтиками со следующей странной надписью: «Вы промокли? Попробуйте «Тринадцать звездочек».

— Успех был просто невероятный, — рассказывал Пинкертон, наслаждаясь приятным воспоминанием. — Ни одного другого зонтика! Я стоял у этого самого окна, Лауден, не в силах наглядеться и чувствовал себя Вандербильтом.

Именно этому ловкому использованию климата Пинкертон был обязан не только спросом на «Тринадцать звездочек», но и возникновением своего рекламного агентства.

Примерно посредине комнаты (я возвращаюсь к описанию конторы) стоял большой письменный стол, вокруг которого громоздились кипы афишек, объявлений и брошюрок «Зачем пить французский коньяк?» и «Руководство по рекламе». По одну его сторону сидели две машинистки, не знавшие ни минуты отдыха между девятью и четырьмя, а по другую — высилась модель сельскохозяйственной машины. Все стены, если не считать места, занятого телефонами и двумя фотографиями, изображавшими корабль «Джеймс Моди», выброшенный на рифы, и буксирный пароходик, переполненный любителями рыбной ловли, были увешаны картинами в пышных рамах. Многие из этих картин были памятью о Латинском квартале, и к чести Пинкертона должен сказать, что совсем плохих среди них не было, а некоторые даже обладали замечательными художественными достоинствами. Они распродавались довольно медленно, но по хорошим ценам, а освободившееся место заполнялось произведениями местных талантов. Пинкертон незамедлительно поручил мне высказать свое суждение об этих последних. Некоторые из них были отвратительны, однако все могли найти сбыт. Я так и сказал и тут же почувствовал себя гнусным перебежчиком, выступающим с оружием в руках на стороне бывших своих врагов. С этих пор я был обречен смотреть на картины не глазами художника, а глазами торговца: между мной и тем, что я любил всем сердцем, легла непроходимая пропасть.

— Ну, Лауден, — сказал Пинкертон на другой день после лекции, — теперь мы будем работать плечом к плечу. Вот о чем я всегда мечтал. Мне нужны были две головы и четыре руки — теперь я их обрел. Ты сам увидишь, что это ничем не отличается от искусства — тоже все сводится к умению видеть и к воображению, только нужно куда больше действовать. Погоди немного, и ты сам это почувствуешь.

Но я никак не мог этого почувствовать. Вероятно, во мне чего-то не хватало: во всяком случае, наша деятельность представлялась мне утомительной суетой, а место, где мы ею занимались, — истинным Дворцом Зевоты. Я спал в каморке позади конторы, а Пинкертон — прямо в ней на патентованном диване-кровати, который время от времени самопроизвольно складывался под ним. Кроме того, сну моего приятеля постоянно угрожал капризный будильник. Это дьявольское изобретение будило нас ни свет ни заря, затем мы отправлялись завтракать, а в девять уже принимались за то, что Пинкертон называл работой, а я — мучением. Надо было вскрыть и прочесть бесчисленное множество писем, а также ответить на них. Я занимался этим за своим столом, который был водворен в контору накануне моего

приезда, а Пинкертон, диктуя машинистке, метался взад и вперед по комнате, словно лев в клетке. Надо было просмотреть бесчисленное количество типографских корректур, помечая синим карандашом «курсив», «нонпарель», «раздвинуть интервалы», а иногда и чтонибудь более сангвиническое, как, например, в тот раз, Когда Пинкертон энергично нацарапал на полях рекламы «тонизирующего сиропа»: «Рассыпать набор. Вы что, никогда не печатали рекламы? Буду через полчаса».

Кроме того, мы каждый день заносили сведения в наши счетные книги. Таковы были наши основные и наименее неприятные занятия. Однако большая часть нашего времени уходила на разговоры с посетителями — весьма возможно, чудеснейшими парнями и первоклассными дельцами, но, к несчастью, ничуть для меня не интересными. Некоторые из них, судя по всему, страдали слабоумием, и с ними приходилось беседовать по часу, прежде чем они наконец решались на какой-нибудь пустяк и покидали контору — только для того, чтобы через десять минут вернуться и взять свое решение назад. Другие врывались к нам с таким видом, словно у них нет ни секунды лишнего времени, но, насколько я мог заметить, это делалось исключительно напоказ. Действующая модель сельскохозяйственной машины, например, казалась своего рода липкой бумагой для бездельников этого типа. Я не раз видел, как они самозабвенно крутили ее минут пять, притворяясь (хотя это никого не обманывало), что она интересует их с практической точки зрения. «Неплохая штука, а, Пинкертон? Много вы их сбываете? Гм! А нельзя ли использовать ее для рекламирования моего товара, как вам кажется?» (Этим товаром могло быть, например, туалетное мыло.) Третьи (пожалуй, самый неприятный тип клиента) уводили нас в соседние кабачки играть в кости на коктейли, а когда за коктейли было заплачено, — на деньги. Любовь этой братии к игральным костям превосходила всякое вероятие: в одном клубе, где я как-то обедал в качестве «моего партнера, мистера Додда», стаканчик с костями появился на столе вместе с десертом и заменил послеобеденную беседу.

Из всех наших посетителей мне больше всего нравился Император Нортон. Упомянув его, я прихожу к выводу, что еще не воздал должное обитателям СанФранциско. В каком другом городе безобидный сумасшедший, воображающий себя императором обеих Америк, был бы окружен таким ласковым вниманием? Где еще уличные прохожие стали бы считаться с его иллюзиями? Где еще банкиры и торговцы пускали бы его в свои конторы, брали бы его чеки, соглашались бы выплачивать ему «небольшие налоги»? Где еще ему позволили бы присутствовать на торжественных актах в школах и колледжах и обращаться к присутствующим с речью? Где еще на всем божьем свете мог бы он, заказав и — съев в ресторане самые изысканные блюда, спокойно уйти и ничего не заплатить? Говорили даже, что он был очень привередлив и, оставшись недоволен, грозил вовсе прекратить посещения такого ресторана. Я легко могу этому поверить, потому что у него было лицо завзятого гурмана. Пинкертона этот монарх сделал своим министром — я видел соответствующий указ и только подивился добродушию владельца типографии, который согласился даром напечатать все эти бланки. Если не ошибаюсь, мой друг возглавлял министерство не то иностранных дел, не то народного образования. Впрочем, значения это не имело, так как функции всех министров были одинаковы. Вскоре после моего приезда мне довелось увидеть, как Джим исполняет свои государственные обязанности. Его императорское величество изволили посетить нашу контору. Это был толстяк с довольно дряблой кожей и благообразным лицом, производивший чрезвычайно трогательное и нелепое впечатление из-за того, что на боку у него болталась длинная сабля, а в шляпе торчало павлинье перо.

— Я зашел напомнить вам, мистер Пинкертон, что вы несколько задержали взнос налогов, — сказал он со старомодной и величественной любезностью.

— Сколько с меня причитается, ваше величество? — спросил Джим и, когда сумма была названа (она никогда не превышала двух-трех долларов), выплатил ее до последнего цента, прибавив в качестве премии бутылку «Тринадцать звездочек».

— Я всегда рад оказать покровительство национальному производству, — заметил Нортон Первый. — СанФранциско предан своему императору, и, должен сказать, я предпочитаю его всем остальным городам в моих владениях.

— Знаешь, — сказал я Пинкертону, когда император удалился, — он мне нравится больше всех остальных наших посетителей.

— Это вообще большая честь, — заметил Джим. — По-моему, он обратил на меня внимание из-за шумихи по поводу зонтиков.

Но и другие, более великие люди дарили нас своим вниманием. Бывали дни, когда Джим принимал необычайно деловитый и решительный вид, говорил только отрывистыми фразами, как человек чрезвычайно занятый, и то и дело ронял фразы вроде: «Лонгхерст говорил мне об этом сегодня утром». Или: «Это мне известно от самого Лонгхерста». Неудивительно, думал я, что подобные финансовые титаны принимают Пинкертона как равного: его изобретательность и находчивость были несравненны. В те первые дни, когда он еще обо всем со мной советовался, шагая взад и вперед по комнате, строя планы, вычисляя, прикидывая воображаемые проценты, утраивая воображаемые капиталы, и его «умственная машина» (прибегая к старинному, но превосходному выражению) работала полным ходом, я никак не мог решить, что сильнее: уважение ли, которое он мне внушает, или желание смеяться, которое он во мне возбуждает. Но этим хорошим дням не суждено было продлиться долго.

— Да, неплохо придумано, — сказал я как-то. — Но, Пинкертон, неужели ты считаешь, что это честно?

— А ты считаешь, что это нечестно? — огорчился он. — И я дожил до того, чтобы услышать от тебя подобные слова!

Заметив, как он расстроился, я, не краснея, воспользовался фразой Майнера.

— По-твоему, честность — это что-то вроде игры в жмурки, — сказал я.

— На самом же деле это вещь очень тонкая, тоньше любого искусства.

— Ах, вот ты о чем! — сказал он с огромным облегчением. — Это казуистика.

— Я убежден в одном: то, что ты предлагаешь нечестно, — возразил я.

— Ну, не будем об этом больше говорить. Все уже решено, — ответил он. Таким образом, мне удалось настоять на своем почти с первого слова.

Но, к несчастью, такие споры стали возникать все чаще и чаще, и мы начали их бояться. Больше всего на свете Пинкертон гордился своей честностью, больше всего на свете он ценил мое доброе мнение, и, когда оказывалось, что его коммерческие предприятия ставят под угрозу и то и другое, он испытывал невероятные мучения. Мое собственное положение было не менее тяжелым. Ведь я стольким был обязан Пинкертону, ведь я сам жил и благоденствовал на доходы с этих сомнительных операций, но кроме того, кому приятна роль брюзги? Если бы я проявил большую требовательность и решительность, наши разногласия могли бы зайти чересчур далеко, но, честно говоря, я беспринципно предпочитал пользоваться благами, не слишком интересуясь, откуда они берутся, и старался избегать неприятных объяснений. Пинкертон ловко воспользовался моей слабостью, и мы оба почувствовали большое облегчение, когда он начал окружать свою деятельность покровом таинственности.

Наш последний спор, который имел самые неожиданные последствия, начался из-за спекуляций негодными, списанными на слом кораблями. Он купил какую-то дряхлую посудину и, потирая руки, сообщил мне, что она уже стоит в доке под другим названием и ремонтируется. Когда я в первый раз услышал об этой отрасли коммерции, я попросту ничего не понял, но теперь, после наших споров, я многому научился.

— Я не могу участвовать в этом, Пинкертон, — сурово сказал я.

Он подпрыгнул, словно в него попала пуля.

— Что это ты? — воскликнул он. — Какая муха тебя на этот раз укусила?.. По-моему, тебе не нравится любое выгодное дело.

— Агент Ллойда списал этот корабль как негодный, — сказал я.

— Но послушай, я же говорю тебе, что это великолепная сделка: корабль в превосходном состоянии, у него только ахтерштевень и кильсоны подгнили. Я же тебе говорю, что агенты Ллойда тоже греют руки, но только они англичане, и потому ты не хочешь мне верить.

Будь это американское агентство, ты ругал бы его на чем свет стоит! Нет, просто у тебя англомания, и больше ничего! — добавил он с раздражением.

— Я не согласен получать прибыль, рискуя жизнью команды, — заявил я решительно.

— Господи! Да ведь любая спекуляция связана с риском! Разве отправлять в плавание даже честно построенный корабль не значит рисковать жизнью команды? А работа на рудниках — это ли не риск? А вспомни, как я покупал элеватор… Что могло быть рискованнее? Он же мог оказаться совсем непригодным, и я тогда потерял бы все… Вот что, Лауден! Я скажу тебе всю правду: ты слишком щепетильный человек и не годишься для этого мира!

— Ты сам себя осудил, — ответил я. — «Даже честно построенный корабль», говоришь ты. Так давай же заниматься только честными сделками!

Удар попал в цель. Неукротимому нечего было возразить. А я воспользовался случаем и бросился в новую атаку. Он думает только о деньгах, заявил я. Он мечтает только о долларах. Куда девались его благородные передовые устремления? Куда девалась его жажда культуры? Или он забыл о своих обязательствах перед своей страной?

— Это правда, Лауден! — вскричал он и принялся бегать по комнате, ероша волосы. — Ты абсолютно прав. Я низок, я меркантилен. О, до чего я дошел! Лауден, так больше продолжаться не может. Ты снова показал себя моим верным другом. Дай мне твою руку, ты снова спас меня! Мне надо позаботиться и о духовной стороне. Я должен принять отчаянные меры — взяться за изучение какой-нибудь сухой и трудной науки… Но какой? Богословия? Алгебры? А что такое алгебра?

— Ну, она достаточно суха и трудна, — сказал я, — $a^2+2ab+b^2$.

— Но она стимулирует духовный рост? — спросил он.

Я ответил утвердительно и добавил, что она считается необходимой частью всякой истинной культуры.

— Вот это мне и нужно. Значит, я буду изучать алгебру, — заключил он наш разговор.

На следующий день, обратившись к одной из своих машинисток, он узнал о существовании молодой образованной девушки, некой мисс Мейми Макбрайд, которая готова была служить ему проводницей по безводным пустыням пресловутой науки. Поскольку она нуждалась в учениках и плата была умеренной. Пинкертон начал брать у нее уроки — два в неделю. Он очень скоро проникся удивительным энтузиазмом: казалось, он не мог оторваться от алгебраических символов, часовой урок превратился в целый вечер, а два урока в неделю — в четыре, а потом и в пять. Я посоветовал ему остерегаться женских чар.

— Ты не успеешь оглянуться, как влюбишься в свою алгебраичку, — сказал я.

— Не говори так даже в шутку! — вскричал он. — Я благоговею перед ней. Мне так же не придет в голову обнять ее, как не придет в голову обнять ангела. Лауден, на земле нет другой женщины с такими высокими и благородными помыслами.

Это пылкое заявление меня отнюдь не успокоило.

К тому времени я уже вел с моим другом новый спор.

— Я пятое колесо в телеге, — повторял я снова и снова. — Тебе от меня нет никакой пользы. На письма, которые ты мне поручаешь, мог бы отвечать и несмышленый младенец. Вот что, Пинкертон: либо ты найдешь мне какую-нибудь работу, либо я сам себе ее найду.

Говоря это, я, как всегда, надеялся вернуться к искусству и не подозревал, что готовит мне судьба.

— Я нашел тебе работу, Лауден, — в один прекрасный день сказал мне Пинкертон в ответ на мою тираду. — Мысль о ней пришла мне в конке. Оказалось, что карандаша у меня нет, я позаимствовал его у кондуктора и всю дорогу вычислял и прикидывал. Все уже обдумано. Для тебя это настоящая находка. Все твои таланты и дарования найдут себе применение. Вот предварительный набросок афиши. Прочти-ка его. «Солнце, озон и музыканты. Пинкертоновские Гебдомадерные[17] Пикники (очень хорошее это словечко «гебдомадерные», хоть его и нелегко выговорить; я на него наткнулся в словаре, когда смотрел, как пишется «гексогональный». «Да ты просто царь всех слов! — сказал я. — Не пройдет и месяца, как я тебя использую и к тому же пущу шрифтом не мельче тебя самого». И вот оно, как видишь). Пять долларов с головы, дамы бесплатно. Чудо из чудес! (Как тебе это нравится?) Бесплатное угощение под зеленой листвой. Танцы на мягкой мураве. Возвращение домой в сиянии заката. Почетный распорядитель — Лауден Додд, эсквайр, известный знаток искусства».

Удивительно, как человек выбирает Харибду вместо Сциллы! Я с таким рвением добивался уничтожения одного-единственного эпитета, что без малейшего протеста принял остальную часть объявления и все, что из него проистекало. И вот слова «известный знаток искусств» были вычеркнуты, но Лауден Додд стал почетным распорядителем «Пинкертоновских Гебдомадерных Пикников»; впрочем, это название вскоре было единодушно сокращено публикой в «Дромадер».

В восемь часов утра каждое воскресенье праздные зеваки могли любоваться мною на пристани. Мое официальное одеяние состояло из черного фрака с красной ленточкой в петлице, карманы которого были набиты сластями и дешевыми сигарами, небесно-голубых брюк, цилиндра, сверкавшего, как зеркало, и лакированного деревянного жезла. Позади меня пыхтел и стучал машиной довольно большой пароход, украшенный пестрыми флагами. Передо мной находилась билетная касса, которой ведал добродетельный шотландец с такой же красной ленточкой в петлице, как и у почетного распорядителя, неизменно выкуривавший одну сигару в знак того, что сегодня праздник. В половине девятого, убедившись, что бесплатное угощение погружено, я сам закуривал сигару и принимался ждать, когда заиграет оркестр. Ждать приходилось недолго — оркестранты все были немцы и поэтому весьма пунктуальны, — и едва стрелка часов проходила условную черту, как на улице раздавался грохот барабанов и появлялся оркестр, впереди которого бежал десяток бескорыстных болванов в медвежьих шапках и кожаных передниках, размахивая сверкающими топорами. Оркестру мы, разумеется, платили, но в Сан-Франциско настолько сильна страсть ко всяческим публичным процессиям, что пресловутые болваны, как я уже упомянул, работали бескорыстно, из любви к искусству, и нам только приходилось уделять им часть бесплатного угощения.

Оркестр выстраивался на носу парохода и начинал играть веселую польку; болваны становились на стражу у сходен и вокруг кассы, которую вскоре начинала осаждать праздная публика — семьи, состоявшие из отца, матери и полдюжины детей, влюбленные парочки и, наконец, одиночки. Всего набиралось от четырехсот до шестисот человек (большей частью немцев), веселившихся, как дети. Когда все они препровождались на пароход и двое-трое опоздавших успевали вскочить на палубу под одобрительные возгласы зевак, отдавались концы, и мы выходили в бухту.

И затем наступал час славы, час трудов почетного распорядителя. Я медленно проходил среди публики, рассыпая любезности и улыбки, не скупясь на конфеты и сигары. Я шутил с девочками-подростками, лукаво подмигивая, говорил застенчивым влюбленным, что это пароход только для женатых, игриво спрашивал рассеянных молодых людей, не мечтают ли они о своих возлюбленных, угощал отца семейства сигарой, поражался красотой его младшего отпрыска и спрашивал у любящей мамаши, сколько лет этому милому ребенку, который (восторженно уверял я ее) скоро перерастет свою мамочку, или спрашивал ее совета — потому

что ее лицо внушало мне большое доверие, — не знает ли она какого-нибудь особенно живописного местечка на берегу бухты, где мы могли бы устроить свой пикник (считалось, что мы этого заранее никогда не решаем). А через минуту я уже снова перебрасывался шутками с молодежью, возбуждая повсюду смех и слыша у себя за спиной похвалы вроде: «Ну до чего же мистер Додд остроумен!» Или: «Ах, как он любезен».

После часа таких развлечений я совершал второй обход палубы, держа в руках сумку с разноцветными флажками на булавках. На этих флажках было написано: «Старая добрая Германия», «Калифорния», «Истинная любовь», «Старики чудаки», «Прекрасная Франция», «Зеленый Эрин», «Страна сластей», «Голубая сойка», «Красногрудый реполов» — по двадцать флажков с одним названием, так как за бесплатное угощение мы сажали наших гостей группами по двадцать человек. Раздача флажков требовала предельной тактичности (и, по правде говоря, была самой трудной частью моих обязанностей), но производилась с притворной беззаботностью, среди смеха и веселых споров. Затем флажки немедленно прикреплялись к шляпам и шляпкам, и вскоре совершенно незнакомые люди радостно приветствовали друг друга, как своих будущих сотрапезников. И всюду на палубе раздавались крики: «Все Голубые сойки — к левому борту!», «Да что, на этом проклятом корабле нет больше других Калифорнийцев, кроме меня?»

В это время мы уже приближались к месту нашего пикника. Я поднимался на мостик, где на меня обращались взгляды всей публики.

— Капитан! — говорил я ясным, четким голосом, разносившимся по всему пароходу. — Большинство наших пассажиров высказалось за бухточку у мыса Одинокого дерева.

— Отлично, мистер Додд! — весело восклицал капитан. — Мне это все равно. Однако я плохо знаю бухточку, о которой вы говорите, поэтому оставайтесь на мостике и давайте мне указания.

Что я и проделываю с помощью моего жезла. Я даю ему указания, к величайшему удовольствию всей публики, потому что я (к чему отрицать) пользуюсь большой популярностью. Мы замедляем ход и приближаемся к зеленой долине, орошаемой прозрачным ручьем и поросшей соснами и дикой вишней. Команда бросает якорь, спускает лодки, две из которых уже нагружены напитками и яствами для импровизированного буфета, в третью садится оркестр, сопровождаемый великолепными болванами, и плывет к берегу под чарующий мотив «Девушки Буффало, выходите погулять вечерком». Согласно нашей программе, один из болванов во время этой высадки спотыкается и роняет в воду свой топор, после чего веселье публики уже не знает предела. Правда, однажды топор взял да и поплыл (они были сделаны из папье-маше), после чего публика тоже смеялась, но уже над нами.

Минут через пятнадцать лодки снова подходят к борту, сотрапезники разбиваются по группам, и публика переправляется на берег, где оркестр и буфет уже ждут их в полной готовности. Затем перевозятся корзины с бесплатным угощением; они складываются на берегу, и вокруг них становятся на стражу дюжие болваны, вскинув топоры на плечо. Туда же отправляюсь я, держа в руках записную книжку, и останавливаюсь под знаменем с надписью: «Бесплатное угощение выдается здесь». Каждая корзина содержит полный набор для двадцати человек: холодную закуску, тарелки, стаканы, ножи, вилки, ложки и страстный, вышедший изпод пера Пинкертона призыв беречь стеклянную посуду и серебро (последний приклеен к крышке). Буфет уже бойко торгует пивом, вином и лимонадом, и компании Голубых соек, Красногрудых реполовов, Вашингтонов и т. д., отправляются в рощу, неся корзину на палке, а бутылки — под мышкой. До часу дня они пируют под зеленой листвой, наслаждаясь звуками оркестра, С часу до четырех они танцуют на мягкой мураве, и буфет торгует вовсю, а почетный распорядитель, который уже совсем измучился, стараясь оживить самую унылую из компаний, должен теперь неутомимо танцевать с наиболее некрасивыми дамами. В четыре раздается звук трубы, и в половине пятого все уже опять на борту, включая оркестр, буфетную стойку, пустые бутылки и прочее; теперь почетный распорядитель может наконец отдохнуть в капитанской

каюте за стаканом коньяка с содовой и сигарой, хотя ему еще предстоит руководить высадкой на набережной, а затем в сопровождении двух полицейских везти в контору Пинкертона дневную выручку.

Я описал обыкновенный пикник, но, кроме того, мы, угождая вкусам Сан-Франциско, устраивали специальные праздники. Пикник «Маскарад древних времен», о котором было объявлено написанными от руки афишами, начинавшимися: «Внимание! Внимание! Внимание!» — и на который явилось множество рыцарей, монахов и маркизов, был захвачен врасплох проливным дождем, и наше возвращение в город стало одним из мучительнейших воспоминаний моей жизни. С другой стороны, «Сбор шотландских кланов» увенчался необыкновенным успехом, и мало когда взору зрителей открывалось разом столько молочно-белых коленей. Почти все участники носили пледы клана Стюартов и орлиные перья, так что общество было весьма благородным. Я во всеуслышание заявил о моих шотландских предках, и меня единодушно приняли в один из кланов. Только одно облачко омрачило этот чудесный день: мы захватили слишком большой запас национального напитка, именуемого шотландским виски, и с четырех до половины пятого я трудился в поте лица, перевозя на борт бесчувственные тела шотландских вождей.

Как-то на один из наших обычных пикников явился инкогнито сам Пинкертон под руку со своей алгебраичкой, и, надо сказать, он стал душой своей двадцатки. Мисс Мэйми оказалась довольно хорошенькой девушкой с огромными ясными глазами, прекрасными манерами и удивительно правильной речью. Поскольку нарушать инкогнито Пинкертона было строжайше запрещено, я не имел возможности познакомиться с мисс Мэйми поближе, однако на другой день мне было сообщено, что она сочла меня «остроумнейшим человеком из всех, с кем ей приходилось встречаться».

«Не очень же ты разбираешься в остроумии», — подумал я. Однако не скрою, что такого мнения придерживалась не только она. Одна из моих острот даже обошла весь Сан-Франциско, и я слышал, как ею, не подозревая о моем присутствии, щеголяли в кабачках. Бремя славы становилось с каждым днем тяжелее: стоило мне появиться на улице, особенно в не слишком фешенебельном квартале, как кругом уже слышалось: «Кто это?» — «Как — кто!.. Да это же Дромадер Додд!» Или с уничтожающей насмешкой: «Ты что, не знаешь мистера Додда, распорядителя пикников? Ну и ну!» Должен сказать, что наши пикники, хотя и несколько вульгарные, были все же веселы, безыскусственны и доставляли их участникам большую радость, так что, несмотря на все заботы, руководить ими часто оказывалось для меня истинным удовольствием.

По правде говоря, этому удовольствию мешали только два обстоятельства. Во-первых, необходимость шутить с девочками-подростками, которых я терпеть не мог, а во-вторых… Но это требует некоторых объяснений. В дни моего детства я, разумеется, научился (и, к сожалению, не разучился и по сей день) петь известный романс «Перед битвой». Надо сказать, что мой голос обладает следующей особенностью: когда я беру верхние или нижние ноты, их практически никто не слышит. Люди понимающие объясняли мне, что я пою горлом. Впрочем, даже обладай я вокальным талантом, «Перед битвой» — это не та песня, которую я стал бы петь: когда мы вырастаем, наши вкусы меняются. Однако, истощив во время одного из наиболее скучных пикников все свои другие светские таланты, я в отчаянии исполнил эту песню. То была роковая ошибка! Либо на пароходе завелся пассажир-старожил (хотя я никак не мог его выявить), либо сам пароход впитал эту традицию, но, во всяком случае, с тех пор, едва мы успевали отплыть от пристани, как среди публики распространялся слух, что мистер Додд — замечательный певец, что мистер Додд поет «Перед битвой» и, наконец, что мистер Додд сейчас споет «Перед битвой». Таким образом, это стало обязательным номером, так же как падение топора в воду. И воскресенье за воскресеньем я, пуская петуха за петухом, исполнял пресловутую песенку, после чего меня награждали щедрыми аплодисментами.

Великодушие человеческого сердца не знает границ — меня неизменно просили исполнить песенку на «бис».

Следует, однако, сказать, что мои труды, включая даже песню, оплачивались очень щедро. В среднем после каждого воскресенья мы с Пинкертоном делили между собой пятьсот долларов чистой прибыли. К тому же наши пикники, хотя и косвенным образом, помогли мне заработать весьма приличную сумму. Произошло это в конце лета, после «Прощального первоклассного маскарада». К этому времени многие корзины сильно пострадали, и мы решили продать их, с тем чтобы весной, когда пикники возобновятся, приобрести новый набор. Среди покупателей был ирландец, по фамилии Спиди, к которому, не получив обещанных денег, я, после того как несколько моих писем остались без ответа, отправился домой лично, внутренне удивляясь тому, что вдруг оказался в роли кредитора. Спиди встретил меня очень воинственно, хотя и был явно напуган. Заплатить он не мог, а корзинки уже успел перепродать и ехидно предложил мне обратиться в полицию. Мне не хотелось терять собственные деньги, не говоря уж о деньгах Пинкертона, и, кроме того, наглое поведение нашего должника меня возмутило.

— А вы знаете, мистер Спиди, что я могу отправить вас в тюрьму? — сказал я, желая припугнуть его.

Мои слова были услышаны в соседней комнате. Оттуда немедленно выбежала толстая румяная ирландка и принялась убеждать и уговаривать меня:

— Да неужто у вас хватит духу сделать это, мистер Додд? Всем же известно, какой вы добрый и хороший человек. И лицо-то у вас такое доброе, ну точь-в-точь как у моего покойного брата. Оно, конечно, правда, что он любил выпить лишнего, от него, бедняги, так и разило… Да и в доме-то у нас ничего нет, кроме мебели да ентих акций! Ну возьмите вы акции, мистер Додд. Уж так-то дорого они мне обошлись, а говорят, и гроша ломаного не стоят.

Не устояв перед ее мольбами, а кроме того, раскаиваясь в собственной суровости, я в конце концов согласился взять большую пачку так называемых «дутых» акций, на которые эта превосходная, хотя и несколько бестолковая женщина потратила свои заработанные тяжким трудом сбережения. Нельзя сказать, что эта сделка была для меня выгодна, но, во всяком случае, она успокоила ирландку, а с другой стороны, я не слишком рисковал, так как этим акциям (я назову их «Кетамаунтский серебряный рудник») все равно уже дальше падать было некуда.

Месяца два спустя я увидел в биржевой газете, что акции Кетамаунтского рудника стали подниматься и к вечеру «енти акции» стоили уже целое состояние. Наведя справки, я узнал, что в заброшенном руднике была обнаружена новая большая жила, которая обещает чудеса. Вот прекрасная тема для философских размышлений: сколько раз в заброшенных рудниках, акции которых стояли на нуле, обнаруживались новые жилы! Супруги Спиди, нимало того не подозревая, избрали правильную политику выжидания, и их акции не попали в руки синдикату, который нарочно «заморозил» рудник, чтобы по дешевке скупить все его акции. Если бы они продержались немного дольше и я не пришел требовать свои деньги, миссис Спиди уже щеголяла бы в шелковых платьях.

Разумеется, я не мог воспользоваться подобной случайностью и отправился к Спиди, чтобы вернуть им их акции. В доме у них стоял страшный шум. Туда явились все соседи (сами любившие играть на бирже), чтобы выразить свое сочувствие, и в центре этой группы сидела обливающаяся слезами миссис Спиди.

— Пятнадцать лет, — причитала она, когда я вошел, — копила я эти деньги и даже детям молока не покупала, бессердечная я тварь! И ездила бы я теперь в карете, будь в мире справедливость! И будь он проклят, этот Додд! Как только он переступил наш порог, так я и поняла, что это сам дьявол.

Тут она увидела меня, но даже драматизм этой минуты не идет ни в какое сравнение с тем, что за этим последовало, ибо, когда выяснилось, что я пришел вернуть потерянное

богатство, и когда миссис Спиди (предварительно облив мою грудь слезами) отказалась его принять, и когда мистер Спиди (вызванный для этой цели из соседнего кабачка) присоединился к этому отказу, и когда я стал настаивать на своем, а они настаивали на своем, а соседи громогласно поддерживали каждого из нас по очереди, и когда, наконец, мы договорились считать себя совладельцами акций и делить доходы на три части — одну мне, одну мистеру Спиди, одну его супруге, — представьте сами, какая буря восторгов бушевала в этой маленькой, скудно обставленной комнате, где в одном углу стояла швейная машина, в другом спали малыши, а грязные стены были украшены картинами, изображавшими президента Гарфилда и битву при Геттисберге. Кто-то из растроганных соседей принес бутылку портвейна, и мы распили его, мешая со своими слезами.

— Пью за ваше здоровье, милый вы человек! — рыдала миссис Спиди, особенно растроганная моей галантностью в вопросе о третьей доле. — И все мы пьем за его здоровье, за мистера Додда, распорядителя пикников, самого известного человека во всей округе, и я молю бога, милый вы человек, чтобы сохранял он вас в здравии и счастье до самой старости!

В конце концов оказалось, что наибольшую выгоду от этих акций получил я, потому что я продал свою треть, когда она стоила пять тысяч долларов, а Спиди, любившие риск, держались за свои акции, пока синдикат не начал снова «замораживать» рудник, и с трудом выручили лишь четверть этой суммы. Оно было и к лучшему, потому что почти все эти деньги были вложены в новые акции, и, когда я в следующий раз увидел миссис Спиди, на ней еще было великолепное платье, купленное во времена прежнего успеха, но она уже проливала слезы по поводу новой катастрофы:

— Опять мы остались без гроша, милый вы мой человек! Все деньги, какие у нас были, и швейная машинка, и сюртук Джима — все мы вложили в «Золотой Запад», а эти подлецы перестали платить дивиденды.

К концу этого года мое финансовое положение было таково.

Я получил:

за акции Кетамаунтского серебряного рудника… 5000 долларов
за пикники…………………………………………… 3000 долларов
за лекцию…………………………………………… 600 долларов
прибыли с капитала, вложенного в дело Пинкертона… 1350 долларов

Всего………………………………………………… 9950 долларов

К этому надо прибавить:

остаток от дара моего деда……………………… 8500 долларов

С другой стороны:

я истратил…………………………………………… 4000 долларов

Следовательно:

у меня оставалось……………………………… 14 450 долларов

Не стыжусь сказать, что я смотрел на эту цифру с радостью и гордостью. Восемь тысяч долларов из этой суммы были вполне осязаемы и лежали в банке, остальные же носились неведомо где (пути их можно было проследить только по нашим счетным книгам), подчиняясь магическим чарам колдуна Пинкертона. Мои доллары пробирались к берегам Мексики, где им грозили морские волны и береговая охрана; они звенели на стойках пивных в городе Томстоне, штат Аризона; они сияли на игорных столах в лагерях золотоискателей — даже воображение не могло уследить за их полетом, так быстро и так далеко разлетались они, подчиняясь волшебному жезлу колдуна. Но, где бы они ни были, они оставались моими, а кроме того, я получал весьма значительные дивиденды. «Мое состояние» называл я их. И надо сказать, что, выраженная в долларах или даже английских фунтах, это была значительная сумма. Ну, а во

французских франках она казалась настоящим богатством. Вероятно, я проговорился, и вы уже догадываетесь, о чем я мечтал, на что надеялся, и готовы уже обвинить меня в непоследовательности, но выслушайте сперва мои оправдания и рассказ об изменениях, которые произошли в судьбе Пинкертона.

Примерно через неделю после пикника, на который он явился с Мэйми, Пинкертон признался мне в своих чувствах к ней. Я видел, с каким выражением смотрели на него ясные глаза Мэйми во время пикника, и посоветовал робкому влюбленному открыть ей свое сердце. На следующий вечер он уже вел меня в гости к своей невесте.

— Ты должен стать ее другом, Лауден, как ты стал моим, — растроганно просил он.

— Наговорив ей кучу неприятностей?.. Вряд ли таким образом можно завоевать дружбу молодой девушки, — ответил я. — Благодаря пикникам у меня большой опыт в этом отношении.

— Да, ты просто великолепен во время этих пикников. Не могу выразить, как я тобой восхищаюсь! — вскричал он. — Но что неприятного можешь ты ей сказать? Она — само совершенство! Не понимаю, чем я мог заслужить ее любовь. И какая это ответственность для такого неотесанного малого, как я, да к тому же еще не всегда правдивого!

— Подбодрись, старина, подбодрись! — сказал я.

Однако, когда мы дошли до пансиона, где жила Мэйми, он был чрезвычайно взволнован.

— Это Лауден, Мэйми, — сказал он, чуть не плача, — полюби его, у него великая душа.

— Я хорошо вас знаю, мистер Додд, — сказала она любезно. — Джеймс неустанно восхваляет ваши добродетели.

— Дорогая моя, — ответил я, — когда вы поближе узнаете нашего друга, вы сделаете большую скидку на его доброту и горячее сердце. Мои добродетели сводились к тому, что я позволял ему кормить и одевать меня и трудиться ради меня не покладая рук, когда все это было для него нелегко. Если я сейчас жив, этим я обязан ему. Лучшего друга ни у кого не было. Вы должны хорошо о нем заботиться, — прибавил я, обнимая Пинкертона за плечи, — и быть ему верной помощницей, потому что он в этом нуждается.

Эта речь произвела на Пинкертона сильное впечатление, и боюсь, что на Мэйми тоже. Я готов признать, что мои слова не были особенно тактичными. «Когда вы поближе узнаете нашего друга» — выражение не вполне удачное, и даже «быть ему верной помощницей» могло показаться оскорбительным. Однако я уверен, вы согласитесь со мной, что всю мою тираду целиком нельзя назвать самодовольно-покровительственной. И все же, хотя именно таково было мнение мисс Мэйми, я не могу ее особенно винить, так же как и самого себя: Пинкертон наверняка так надоел ей своими рассказами обо мне, что бедняжка, вероятно, не могла уже спокойно слышать даже моего имени. Поэтому, что бы я ни говорил, она слушала бы меня с одинаковым раздражением.

Итак, у меня появилось два новых основания уехать в Париж. Во-первых, Джим собирался жениться и, следовательно, ему больше не грозило одиночество, а вовторых, я не понравился его невесте, и следовало избавить ее от моего общества. Как-то поздно вечером я заговорил с Пинкертоном о моем новом плане. Этот день был отмечен для меня великим событием: я положил в банк пять тысяч долларов, вырученных от продажи Кетамаунтских акций, и, поскольку Джим в свое время отказался от своего права на эти акции, весь риск и все доходы достались мне. Поэтому я счел себя вправе отпраздновать свой успех пивом с солеными галетами. Для начала я сказал Пинкертону, что если это причинит ему какие-нибудь затруднения в делах или будет ему неприятно, то я больше к этому вопросу не возвращусь. Он мой лучший, мой самый верный друг, и я готов для него на все. Но в то же самое время я прошу его точно взвесить, насколько я ему нужен, ибо такая жизнь не удовлетворяет меня и все мои помыслы, все мои истинные устремления влекут меня совсем к другому. Кроме того, я

должен напомнить ему, что он собирается вступить в брак, что у него появятся новые интересы и что наша горячая дружба может в какой-то степени стать неприятной его жене.

— Ах нет, Лауден, в этом ты ошибаешься! — горячо перебил меня Пинкертон. — Она высоко тебя ценит.

— Ну, тем лучше, — продолжал я.

И затем я указал ему, что наша разлука будет недолгой, что, судя по состоянию наших дел, года через два он может приехать ко мне в Париж, приобретя состояние, хотя и не слишком значительное по американским масштабам, но для Франции огромное; что мы можем соединить наши средства и купить дом в Париже для зимы и дачу в Фонтенбло для лета, и будем наслаждаться безоблачным счастьем и вдали от золотой лихорадки Запада воспитывать из маленьких Пинкертонов практичных, трудолюбивых людей с художественными вкусами.

— Так пусть же я уеду, — закончил я, — не как дезертир, а как авангард, возглавляющий марш пинкертоновского отряда.

Так я убеждал его и молил с большим чувством, а он сидел напротив меня, опираясь подбородком на руки, и (если не считать вышеприведенного возгласа) хранил глубокое молчание.

— Я ждал этого, Лауден, — сказал он наконец, когда я кончил, — и мне это больно: такой уж я эгоист. А кроме того, твой отъезд нанесет смертельный удар пикникам. Незачем отрицать, что ты был душой этого дела, и без тебя, без твоего жезла, твоей любезности, остроумия, шуток и галантности будет утрачено самое главное — царившая на них атмосфера дружеского веселья. Но ты прав, и тебе следует уехать. Можешь рассчитывать на сорок долларов в неделю, а если Дипью-Сити — это же один из естественных центров Калифорнии — разрастется так, как я рассчитываю, эту сумму можно будет по меньшей мере удвоить. Однако и сорок долларов не такие уж плохие деньги. Вспомни, что два года назад ты вынужден был чуть ли не просить милостыню.

— Я и просил ее, — сказал я.

— А эти бессердечные негодяи ничем тебе не помогли, и теперь я этому рад. Я в восторге, что ты возвращаешься победителем! Так и надо твоему мэтру и этому бесчувственному Майнеру! Дай только акциям Дипью-Сити подняться, и ты поедешь в Париж. А через два года, день в день, я приеду туда к тебе с Мэйми, господь да благословит ее!

Мы беседовали до поздней ночи. Я так наслаждался моей вновь обретенной свободой, а Пинкертон так гордился моим торжеством, так радовался моему счастью, с такой нежностью говорил об избранной им невесте, а вся комната до такой степени наполнилась воздушными замками и дачами в Фонтенбло, что сон, разумеется, бежал от наших глаз, и, только когда часы пробили три, Пинкертон начал превращать свой патентованный диван в кровать.

ГЛАВА VIII
ЛЮДИ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Принято смотреть на жизнь так, словно она совершенно точно, как, например, сон и явь, разделяется на развлечение и дело. Покончив с деловой стороной моей жизни в Сан-Франциско, в этой главе я буду говорить о развлечениях, и вы увидите, что они сыграли свою роль в истории того джентльмена, о котором я скоро собираюсь повести речь.

Как ни был я занят днем, почти все вечера оказывались в полном моем распоряжении — обстоятельство тем более приятное, что я жил теперь в незнакомом мне и чрезвычайно — живописном городе. Из «поклонника Парижа», как я некогда себя называл, я стал (или пал до того, что стал) любителем прогулок по набережным, созерцателем пристаней, завсегдатаем подозрительных кварталов, искателем знакомств с оригинальными людьми. Я посещал мексиканские и китайские игорные притоны, заседания немецких тайных обществ, матросские ночлежки и прочие опасные и таинственные места. Я видел, как смуглую ладонь пойманного

на передергивании мексиканца-шулера пригвождали ножом к столу, как моряков на улицах оглушали сильным ударом по голове, чтобы, пока они не пришли в себя, переправить их на борт корабля, где была нехватка рабочих рук; как поссорившиеся буяны обменивались выстрелами и клубы порохового дыма (вместе с остальной компанией) валили из дверей кабачка. Посещал я и Ноб-Хилл — тоже своеобразные трущобы, где живут только миллионеры. Они обитают на вершине холма, вздымающегося над городским шумом, и пассат проносится по пустынным улицам между их дворцами.

Но Сан-Франциско интересен не только сам по себе.

Это не просто самый своеобразный город в Штатах и самая огромная плавильная печь для переработки национальностей и драгоценных металлов. Это ворота в Тихий океан, порт, откуда ведут пути в иной мир, к более ранним эпохам истории человечества. В этой гавани всегда собирается множество кораблей, обогнувших мыс Горн, приплывших из Китая, из Сиднея, из Индии, но среди этих великанов морского простора прячутся иные суда: шхуны с низкой осадкой, изящным корпусом и такелажем, как у яхты, ведущие торговлю на полинезийских архипелагах, шхуны, на чьих палубах мелькают бронзовые ясноглазые полинезийские матросы, говорящие на мягком, звучном языке, и чьи большие шлюпки рассказывают повесть о реве прибоя на коралловых рифах. Эти шхуны приходят и уходят, никем не замеченные, и даже в газетах редко-редко мелькнет строчка в столбце хроники: «Такая-то шхуна отплыла на острова Южных Морей». Они увозят пестрый груз консервированной лососины, джина, тюков яркого ситца, дамских шляп и штампованных часов, для того чтобы через год вернуться нагруженными по самую рубку копрой, или черепаховыми щитами, или жемчужными раковинами. Но у меня в моей роли поклонника Парижа эта торговля среди незнакомого мира южных островов не вызывала даже любопытства. Я стоял там на самом дальнем берегу Запада в наши дни. А тысячу семьсот лет назад и в семи тысячах миль к востоку римский легионер, быть может, точно так же стоял на стене Антонинов и смотрел на запад, где высились горы, принадлежавшие пиктам. Какое бы расстояние и время ни разделяли нас, я, когда глядел на просторы Тихого океана, стоя под маяком, был наследником и подобием этого легионера: мы оба стояли на границе Римской империи (западной цивилизации, как мы выражаемся теперь) и смотрели в даль, свободную от римского влияния. Но я смотрел назад и мечтал только о Париже, и потребовалось много связанных друг с другом происшествий, чтобы мое равнодушие сменилось интересом и даже жгучим любопытством, которое, впрочем, я не предполагал удовлетворить.

Первое из этих происшествий познакомило меня с неким жителем Сан-Франциско, известным далеко за пределами этого города. Его имя дорого всем, кто любит хорошую прозу. Я как-то забрел в еще незнакомый мне район города, где на обрывистых песчаных холмах, в глубоких песчаных лощинах лепились одинокие старинные дома. Город наступал на него со всех сторон. Уже цепи уличных фонарей проходили через него, не обрываясь, и отовсюду доносился шум экипажей и прочие звуки городской жизни. Не сомневаюсь, что теперь от него не осталось и следа, но в те дни (особенно по утрам, когда я туда ходил) это был восхитительный мирный приют, чем-то напоминавший деревню.

На одном из песчаных холмов стояло несколько домиков, окруженных садами; я часто подымался туда по осыпающейся под ногами тропинке и, расположившись в тени крайнего из домов, принимался рисовать. В первый же день я заметил, что из окна нижнего этажа за мной наблюдает моложавый красивый мужчина, преждевременно облысевший, с очень живым и симпатичным лицом. На второй день мы как-то вполне естественно поклонились друг другу. На третий день он вышел ко мне, похвалил мой набросок и с непринужденным дружелюбием истинного любителя искусства пригласил меня к себе. И скоро я уже сидел в комнате, представлявшей собой настоящий музей редкостей, — кругом стояли, висели, лежали весла, боевые дубинки, корзины, грубо вытесанные каменные идолы, украшения из раковин, чаши из скорлупы кокосового ореха, белоснежные перья из копры и множество других свидетельств и

примеров культуры иного, неведомого мне мира и неведомого народа. А как увлекательны были объяснения моего нового знакомого! Несомненно, вы читали его книгу. Вы уже знаете, как он путешествовал и голодал, как он жил на островах Южных Морей, и вы поймете, что для меня после долгих месяцев конторской работы и пикников живая и интересная беседа с ним была полна особого очарования. За первой встречей последовали другие, и вот так мне довелось услышать названия этих островов и подпасть под их чары. Уже после второй встречи я испытывал невыразимое счастье, когда возвращался домой, сжимая под мышкой «Ому» Мелвилла и описание приключений моего нового друга.

Второе происшествие носило более драматический характер и оказало самое непосредственное влияние на мое будущее. Я прогуливался по набережной и любовался бухтой. Большой барк, примерно в 1800 тонн, огибал мыс, держась как-то особенно близко к берегу. Я смотрел на него с ленивым безразличием, как вдруг заметил, что двое каких-то людей перескочили через фальшборт, спрыгнули в подошедшую к кораблю лодку и, вырвав у лодочника весла, начали яростно грести по направлению к тому месту, где стоял я. Не прошло и нескольких минут, как они уже бежали вверх по лестнице, и я заметил, что оба они слишком хорошо одеты для простых матросов (одежда первого из них была просто щеголеватой) и что оба находятся во власти какого-то сильного чувства.

— Где здесь ближайший полицейский участок? — крикнул бежавший впереди.

— Вон там, — ответил я и побежал рядом с ними. — Что случилось? Что это за корабль?

— Это «Жнец», — ответил он. — Я первый помощник, а мой спутник — третий, и нам необходимо успеть в участок до матросов. Дело в том, что они могут обвинить нас в пособничестве капитану, а это мне совсем не по вкусу. Я на своем веку плавал со всякими людьми, но такого, как наш старик, еще не видывал. Как он начал палить, так и палил без передышки в течение всего плавания, а последнего человека подстрелил всего шестнадцать часов назад. Хоть команда у нас вся как — на подбор головорезы, но никто и пикнуть не смел, когда капитан принимался палить направо и налево.

— Ну, теперь ему конец, — заметил третий помощник. — Больше уж он в море не выйдет.

— Не говорите глупостей! — возразил первый. — Если ему удастся в целости добраться до берега и если его сразу не линчует возмущенная толпа, он еще сумеет выкарабкаться. У судовладельцев память получше, чем у публики, и они его не оставят: ведь такого опытного капитана поискать.

— Да уж что верно, то верно. На «Жнеце» жалованье матросам не платят вот уже третий рейс.

— Как не платят? — воскликнул я, потому что был еще новичком в вопросах мореходства.

— То есть матросам не платят, — объяснил первый помощник. — Они сбегают, не дожидаясь расчета. Да так заведено не только на «Жнеце».

Тут я заметил, что мы давно уже перешли с бега на шаг. И, надо сказать, я сильно подозреваю, что бешеная спешка вначале была чистым Спектаклем. Во всяком случае, когда мы пришли в полицейский участок и офицеры со «Жнеца» сообщили об ужасной судьбе пяти матросов, убитых во время плавания (одних капитан застрелил в припадке бешенства, а других — с жестоким хладнокровным расчетом), то было уже поздно принимать меры. Прежде чем полицейские успели добраться до корабля, негодяй улизнул на берег, смешался с толпой, а затем укрылся в доме своего друга. На корабле остались только его жертвы. Он правильно сделал, что поторопился. Когда жители приморского района узнали о случившемся, когда последний из раненых моряков был отвезен в больницу, когда те, кому удалось уцелеть а этой плавучей бойне, поведали повесть о своих злоключениях и показали свои рубцы, весь город был взбудоражен. Моряки плакали на глазах у всех. Хозяева ночлежек, давно привыкшие ко всяким зверствам, и особенно к зверствам по отношению к матросам, в негодовании потрясали кулаками, и, если бы капитан «Жнеца» появился в это время на улице, часы его были бы

сочтены. Но, по слухам, его в этот же вечер спрятали в бочке и переправили на другой берег бухты. И вот, после того как он совершил тягчайшие преступления на двух кораблях, теперь он командует третьим, плавающим по Атлантическому океану.

Как я уже сказал, я сильно подозреваю, что мистер Нейрс (старший помощник) сознательно помог своему капитану спастись. Он всегда был сторонником законности и осторожности и всегда стоял на страже офицерских привилегий. Однако утверждать это с полной уверенностью я не берусь. Хотя впоследствии я узнал его очень близко, он продолжал хранить об этом молчание, да и вообще ничего не рассказывал о плавании «Жнеца». Вероятно, у него были на то свои причины. Пока мы шли в полицейский участок, он несколько раз заявлял Джонсону, третьему помощнику, что не только донесет на капитана, но и отдаст себя в руки полиции. Однако в конце концов он изменил свое решение, сказав: «Все это наверняка кончится ничем, да и вообще у меня есть много хороших друзей в Сан-Франциско». И действительно, все кончилось ничем, хотя это стало ясно не сразу. А мистер Нейрс почти немедленно кудато скрылся из участка и затем был спрятан почти так же надежно, как и его капитан.

С Джонсоном же я продолжал часто встречаться. Мне так и не довелось узнать его национальность: сам он называл себя американцем, но говорил он по-английски, как иностранец, и в его манерах также не было ничего американского. Скорее всего он был шведом или датчанином, но долго служил на английских и американских кораблях. Весьма возможно, что, как и многие его соотечественники, постоянно плававшие на иностранных кораблях, он успел основательно забыть родной язык. Хотя он был человеком очень мягким и кротким, долгая привычка к жестокой морской дисциплине привела к тому, что от многих его веселых историй у меня кровь холодела в жилах. Он был высок, худощав, светловолос. Его смелое, честное лицо покрывал загар, говоривший о жизни на открытом воздухе. Когда он сидел, вы могли бы принять его за, аристократа или кавалерийского офицера, но стоило ему встать, и его покачивающаяся походка сразу выдавала в нем моряка, да и изъяснялся он на том особом жаргоне, на котором говорят люди, всю жизнь проплававшие по разным морям. Приходилось ему плавать и среди островов Южных Морей, так что теперь после плавания вокруг мыса Горн, где бушевали снежные бури, он заявил: «Отправляюсь погреться к канакам», Я решил, что скоро с ним расстанусь, однако, согласно неписаному морскому закону, он должен был прежде истратить все деньги, полученные за предыдущий рейс, «Эх, и кутну же я, небесам жарко станет!» — заявил он, несколько преувеличивая, ибо трудно представить себе более скромный и тихий кутеж: почти все время он проводил в малом зале кабака Черного Тома, где вместе с друзьями (исключительно старожилами Южных Морей) тихонько пил пиво, курил коротенькую трубочку и рассказывал длиннейшие истории.

Кабак Черного Тома был, по сути, захудалым притоном, где самые бедные матросы курили скверный табак, пили никуда не годный джин и бренчали на надтреснутых гитарах и банджо. Хозяин его был местным политическим воротилой и главой шайки хулиганов, которые называли себя «ягнятами». По слухам, мэр города и политические заправилы Сан-Франциско побаивались этой шайки и не брезговали пользоваться ее услугами. Помню, как-то перед выборами в кабак привели очень элегантно одетого слепца, который долго о чем-то совещался с хозяином. Эта пара выглядела настолько странно, а почтительность, с которой взирали на нее посетители кабака, поспешившие отойти как можно дальше, показалась мне столь загадочной, что я попросил объяснений у своего соседа. Он сообщил мне, что слепец — видный политический деятель города, которого некоторые называют «Королем Сан-Франциско», хотя большинство предпочитает кличку, которую ему дали в китайском квартале, — «Слепой Белый Дьявол».

— Наверное, ему очень понадобились «ягнята», — прибавил мой собеседник.

Я сделал набросок «Слепого Белого Дьявола», стоящего у буфетной стойки, а на следующей странице моего альбома спустя всего несколько часов появился рисунок,

изображавший, как Черный Том угрожает толпе своих клиентов огромным револьвером системы «Смит и Вессон». Вот с какими контрастами приходилось мне сталкиваться в большом зале этого кабака.

И все это время в малом зале заседал неофициальный клуб Южных Морей, где разговоры шли о жизни, совершенно непохожей на ту, которая нас окружала. Там собирались старые шкиперы, торговцы Южных Морей, коки, помощники капитанов. По большей части это были прекрасные люди, испытавшие благотворное влияние кроткого и жизнерадостного народа, среди которого им довелось жить. Кроме того, они знали много интересного, и не из книг, а по личному опыту, так что я готов был часами сидеть и слушать их увлекательные рассказы. В них всех была какая-то поэтическая струнка. Ведь всякий бродяга-моряк, если только он не отпетый негодяй, кажется младшим братом поэта. Даже бессвязные фразы Джонсона вроде: «Оно так, канаки люди ничего, неплохие» или: «Черт его знает, что за остров, — горы прямо до самой воды. Жить бы мне на нем да жить» — таили какую-то внутреннюю музыку, а многие из его приятелей были просто изумительными рассказчиками. Их длинные повествования, неожиданно меткие описания людей, пейзажей постепенно создавали в моем мозгу четкий образ южных островов и жизни на этих островах: отвесные берега, острые горные пики, густая тень лепящихся по склонам лесов, неумолчный рев прибоя на рифе и вечное мирное спокойствие лагуны; необычайно яркие солнце, луна и звезды, красивые к благородные люди, всегда готовые приветствовать чужестранца, всегда готовые предоставить ему свой кров и свою лодку, — жизнь, льющаяся словно музыка, и долгие вечера, оживляемые звуками мелодичных песен.

Для того чтобы понять тоску по этому миру, которая все чаще овладевала мной, надо потерпеть неудачу в артистической карьере, надо голодать на улицах Парижа, надо стать партнером дельца вроде Пинкертона. Пестрый, шумный Сан-Франциско, контора, где мой друг Джим метался ежедневно с десяти до четырех, как заключенный в клетку л, ев, а иногда даже и надежда на возвращение в Париж тускнели перед этой мечтой. Я знаю, что многие на моем месте бросили бы все и отправились туда, куда влекло их воображение, но я человек по натуре вялый и тяжелый на подъем, — чтобы заставить меня покинуть привычные пути, чтобы послать меня в плавание среди райских островов, нужен был какой-то внешний толчок. Только сама судьба могла подобрать для него подходящее орудие, и, хоть я не знал этого, оно уже было зажато в ее железной руке.

Как-то раз я сидел в углу сверкавшего позолотой обширного зала кафе, где один из местных талантов угощал меня завтраком и этюдами обнаженной натуры. Вдруг раздался топот ног, гул голосов, двери широко распахнулись, и в зал ввалилась довольно большая толпа людей. Вошедшие (по большей части моряки, и все очень возбужденные) окружали группу из нескольких человек, как дети окружают бродячих кукольников, следуя за ними из одного двора в другой. Кругом все зашептали, что это капитан Трент и его матросы, уцелевшие после крушения английского брига «Летящий по ветру», которых английский военный корабль подобрал на острове Мидуэй, — в Сан-Франциско они прибыли сегодня утром и пришли сюда подкрепиться после того, как сделали соответствующее заявление властям. Вскоре мне удалось их рассмотреть. Четыре загорелых моряка со стаканами в руках стояли у стойки, окруженные толпой любопытных, осыпавших их вопросами. Один из них был гавaец — кок, как мне сообщили, — у другого в руках была клетка с канарейкой (птичка то и дело заливалась звонкими трелями), у третьего левая рука была в лубке, и он казался очень бледным, словно недавно перенес тяжелую болезнь, а у капитана — краснолицего, синеглазого силача лет сорока пяти — была забинтована правая рука.

Меня весьма заинтересовало то, что капитан, кок и два матроса вместе гуляют по улицам и заходят в кафе. Поэтому я, как всегда в тех случаях, когда меня что-нибудь интересовало, достал альбом и стал набрасывать портреты четырех спасенных моряков. Толпившиеся вокруг

них зрители заметили, чем я занимаюсь, и немного посторонились, так что мне удалось очень внимательно рассмотреть лицо и фигуру капитана Трента, хотя он этого не подозревал.

Виски — развязало капитану язык, и, поощряемый удивленными восклицаниями слушателей, он принялся описывать постигшее их несчастье. До меня долетали только отдельные фразы о том, как он лег «на правый галс», и как «вдруг задуло с северо-северо-запада», и как «тут бриг и сел на мель». Иногда он обращался за подтверждением к кому-нибудь из матросов: «Так оно было, Джек?» — и тот отвечал: «Да, так оно и было, капитан Трент». В конце концов он вызвал особенно горячую симпатию слушателей, заявив: «Черт бы побрал карты, которыми снабжает нас адмиралтейство!» Слушатели закивали головами, раздались возгласы одобрения, и я понял, что все присутствующие считают капитана Трента первоклассным моряком и замечательным человеком. Тут я закончил рисовать эту четверку, а также канарейку (все они; особенно канарейка, получились очень похожими), закрыл альбом и, никем не замеченный, вышел из кафе.

Мне тогда и в голову не приходило, что я покинул первую сцену первого акта драмы моей жизни, однако все виденное мной, особенно лицо капитана, довольно долго сохранялось в моей памяти. Я не считаю себя провидцем, но, во всяком случае, я человек наблюдательный и всегда сумею подметить ужас на лице человека. Капитан Трент, командовавший английским бригом «Летящий по ветру», был очень красноречив, находчив, громогласен, но в его синих глазах, в выражении его лица я увидел мучительный страх. Боялся ли он, что его лишат права водить корабли? Нет, от этого его рука не дрожала бы так, когда он брал стакан с виски. Может быть, он еще не оправился после пережитой катастрофы и потери своего корабля? Один из моих друзей, оставшийся целым и невредимым после крушения поезда, в котором он ехал, тем не менее несколько месяцев спустя еще испуганно вздрагивал при малейшем шуме. И я пытался убедить себя, что Трент испытывает то же самое, хотя капитан «Летящего по ветру» отнюдь не казался слабонервным человеком.

ГЛАВА IX
СУДЬБА «ЛЕТЯЩЕГО ПО ВЕТРУ»

На следующее утро, когда я встал. Пинкертон уже сидел за столом, погрузившись в чтение «Дейли Оксидентел». Это была газета (я говорю «была», потому что не знаю, существует ли она теперь), совсем не похожая на остальные периодические издания Дальнего Запада, В ней не было ни кричащих заголовков, ни беспардонных преувеличений, ни сомнительного красноречия и плоских острот в духе Гарри Миллера — единственной целью ее издателя было сообщать точные, сухие факты. Если меня привлекала в ней именно эта сторона, то Пинкертон особенно ценил ее осведомленность в биржевых и коммерческих тайнах.

— Лауден, — сказал мой друг, отрываясь от газеты, — ты часто упрекаешь меня в том, что я хватаюсь сразу за десятки дел, а я считаю, что, увидев валяющийся на земле доллар, должен его подобрать. А сейчас я вижу целую кучу долларов, валяющуюся на коралловом рифе посреди Тихого океана.

— Да опомнись же, Джим! — воскликнул я. — Ведь у нас на руках Дипью-Сити, один из естественных центров этого штата! Ведь у нас на руках…

— Нет, ты послушай, — перебил меня Джим. — Статья написана скверно, без огонька, но факты, я полагаю, достаточно точны. — И он начал читать вслух:

«Судьба английского брига «Летящий по ветру».

Вчера в Сан-Франциско прибыл английский военный корабль «Буря». На его борту находились капитан Трент и четыре человека команды с английского корабля «Летящий по

ветру», которым двенадцатого февраля удалось после кораблекрушения близ острова Мидуэй выбраться на сушу, где их, по счастью, обнаружили на следующий же день. «Летящий по ветру», бриг в двести тонн, приписанный к Лондонскому порту, около двух лет плавал как трамп. Капитан Трент вышел из Гонконга восьмого декабря, направляясь в Сан-Франциско с полностью застрахованным грузом риса, а также шелка и китайского чая на общую сумму в десять тысяч долларов. Судя по корабельному журналу, стояла прекрасная погода, дул ровный ветер, изредка перемежавшийся штилями и шквалами. На двадцать восьмом градусе северной широты и сто семьдесят седьмом градусе западной долготы, поскольку запасы воды на бриге испортились, капитан Трент, руководствуясь неправильными сведениями в «Справочнике по северной части Тихого океана» Хойта о том, что на острове Мидуэй расположена угольная станция, направился к его берегам. Оказалось, что это просто песчаная мель, окруженная коралловым рифом, частично находящимся под водой. Птиц на острове было много, в лагуне ловилась хорошая рыба, однако там не было никакого топлива, а вода, которую они добыли, выкопав колодец, имела сильный солоноватый привкус. Капитан Трент нашел неплохую стоянку у северного конца большой мели, где глубина достигала шестидесяти саженей, а дно было песчаное, с отдельными пятнами кораллов. Там его на неделю задержал штиль, причем среди команды начались болезни, потому что вода совсем испортилась. И только вечером двенадцатого февраля с северо-востока налетел слабый порывистый ветер. Хотя было уже темно, капитан Трент немедленно поднял якорь и попытался выйти в море. Пока корабль пробирался в узком проходе между рифами, наступило внезапное затишье, а затем ветер вдруг переменился, задул с севера и даже с северо-северо-запада и выбросил бриг на песчаную отмель примерно в семнадцать часов сорок минут. Джон Уоллен, финн по рождению, и Чарлз Холдорсен, уроженец Швеции, утонули, когда спускали шлюпку, так как оба не умели плавать; спасти их не удалось, поскольку было темно и рев прибоя заглушал все звуки. В то же самое время Джону Брауну, еще одному матросу, перебило руку упавшим реем. Капитан Трент затем сообщил репортеру «Оксидентела», что бриг сильно ударился носовой частью, по его мнению, о коралловый риф, а затем перевалил через это препятствие и теперь лежит на песке, имея сильный крен на нос и на правый борт. Первый толчок, по-видимому, нанес ему некоторые повреждения, поскольку в носовой части образовалась течь. Рис, вероятно, весь погиб, но, к счастью, наиболее ценная часть груза находилась на корме. Капитан Трент уже снаряжал свой вельбот для плавания по морю, когда благодаря счастливому совпадению «Буря», которая по приказу адмиралтейства обходила острова, проверяя, нет ли там потерпевших кораблекрушение, избавила мужественного капитана от необходимости подвергаться дальнейшим опасностям. Едва ли нужно прибавлять, что и капитан и матросы несчастного судна с большой благодарностью говорят о любезном гостеприимстве, оказанном им на военном корабле. Спастись удалось следующим лицам: Джейкоб Трент, капитан из Гулля, Англия; Элиас Годдедааль, помощник, уроженец Христиансанда, Швеция; А. Синг, кок, уроженец Саны, Китай; Джон Браун, уроженец Глазго, Шотландия; Джон Харди, уроженец Лондона, Англия. «Летящий по ветру» был построен десять лет назад и сегодня утром будет по распоряжению агента Ллойда продан в том виде, в каком он сейчас находится, с аукциона в пользу судовладельцев. Аукцион состоится в помещении Торговой биржи в десять часов. Дополнительные сведения. Несколько позже репортеру «Оксидентела» удалось встретиться в Палас-отеле с лейтенантом Сибрайтом, старшим офицером «Бури». У мужественного моряка было мало времени, но все же он подтвердил сообщение капитана Трента во всех подробностях. Он добавил, что «Летящий по ветру» лежит на превосходном дне и, вероятно, уцелеет до следующей зимы, если только нанего не обрушится сильный ураган с северо-запада, но это представляется маловероятным».

— Ты никогда не научишься разбираться в литературе, — сказал я, когда Джим кончил читать статью. — Она написана добросовестно, точно, сжато и излагает все происшествие с

большой ясностью. Я нашел только одну ошибку: кок не китаец, а полинезиец и, судя по всему, с Гавайских островов.

— Откуда ты это знаешь? — спросил Джим.

— Я видел их всех вчера в кафе, — сказал я, — и даже слышал всю историю, точнее сказать, — отдельные ее отрывки, из уст капитана Трента, который, насколько я могу судить, очень хотел пить и очень нервничал.

— Впрочем, это к делу не относится, — перебил меня Пинкертон, — а вот что ты скажешь насчет долларов, которые валяются на рифе?

— А это окупится? — спросил я.

— Еще бы не окупиться! — воскликнул Пинкертон. — Разве ты не слышал, что сказал этот английский офицер о хорошем положении брига? Разве ты не слышал, что груз оценивается в десять тысяч долларов? Сейчас не сезон, и я могу зафрахтовать любую шхуну за двести пятьдесят долларов в месяц. Окупится ли это? Да мы получим триста процентов чистой прибыли!

— Ты забываешь о том, — возразил я, — что рис испортился. Это ведь сказал сам капитан.

— Да, конечно, — согласился Джим, — но рис вообще не ходкий товар, и берут его больше для балласта. Меня интересует чай и шелк. Надо только выяснить, сколько их было погружено. А для этого достаточно взглянуть на корабельные документы. Я позвонил в контору Ллойда и договорился, что капитан придет туда через час, и тогда я буду знать о бриге все так, словно сам его выстроил. Кроме того, ты и представления не имеешь, Лауден, что можно снять с разбитого корабля: медь, свинец, такелаж, якоря, якорные цепи, даже посуду!

— По-моему, ты упускаешь из виду один пустяк, — сказал я. — Прежде чем ты начнешь снимать посуду с разбитого корабля, тебе надо его еще купить. А во сколько он обойдется?

— В сто долларов, — не моргнув глазом ответил Джим.

— Да почему ты вообразил, что именно в сто долларов? — воскликнул я.

— Я не вообразил — я знаю, — ответил Коммерческий Гений. — Может быть, я ничего и не смыслю в литературе, мой милый, но ты никогда не научишься разбираться в делах. Каким образом, по-твоему, мне удалось купить «Джеймса Моди» за двести пятьдесят долларов, когда одни его шлюпки стоили тысячу? Просто мое имя стояло первым в списке. Ну, и на этот раз оно стоит первым. Цифру называю я, и я назову маленькую, потому что место крушения находится отсюда очень далеко. Но какую бы цифру я ни назвал, она и будет ценой.

— Что это за таинственный список? Или этот аукцион проводится в подземном тайнике? — спросил я. — Можно ли обыкновенному частному лицу — мне, например, — присутствовать на нем?

— Все ведется честно и открыто! — с негодованием воскликнул он. — Присутствовать может кто угодно, только никто не станет перебивать у нас покупку, а если и найдется такой смельчак, это для него плохо кончится. Один раз такой смельчак нашелся, но одного раза оказалось достаточно. Я член синдиката, и у нас есть все необходимое для этого дела: у нас есть связи, мы можем поднять цену до цифры, перед которой отступит любой посторонний. Наш синдикат располагает двумя миллионами долларов, и мы ни перед чем не остановимся. И если даже кто-нибудь перебьет у нас покупку, то поверь мне, Лауден, он решит, что город сошел с ума: ему не удастся заключить ни одной сделки. Все, что ему будет нужно, — шхуны, водолазы, матросы, — окажется ему решительно не по карману.

— Но как же ты попал в этот синдикат? — спросил я. — Ты ведь тоже в свое время был человеком посторонним.

— Я понял, в чем тут суть, Лауден, и стал подбирать факты, — ответил он, — и очень увлекся: таким романтичным показалось мне это дело. А затем я увидел, что из него можно извлечь немало выгод. И скоро я сделался настоящим знатоком. Никто не знал, что я

подумываю о покупке разбитых кораблей, только в одно прекрасное утро я явился в контору Дугласа Лонгхерста, сообщил ему все факты и цифры и спросил его прямо: «Берете меня в синдикат или мне основать свой собственный?» Он попросил на размышление полчаса, а когда я пришел снова, сказал: «Пинк, я записал тебя». Когда в первый раз мое имя оказалось в списке первым, я купил «Моди», а теперь оно снова стоит в нем первым.

Тут Пинкертон, взглянув на часы, вскрикнул, быстро сказал мне, чтобы я встретил его у дверей Торговой биржи, и побежал в контору страхового агента просматривать документы и разговаривать с капитаном. Я медленно докурил мою папиросу, решив про себя, что из всех видов погони за долларом покупка разбитых кораблей наиболее льстит моему воображению. И корда я шел на биржу по знакомым шумным улицам Сан-Франциско, меня преследовало видение корабля, лежащего на мели у далекого острова, где его палит беспощадное солнце и где над ним кружит туча морских птиц. И это видение неотразимо манило меня. Если даже не я сам, то, во всяком случае, человек, выполняющий мое поручение, отправится к этому клочку суши, затерянному среди необозримого океана, и спустится в покинутую каюту.

Пинкертон встретил меня на условленном месте. Его губы были крепко сжаты, и держался он необыкновенно прямо, как человек, принявший великое решение.

— Ну? — спросил я.

— Ну, — ответил он, — могло быть лучше и могло быть хуже. Этот капитан Трент — человек необыкновенной честности, один на тысячу. Как только он узнал, что я собираюсь принять участие в аукционе, он тут же сказал, что рис, вероятно, погиб почти весь. По его расчетам, в лучшем случае могло уцелеть кулей тридцать. Однако шелк, чай и ореховое масло оцениваются в пять тысяч долларов, и поскольку они были сложены в помещении на второй палубе, то, вероятно, нисколько не пострадали. Год назад на бриг поставили новую медную обшивку. На нем находится до полутораста саженей якорной цепи. Это, конечно, не золотая россыпь, но дело прибыльное, и мы за него возьмемся.

Было уже почти десять часов, и мы немедленно направились в зал, где проводились аукционы. Хотя «Летящий по ветру» чрезвычайно интересовал нас с Пинкертоном, его продажа привлекла очень мало народу. Рядом с аукционистом стояло не более двадцати зрителей, по большей части широкоплечих молодцов, истинных уроженцев Дальнего Запада, одетых, с точки зрения человека с простыми вкусами, излишне щеголевато и пестро. Держались они между собой с подчеркнутым дружелюбием. Громогласно заключались пари. Всюду слышались фамильярные прозвища. «Ребята», как они называли себя, ребячились вовсю и явно пришли сюда повеселиться, а не заниматься серьезным делом.

Несколько в стороне я заметил человека, совсем на них не похожего, а, именно — капитана Трента, который, как и подобает капитану, пришел услышать, какая судьба постигнет его бывшее судно. На этот раз он был одет в черный костюм, купленный в магазине готового платья и не очень хорошо на нем сидевший. Из верхнего левого кармана торчал кончик белого шелкового платка. Нижний правый топорщился от бумаг. Несколько минут назад Пинкертон назвал его человеком необыкновенной честности. И действительно, он, казалось, рассказывал о своем корабле откровенно и прямо. Я поглядел на него внимательнее, чтобы проверить, насколько эти качества отражались в его наружности. Лицо у него было красное, широкое, какое-то возбужденное и, пожалуй, неискреннее. Казалось, что этого человека томит неведомый страх. Не замечая, что я наблюдаю за ним, он грыз ногти, хмуро глядя в пол, а потом вдруг быстро и испуганно оглядывался на людей, проходивших мимо.

Когда начался аукцион, я все еще глядел на капитана как зачарованный. Были произнесены вступительные официальные фразы, прерываемые непочтительными шуточками развеселившихся «ребят», а потом установилась относительная тишина, и две-три минуты аукционист разливался соловьем: прекрасный бриг, новая медная обшивка, исправные механизмы, три великолепные шлюпки, ценный груз — поистине безопаснейшая сделка; но

нет, господа, больше он ничего не скажет, он просто назовет цифру, он не боится (заявил этот смелый аукционист) выразить возможную прибыль в цифрах; с его точки зрения, принимая во внимание то, се и это, покупатель может рассчитывать на чистую прибыль, равную сумме, из которую оценен груз. Другими словами, джентльмены, равную десяти тысячам долларов. При этом скромном утверждении потолок над головой аукциониста (я полагаю, благодаря вмешательству кого-нибудь из зрителей, знакомых с искусством чревовещания) испустил звонкое «кукареку», после чего все расхохотались, и сам аукционист не преминул любезно присоединиться к этому смеху.

— Итак, господа, что же мы предложим? — продолжал он свою речь, откровенно поглядывая на Пинкертона. — Что же мы предложим, чтобы обеспечить за собой эту выгодную покупку?

— Сто долларов, — сказал Пинкертон.

— Мистер Пинкертон предлагает сто долларов, — продолжал, аукционист, — сто долларов. Кто-нибудь хочет предложить больше? Сто долларов, только сто долларов…

Аукционист продолжал монотонно твердить эту цифру, а я со смешанным чувством симпатии и изумления смотрел на искаженное волнением лицо капитана Трента, как вдруг все мы вздрогнули, услышав резкий голос:

— И пятьдесят!..

Пинкертон, аукционист и «ребята», все посвященные в секрет существования синдиката, даже рты разинули от изумления.

— Прошу прощения, — сказал аукционист. — Кто-то прибавил?

— И пятьдесят! — повторил тот же голос, который, как я теперь заметил, исходил из уст невысокого и крайне неприятного на вид человека.

Его кожа была землистого цвета и вся какая-то пятнистая, говорил он напевно и очень гнусаво и так дергал руками и головой, что, Казалось, страдал болезнью, известной под названием пляски святого Витта. Одежда его была сильно потрепана, а держался он как-то развязно и одновременно робко, словно гордился тем, что находится здесь и принимает участие в аукционе, и в то же время боялся, что его сейчас отсюда вышвырнут. Право, мне редко приходилось встречать столь законченный тип — и в то же время тип совсем для меня новый. Ничего подобного я еще никогда не видел и невольно вспомнил проходимцев из бальзаковской «Человеческой комедии».

Пинкертон несколько секунд мерил неожиданного соперника злобным взглядом, затем вырвал листок из записной книжки, что-то быстро нацарапал на нем карандашом, повернулся, поманил к себе посыльного и шепнул: «Лонгхерсту!» Мальчишка со всех ног бросился исполнять поручение, а Пинкертон повернулся к аукционисту.

— Двести долларов, — сказал Джим.

— И пятьдесят, — сказал наш соперник.

— Дело становится жарким, — шепнул я Пинкертону.

— Да, тут что-то нечисто, — ответил он. — Ну, придется дать урок этому сморчку. Погоди, пока я поговорю с Лонгхерстом. Триста, — повысил он голос, поворачиваясь к аукционисту.

— И пятьдесят, — раздалось эхо.

Тут я снова поглядел на капитана Трента. Его красное лицо стало багровым. Все до единой пуговицы нового сюртука были расстегнуты, новый шелковый носовой платок то и дело взлетал к его лбу и шее, а синие глаза совсем остекленели от волнения. Он по-прежнему испытывал мучительную тревогу, но, если я правильно истолковал выражение его лица, в нем пробудилась какая-то надежда.

— Джим, — шепнул я, — взгляни на Трента: держу пари на что угодно: он этого ожидал.

Они доторговались уже примерно до тысячи, когда я заметил некоторое волнение среди присутствующих и, оглянувшись, увидел очень высокого, элегантного и красивого человека, который, небрежной походкой приблизившись к нам, сделал знак аукционисту.

— Одну минуту, мистер Борден, — сказал он и повернулся к Джиму: — Ну, Пинк, сколько вы предлагали в последний раз?

Пинкертон назвал свою цифру.

— Я дошел до этого на свою ответственность, — прибавил он, покраснев.

— Я решил, что так будет правильно.

— Конечно, конечно, — сказал Лонгхерст, ласково похлопав его по плечу, словно любящий дядюшка. — Мы сами беремся за дело. Можете выходить из игры. Повышайте сумму до пяти тысяч, а если он еще прибавит, то пусть себе покупает на здоровье.

— Между прочим, кто он такой? — спросил Пинкертон.

— Я послал Билли навести справки, — сказал Лонгхерст.

В ту же минуту ему была вручена сложенная записка. Она пошла по рукам, и, когда настал мой черед, я прочел: «Гарри Бэллерс, адвокат, защищал Клару Верден, два раза чуть не был исключен из сословия».

— Хоть убейте, ничего не понимаю! — сказал мистер Лонгхерст. — Кто мог прибегнуть к услугам крючкотвора такого сорта? Во всяком случае, не человек с деньгами. Попробуйте-ка сразу взвинтить цифру, Пинк. На вашем месте я поступил бы именно так. Ну, всего хорошего. А, ваш партнер мистер Додд? Рад познакомиться с вами, сэр! — И великий делец удалился.

— Ну, что ты думаешь о нашем Дугласе? — шепнул мне Пинкертон, благоговейно глядя ему вслед. — С ног до головы безупречнейший джентльмен, а уж культурой так и брызжет!

Во время этого разговора аукцион временно прекратился. И аукционист, и зрители, и даже Бэллерс — все отлично понимали, что дело, собственно, ведет мистер Лонгхерст, а Пинкертон всего только его рупор. Но теперь, когда самодержавный олимпиец удалился, мистер Борден заговорил строгим тоном.

— Так как же, мистер Пинкертон, вы прибавляете? — спросил он резко.

И Пинкертон, решив идти напролом, ответил:

— Две тысячи долларов.

Бэллерс и глазом не моргнул.

— И пятьдесят, — сказал он.

Кругом все зашептались, и, что было гораздо важнее, капитан Трент побледнел и судорожно глотнул слюну.

— Давай, давай, Джим, — шепнул я. — Трент сдает.

— Три тысячи, — сказал Джим.

— И пятьдесят, — сказал Бэллерс.

Затем Джим стал снова набавлять по сотне, а Бэллерс — свои неизменные пятьдесят; я же успел сделать два вывода. Во-первых, Бэллерс надбавил сверх трех тысяч с тщеславной улыбкой. Он явно наслаждался важностью своей роли и был уверен, что выйдет из схватки победителем. Во-вторых, когда Джим назвал три тысячи, Трент снова побледнел, а когда он услышал ответ Бэллерса, на его лице отразилось непритворное облегчение. Это показалось мне загадочным: оба они, безусловно, были связаны какими-то общими интересами и в то же время один не был посвящен в намерения другого. Но это было еще не все: несколько минут спустя мой взгляд случайно встретился со взглядом капитана, и тот поспешно отвел глаза, словно не желая, чтобы я заметил, как он взволнован. Следовательно, он желал скрыть свой интерес к происходящему? Как сказал Джим, тут что-то было нечисто. И, несомненно, оба эти

человека, находившиеся в таких странных и сложных взаимоотношениях, готовы были предложить совершенно невероятную цену, лишь бы «Летящий по ветру» не достался нам.

Неужели груз этого корабля стоит больше, чем мы предполагали? Меня вдруг бросило в жар. Джим уже приближался к пяти тысячам, до которых ему разрешил торговаться Лонгхерст. Еще минута, и будет поздно. Вдохновленный тщеславной уверенностью в своем умении постигать людскую психологию, я принял единственное сумасшедшее решение в моей жизни. Вырвав лист из своего альбома, я поспешно нацарапал: «Если хочешь продолжать, я готов идти на весь свой капитал».

Джим прочел, растерянно посмотрел на меня, но тут же его глаза загорелись, и, снова повернувшись к аукционисту, он крикнул:

— Пять тысяч сто долларов!

— И пятьдесят, — повторил свой припев Бэллерс.

Вскоре Пинкертон написал: «В чем дело?» А я написал в ответ: «Сам не знаю, но дело нечисто. Погляди-ка на Бэллерса: он дойдет до десяти тысяч, вот увидишь».

И Бэллерс дошел до десяти тысяч, а мы предложили больше. Уже давно по бирже распространился слух, что аукцион превратился в настоящее генеральное сражение, и нас теперь окружала большая толпа потрясенных зрителей. А когда Пинкертон предложил десять тысяч долларов, то есть больше, чем стоил бы груз, даже если бы уже находился в Сан-Франциско, а Бэллерс, ухмыляясь до ушей, потому что ему нравилось быть центром всеобщего внимания, провозгласил: «И пятьдесят…» — всеобщее возбуждение достигло апогея.

— Десять тысяч сто, — сказал Джим, и не успел он договорить, как вдруг махнул рукой, выражение его лица изменилось, и я понял, что он разгадал (или по крайней мере решил, что разгадал) тайну корабля.

Когда он стал быстро царапать что-то в своем блокноте, рука его прыгала, как рука телеграфиста.

«Контрабандный груз, — написал он и дальше размашисто, захватив две строки: — Опиум».

Ну, конечно, подумал я, все дело в этом. Мне было хорошо известно, что почти любой корабль, идущий из Китая, везет в каком-нибудь потайном месте контрабандный груз этого дорогого яда. Несомненно, и на «Летящем по ветру» где-нибудь скрыто, подобное же сокровище. Сколько же оно стоит? Мы этого не знали и вели свою игру наугад, однако Бэллерс и Трент явно были хорошо осведомлены, и мы могли наблюдать за ними и принимать соответствующие решения.

К этому времени мы с Пинкертоном словно обезумели. Пинкертон был вне себя, глаза его горели, как угли. Меня била лихорадка. Если бы в ту минуту, когда мы торговались на пятнадцатой тысяче, в зал вошел какойнибудь свежий человек, его симпатии, вероятнее всего, оказались бы на стороне Бэллерса. Последняя цифра уже превышала пятнадцать тысяч, и толпа кругом следила за нами в мертвом молчании, изредка прерываемом взрывами взволнованного шепота.

Мы достигли уже семнадцати тысяч, когда Дуглас Лонгхерст растолкал зрителей на противоположном конце зала и, глядя Джиму прямо в глаза, энергично помотал головой. Джим послал ему коротенькую записочку, состоящую из трех слов: «За мой счет!» — после чего Лонгхерст предостерегающе погрозил ему пальцем и удалился, как мне показалось, с очень грустным лицом.

Хотя мистеру Лонгхерсту Бэллерс известен не был, этот темный крючкотвор прекрасно знал, кто такой глава синдиката. Когда тот вошел в круг, Бэллерс бросил на него взгляд, исполненный надежды, а когда Лонгхерст ушел, на лице нашего противника изобразилось

явное удивление и разочарование. «Да как же это? — очевидно, думал он. — Значит, я имею дело не с синдикатом?» И он решил резко повысить цифру.

— Восемнадцать тысяч, — сказал он.

— И пятьдесят, — ответил Джим, используя его прием.

— Двадцать тысяч, — объявил Бэллерс.

— И пятьдесят, — отозвался Джим с нервным смешком.

Затем, словно сговорившись, они опять вернулись к прежним цифрам, но только сотни называл Бэллерс, а «пятьдесят» выкрикивал Джим. Теперь уже многие пришли к тому же выводу, что и мы: я слышал, как повсюду в зале раздавался шепот: «Опиум…» — и, судя по взглядам, которые на нас кидали окружающие, они были убеждены, что мы получили эти сведения из надежного источника. И тут, что было крайне типично для Сан-Франциско, мой сосед, пожилой толстяк с приятным лицом, неожиданно принял участие в аукционе. Он резко поднял цену «Летящего по ветру», четырежды предложив по тысяче, а затем так же неожиданно вышел из игры и превратился в безмолвного зрителя.

После бесполезного вмешательства мистера Лонгхерста Бэллерс, казалось, встревожился и при появлении третьего конкурента, в свою очередь, нацарапал какую-то записочку. Я, конечно, решил, что она предназначается капитану Тренту. Однако, когда юрист кончил писать и обвел взглядом толпу, он, к моему величайшему удивлению, словно бы и не заметил присутствия капитана.

— Позовите ко мне посыльного, — услышал я его слова.

Наконец кто-то исполнил его просьбу, но это был не капитан. «Он посылает за инструкциями», — написал я Пинкертону. «За деньгами, — написал он. — По-моему, пора сделать рывок, ладно?»

Я кивнул.

— Тридцать тысяч, — сказал Пинкертон, повышая цену сразу почти на три тысячи долларов.

Бэллерс как будто бы заколебался, а затем с неожиданной решимостью сказал:

— Тридцать пять тысяч!

— Сорок тысяч!

Наступила долгая пауза. Бэллерс, казалось, ни на что не мог решиться и только в последнее мгновение, когда молоток аукциониста опускался в третий раз, крикнул:

— Сорок тысяч и пять долларов!

Мы с Пинкертоном обменялись понимающим взглядом: Бэллерс слишком взвинтил цену, а теперь понял свою ошибку и пытался выиграть время, чтобы заткнуть аукцион до возвращения посыльного.

— Сорок пять тысяч долларов, — сказал Пинкертон глухим, дрожащим голосом.

— Сорок пять тысяч и пять долларов, — сказал Бэллерс.

— Пятьдесят тысяч, — сказал Пинкертон.

— Прошу прощения, мистер Пинкертон, — сказал аукционист, — вы что-нибудь сказали?

— Мне… мне трудно говорить, — прохрипел Джим. — Пятьдесят тысяч, мистер Борден.

Бэллерс обратился к аукционисту:

— Прошу разрешить мне три минуты поговорить по телефону. Я здесь представляю клиента и только что послал ему записку.

— Меня это не касается, — грубо прервал его аукционист, — я обязан продать этот корабль, и все. Вы чтонибудь прибавляете к пятидесяти тысячам?

— Я уже имел честь объяснить вам, сэр, — возразил Бэллерс, тщетно пытаясь придать своему голосу достоинство, — что мой доверитель назвал мне предельную цифру в пятьдесят тысяч долларов, но, если вы разрешите мне потратить две минуты да телефонный разговор…

— Ерунда! — перебил его аукционист. — Если вы не повышаете цену, я продаю корабль мистеру Пинкертону.

— Берегитесь! — взвизгнул юрист. — Это вам так не пройдет! Вы обязаны действовать в интересах судовладельцев, а не мистера Дугласа Лонгхерста! Однако вы прервали аукцион, чтобы позволить этому господину посоветоваться со своими приспешниками. Это вам даром не пройдет!

— Но вы же тогда ничего не сказали, — ответил аукционист, несколько смутившись. — Свой протест вы должны были заявить тогда же.

— Я здесь не для того, чтобы следить, как ведется аукцион, — ответил Бэллерс, — мне за это не платят.

— Ну, а мне платят именно за это, — возразил аукционист с прежней наглостью и продолжал нараспев: — Пятьдесят тысяч долларов! Кто больше? Кто больше? Кто больше, господа? Потерпевший кораблекрушение бриг «Летящий по ветру» продается за пятьдесят тысяч… Продается… продается… продан!

— Господи, Джим! А у нас есть эти деньги? — воскликнул я, словно разбуженный от сна последним ударом молотка.

— Разницу придется занять, — шепнул он, побелев как полотно. — Мы попали в чертовски трудное положение, Лауден. Кредита у нас, наверное, хватит, но мне придется много побегать. Выпиши мне чек на свои деньги, и через час я буду ждать тебя в редакции «Оксидентела».

Я написал чек, но рука у меня так дрожала, что я сам не узнал бы своей подписи. Через мгновение Джим уже исчез. Трент ушел еще раньше… И только. Бэллерс продолжал переругиваться с аукционистом, но, когда я пошел к выходу, я чуть не столкнулся — с кем бы вы думали? — с посыльным.

Всего несколько минут решили, кому суждено было стать владельцем «Летящего по ветру».

ГЛАВА X,
В КОТОРОЙ КОМАНДА ИСЧЕЗАЕТ НЕВЕДОМО КУДА

У дверей биржи я догнал низенького толстяка, который принял столь краткое и столь энергичное участие в аукционе.

— Поздравляю вас, мистер Додд, — сказал он. — Вы и ваш друг стойко держались до конца.

— Ну, вас надо благодарить не за что, — ответил я. — Вы ведь взвинчивали цену разом на тысячу, соблазняя всех биржевых спекулянтов Сан-Франциско последовать вашему примеру.

— О, это было временное умопомешательство, — сказал он. — Я от всего сердца благодарю бога, что не повесил себе на шею подобный жернов. Вам в эту сторону, мистер Додд? Ну, я пойду с вами! Такому старому хрычу, как я, всегда приятно любоваться молодыми, полными сил бойцами. Когда я был помоложе, а Сан-Франциско поменьше, я пускался в самые рискованные предприятия. Да, я знаю вас, мистер Додд. Вернее сказать, я узнал бы вас в любом месте — вас и вашу свиту в рыцарских одеяниях. Извините мне мою шутку, но я имею несчастье быть владельцем загородного дома вблизи той бухточки, которую вы облюбовали для своих пикников, и буду рад видеть вас у себя в любое воскресенье, но только без рыцарственной свиты, конечно. Я могу угостить вас неплохим вином и показать вам лучшую библиотеку по исследованиям Арктики, какая только есть в Соединенных Штатах. Меня зовут Морган.

Судья Морган, переселившийся в Калифорнию в 1849 году, к вашим услугам.

— А, так вы пионер! — воскликнул я. — Приходите ко мне, и я подарю вам топор!

— Боюсь, что все ваши топоры понадобятся вам самому, — ответил он, бросив на меня проницательный взгляд. — Если только у вас нет каких-нибудь частных сведений, вам придется разнести корабль в щепки, чтобы отыскать этот опиум, не правда ли?

— Ну, либо это опиум, либо мы с моим другом лишились рассудка, — ответил я. — Однако могу вас заверить, что никаких частных сведений у нас нет. Мы действовали (как, я полагаю, и вы сами), основываясь на наблюдениях.

— А, так вы человек наблюдательный, сэр? — осведомился судья.

— Могу сказать, что наблюдательность — мое ремесло или, вернее, мое бывшее ремесло.

— Ну, так что же вы думаете о Бэллерсе? — спросил он.

— Да ничего хорошего, — сказал я.

— Для меня, — продолжал судья, — совершенно необъяснимо, каким образом ему могли дать подобное поручение. Я знавал его, да и он меня знает. Я не раз делал ему замечания в суде, и, уверяю вас, это человек, совершенно лишенный совести. Ему нельзя доверить даже доллар. А тут, как мы слышали, он распоряжался пятьюдесятью тысячами. Не могу себе представить, кто мог прибегнуть к его услугам. Во всяком случае, этот человек чужой в Сан-Франциско.

— Наверное, кто-нибудь из владельцев брига, — заметил я.

— Только не это! — воскликнул судья. — Судовладельцы, проживающие в Лондоне, не могут иметь никакого отношения к опиуму, привозимому контрабандой из Гонконга в Сан-Франциско. Я полагаю, они узнали бы об этом только в том случае, если бы опиум был обнаружен таможенной охраной, а корабль конфискован. Нет, я грешил на капитана. Откуда, однако, у него могли взяться нужные деньги, да еще после того, как он потратил немалую сумму на закупку наркотика? Правда, он мог быть доверенным лицом какого-нибудь дельца в Сан-Франциско. Но в этом случае Бэллерс не был бы приглашен. Как видите, это порочный круг.

— Мне кажется, я могу с уверенностью сказать, что это не капитан, — возразил я. — Он и Бэллерс незнакомы.

— Если не ошибаюсь, капитан, это тот краснолицый субъект, который все время вытирал лоб платком. Насколько я мог заметить, он следил за Бэллерсом со жгучим интересом, — настаивал мистер Морган.

— Вы совершенно правы, — сказал я. — Трент был очень заинтересован в аукционе. Весьма вероятно, что он знал Бэллерса в лицо и, уж во всяком случае, знал, какую игру тот ведет. Однако голову даю на отсечение, что Бэллерс Трента никогда не видел.

— Еще одна странность, — согласился судья. — Ну, это было весьма приятное утро. Однако послушайте совета старого законника и отправляйтесь на остров Мидуэй как можно скорее. Ставка велика, а Бэллерс и его компания вряд ли перед чем-нибудь остановятся.

С этим прощальным советом мистер Морган пожал мне руку и пошел своей дорогой, а я направился в вестибюль «Западного отеля», на ступенях которого мы закончили наш разговор. Служащие отеля хорошо меня знали, и, когда я объяснил, что должен дождаться Пинкертона, после чего мы здесь позавтракаем, меня пригласили присесть в конторе. Там, в уединенном уголке, я было начал приходить в себя после всех этих волнений, но вдруг в комнату влетел и, перекинувшись несколькими словами с клерком, кинулся к телефону не кто иной, как сам мистер Бэллерс. Можете осуждать меня, но я не устоял перед искушением и, потихоньку приблизившись к нему, сел за самой его спиной. Может быть, некоторым извинением послужит тот факт, что я вообще любил подслушивать разговоры по телефону людей совершенно мне

незнакомых — просто для удовольствия. Трудно представить что-нибудь более смешное и нелепое, чем подобного рода односторонняя беседа.

— Центральная, — сказал Бэллерс, — двадцать два сорок один и пятьсот восемьдесят четыре-бе (или какойто другой похожий номер). Кто говорит?.. Хорошо… Мистер Бэллерс. Тот телефон был испорчен… Да, около трех минут… да… да… К сожалению, за сумму, вами названную… Нет… у меня не было полномочий… Не более и не менее… Полагаю, что так… О. Пинкертон, контора в квартале Монтана… Да… да… Хорошо, сэр. Как вам угодно, сэр…

Бэллерс повернулся, собираясь уходить, но вдруг заметил меня, отшатнулся и поднял руки, словно опасаясь пощечины.

— Как! Это вы? — вскричал он, а потом, несколько оправившись, добавил: — Компаньон мистера Пинкертона, если не ошибаюсь? Рад вас видеть, сэр, и поздравить с вашим недавним успехом. — И, угодливо поклонившись мне, он ушел.

Тут мне в голову пришла сумасшедшая мысль. Я не сомневался, что Бэллерс разговаривал со своим клиентом; я знал номер его телефона, хотя и не знал имени, и я решил, что, если позвонить по этому номеру немедленно, к телефону скорее всего подойдет он сам. Так почему бы мне, хотя бы заочно, не познакомиться с этим таинственным человеком и не получить за свои деньги хоть какое-нибудь удовольствие? Я снял трубку.

— Центральная, — сказал я. — Дайте двадцать два сорок один пятьсот восемьдесят четыре-бе.

Телефонистка повторила номер, затем наступило молчание, а затем у меня в ухе прозвучал негромкий голос, несомненно, принадлежащий англичанину и человеку образованному:

— Это опять вы, мистер Бэллерс? Повторяю вам: бесполезно. Это вы, мистер Бэллерс?.. Кто это?

— Я просто хочу задать один вопрос, — сказал я вежливо. — Зачем вам понадобилось покупать «Летящий по ветру»?

Ответа не последовало. В трубке раздавалось легкое жужжание — это говорили все другие абоненты города Сан-Франциско, — но номер 2241 молчал. Я еще два раза повторил свой вопрос. Но голос таинственного англичанина так больше и не раздался. Так, значит, он испугался моего бесцеремонного вопроса? Мне это показалось подозрительным: легко пугаются только те, у кого совесть нечиста. Я взял телефонную книгу и отыскал этот номер: «2241, миссис Кин, ул. Миссии, дом 942». Этим, если только я не собирался ехать туда, чтобы лично повторить заданный по телефону вопрос, мне приходилось удовольствоваться.

Однако, когда я снова сел на стул в дальнем углу конторы, я почувствовал, что наше предприятие таит в себе элемент какой-то неопределенности, таинственности, даже опасности. Теперь перед моим умственным взором, помимо картины выброшенного на мель брига, над которым кружат чайки, и капитана Трента, вытирающего побагровевший лоб носовым платком, возник еще образ человека, прижимающего к уху телефонную трубку и внезапно бледнеющего как полотно, когда в этой трубке раздается простой и, казалось бы, невинный вопрос.

От этих размышлений меня отвлек бой часов. С тех пор как Пинкертон ушел за деньгами, прошел час и двадцать минут. Он опаздывал уже на двадцать минут — я хорошо знал, как быстро он умеет совершать сделки, — я не раз восхищался его железной пунктуальностью, и теперь его опоздание говорило мне очень много. Двадцать минут медленно превратились в час. Час сменился вторым, а я все еще сидел в своем уголке или выходил в вестибюль и принимался мерить шагами его мраморный пол, испытывая жгучую тревогу и раскаяние. Время обеда почти прошло, когда я вдруг вспомнил, что еще ничего не ел. Есть мне не хотелось, но впереди предстояло много дел, и я должен был сохранять свои силы хотя бы для того, чтобы с большим мужеством перенести дурные известия, которые меня, вероятно, ожидали. И вот,

попросив портье передать Пинкертону, что он найдет меня в ресторане, я сел за столик и заказал суп, устриц и бутылку шампанского.

Вскоре появился мой друг. Он был очень бледен и выглядел постаревшим. Он заказал себе чаю, заметив, что самая мысль о еде ему противна.

— Наверное, ничего не вышло? — сказал я, и сердце у меня мучительно сжалось.

— Нет, — ответил он, — я свел концы с концами, Лауден. Но только свел. Больше мне во всем Сан-Франциско не удалось бы занять ни цента. Все настроены против нас. Лонгхерст даже обругал меня и сказал, что он не карточный игрок.

— Ну так что ж? — спросил я. — Ведь нам только это и было нужно.

— Лауден, говорю же тебе, что мне пришлось кровью платить за эти деньги! — мрачно сказал Пинкертон. — И срок девяносто дней. Мне не удалось выпросить ни одного лишнего дня, ни одного! Если мы будем продолжать это дело, Лауден, ехать придется тебе — и работать так, чтобы пух и перья летели. А я останусь здесь. Я должен остаться, чтобы распутывать дела в Сан-Франциско. А если бы ты знал, как мне хочется поехать самому! Я бы показал этим лентяям матросам, что такое работа. Я бы обшарил этот корабль из конца в конец, прежде чем они успели бы влезть на палубу! Но ведь ты приложишь все усилия, Лауден! Я полагаюсь на тебя. Как, только вы отплывете, ты должен сделать своим девизом слово «скорей». Этот корабль с сокровищем на борту должен быть здесь до истечения трех месяцев, или мы банкроты. Банкроты!

— Я сделаю все, что смогу, Джим. Я буду работать круглые сутки, — сказал я. — Тебя в это дело втянул я, и либо я тебя выручу, либо покончу с собой. Но почему ты говоришь «если мы будем продолжать это дело»? Или у нас есть какой-то выбор?

— Сейчас объясню, — сказал Джим. — Но не думай, что я раскаиваюсь в нашей сделке. Пожалуйста, ни в чем себя не вини. Ты проявил замечательный и здравый деловой инстинкт. Я ведь всегда говорил, что он у тебя есть, и вот он прорвался наружу. Совершенно очевидно, что этот мерзкий сутяга хорошо осведомлен о положении вещей, а он так и рвался еще повысить цену. Нет, мы, несомненно, можем рассчитывать на прибыль. Беда в другом — я надавал векселей на девяносто дней и истощил весь наш кредит: я ведь обегал весь город, занимая, выпрашивая и подмазывая, чтобы занять. Ейбогу! — вскричал он с неожиданным взрывом самодовольства. — Кроме меня, во всем Фриско никто не сумел бы занять эти последние десять тысяч! И еще одно: я надеялся, что ты сможешь продать опиум там же, на островах, — это гораздо безопаснее и выгоднее, — но трехмесячный срок связывает нас по рукам и ногам; тебе придется немедленно плыть в Гонолулу и добираться сюда на пароходе. Правда, я постараюсь что-нибудь подготовить для тебя там. Я свяжусь с человеком, который занимается подобными делами. Выглядывай его, как только доберешься до островов: весьма возможно, что он встретит тебя еще в море, в вельботе или на катере, и привезет тебе деньги прямо на шхуну.

Из этого видно, насколько загрубела моя совесть за время моего пребывания в Сан-Франциско: хотя на карту были поставлены все наши деньги, я все же не должен был давать согласия, которое делало меня контрабандистом, и, что еще хуже, контрабандистом, ввозящим опиум. Однако я дал свое согласие, даже ни разу не возразив, даже глазом не моргнув.

— А вдруг, — сказал я, — а вдруг этот опиум так хорошо спрятан, что я не смогу его найти?

— Тогда ты останешься там, пока весь бриг не превратится в щепки, а потом расколешь каждую щепочку своим перочинным ножом! — вскричал Пинкертон. — Опиум там, мы знаем это, и его надо, найти. Но это лишь одна из открывающихся нам возможностей, хотя, как я уже говорил, я принял все меры, чтобы претворить этот план в жизнь. Да, не успев еще занять ни цента и обдумывая второй вариант, я начал с того, что зафрахтовал шхуну. Это «Нора Крейн». Водоизмещение шестьдесят четыре тонны. Но для нас этого достаточно, потому что рис

испорчен, а она самое быстроходное судно своего класса во всем Сан-Франциско. Я внес аванс двести долларов и обязался выплачивать триста долларов ежемесячно, получив ее в свое полное распоряжение; жалованье и провизия обойдутся, скажем, еще в четыреста долларов. Это же капля в море. Капитан уже начал готовить ее к плаванию два часа назад, и тогда же Джон Смит получил заказ на поставку продовольствия. Вот это я называю делать дело!

— Да, конечно, — сказал я. — Но в чем же состоит другой вариант?

— А вот в чем, — сказал Джим. — Ты согласен, что Бэллерс собирался торговаться и дальше?

Я увидел, к чему он клонит.

— Да. Ну и что? — спросил я. — Это и есть твой вариант?

— Именно так, Лауден Додд, — подтвердил Джим. — Если Бэллерс и его клиент захотят дать мне отступного, я готов заключите с ними сделку.

У меня в голове промелькнула страшная мысль: а что, если моя детская выходка испугала этого загадочного клиента, тем самым уничтожив возможность, которая нам позволяла выйти с честью из трудного положения? Но стыд заставил меня промолчать, и я продолжал наш разговор, не упомянув ни о моей встрече с Бэллерсом, ни о том, что я узнал адрес на улице Миссии.

— Да, несомненно, первоначальным лимитом были пятьдесят тысяч долларов, — сказал я, — или, во всяком случае, так считал Бэллерс. Но, с другой стороны, это мог быть предел. И, чтобы покрыть расходы, в которые мы уже вошли — я тебя отнюдь не виню, я понимаю, что мы должны были быть готовы к любому варианту, — чтобы покрыть эти расходы, нам понадобится сумма более значительная.

— Бэллерс согласится на шестьдесят тысяч. Я твердо уверен, что его можно заставить согласиться на сто тысяч. Вспомни конец аукциона!

— В отношении Бэллерса я с тобой совершенно согласен, — ответил я, — однако сам Бэллерс может заблуждаться, и пятьдесят тысяч все-таки могли быть предельной суммой.

— Ну, Лауден, если это так, — сказал Джим очень серьезно, — если это так, пусть забирает «Летящего по ветру» за пятьдесят тысяч и радуется своей покупке. Я предпочту убытки.

— Неужели мы настолько запутались, Джим? — воскликнул я.

— Да, мы зарвались, Лауден, — ответил он. — Ведь эти пятьдесят тысяч долларов, когда мы расплатимся по векселям, обойдутся нам в семьдесят. Нам придется выплачивать долг из расчета десяти процентов в месяц. Меньшей цифры я не мог добиться, да и никто не смог бы. И так это было чудом, Лауден. Я просто сам собой любовался. Эх, если бы нам дали четыре месяца! А ты знаешь, Лауден, мы все-таки можем добиться своего. С твоей энергией, с твоим обаянием ты сможешь управиться на шхуне, как управлялся на наших пикниках. И нам может повезти. А в этом случае — какая блестящая будет операция! Какая реклама! Какие воспоминания до конца нашей жизни! Однако, — перебил он сам себя, — сперва надо попробовать менее рискованный вариант. Пошли к этому крючкотвору.

Я колебался, не признаться ли мне, что я знаю адрес нашего таинственного противника. Однако я решил, что уже упустил благоприятный момент, и теперь мне придется объяснять не только, как этот адрес стал мне известен, но и почему я не сказал об этом раньше. Я, однако, утешил себя мыслью, что, обращаясь к Бэллерсу для переговоров с его клиентом, мы будем действовать как принято. А самое главное, я с тревогой подозревал, что мы все равно уже опоздали и что тот человек, который был нам нужен, покинул Сан-Франциско два часа назад. И вот я снова промолчал. Позвонив по телефону Бэллерсу, чтобы убедиться, что он у себя, мы отправились в его контору… Бесконечные улицы американских городов переходят одна в другую в прихотливом смешении богатства и нужды — под одним и тем же названием улица

тянется между гигантскими складами, между воровскими притонами и дешевыми кабаками, между газонами и живыми изгородями роскошных особняков. В Сан-Франциско крутые холмы и бесчисленные морские заливчики еще усиливают такие контрасты. Улица, по которой мы шли, начиналась где-то среди дня неподалеку от кладбища Пустынной горы; затем она некоторое время вилась по ветреным олимпийским выгонам Ноб-Хилла, а вернее, протянулась вдоль его границы; потом она сразу же нырнула в лабиринт крохотных домиков, весьма развязно выкрашенных и предлагавших наблюдательному взгляду следующую многозначительную особенность: на огромных медных дощечках, украшавших миниатюрные и пестрые двери, значились только женские имена без фамилий — Нора, или Лили, или Флоренс; оттуда улица заглядывала в Китайский квартал, где под ней, несомненно, прятались тайные курильни опиума, а кварталы вокруг напоминали кроличьи садки — столько там было дверей, проходов и крытых галерей; затем, приобщившись к элегантной жизни на перекрестке Кирни, она пробиралась между складами и матросскими ночлежками к набережной и месту обитания городских подонков. И вот там-то, где улица стала угрюмой и пустынной, где ее тишина нарушалась лишь грохотом ломовых подвод, мы нашли некий дом, претендовавший на опрятность и снабженный наружным деревенским крыльцом. К столбу была прибита черная дощечка с золоченой надписью «Генри Бэллерс, юрист. Часы приема с 9 до 6». Поднявшись по ступенькам, мы оказались перед открытой дверью, ведущей в галерею. На двери была надпись «Мистер Бэллерс принимает».

— Что мы будем делать дальше? — спросил я.

— Да просто войдем, — ответил Джим и вошел.

Комната, в которой мы оказались, была очень чистой, но крайне скудно обставлена. Вся мебель исчерпывалась старомодным бюро, рядом с которым стоял стул, и книжной полкой, уставленной томами юридических трудов. Вывод напрашивался сам собой: мистер Бэллерс имел обыкновение сидеть, предоставляя своим клиентам стоять. В дальнем конце комнаты, за занавеской из красной бязи, находилась вторая дверь, очевидно, соединявшая приемную с жилыми комнатами. Из этой двери, после того как мы довольно долго кашляли и притопывали, появился Бэллерс. Он пошел нам навстречу с робким видом человека, который ожидает, что на него накинутся с кулаками, а когда узнал нас, с ним — не знаю, как иначе это описать, — случился припадок про увеличенной любезности.

— Мистер Пинкертон с компаньоном! — вскричал он. — Я сейчас сбегаю за стульями.

— Не надо, — сказал Джим, — времени нет. Предпочтем стоять. Мы пришли к делу. Сегодня утром я купил выброшенный на мель корабль «Летящий по ветру»…

Юрист кивнул.

— …и купил его, — продолжал мой друг, — за сумму, никак не отвечающую видимой стоимости груза.

— А теперь вы передумали и готовы отказаться от своей сделки. Я так и предполагал, — ответил Бэллерс. — Мой клиент, не скрою от вас, был крайне недоволен, что я зашел так далеко, мистер Пинкертон. Мы с вами оба слишком разгорячились. Дух соперничества, так сказать. Но я буду с вами совершенно откровенен, — я знаю, когда имею дело с людьми благородными, — я почти уверен, что мой клиент если вы предоставите это дело мне, перекупит у вас бриг, и тогда вы потеряете, — он впился в нас буравящим взглядом, — вы ничего не потеряете.

И тут Пинкертон изумил меня.

— Не об этом речь, — сказал он, — Я купил бриг. Я знаю, что на нем ценный груз. Я не собираюсь с ним расставаться. Но я не прочь получить кое-какие указания, которые позволили бы мне избежать ненужных расходов, и за них я готов заплатить наличными… Вы же должны решить, буду ли я иметь дело с вами или прямо с вашим клиентом. Если вы готовы сообщить мне эти факты, то называйте вашу цифру. Но еще одно, — добавил Джим, погрозив пальцем, —

когда я говорю «наличные», я имею в виду векселя, подлежащие оплате по возвращении корабля и при условии, что сведения окажутся верными. Котов в мешке я не покупаю.

Я заметил, как загорелись глаза юриста, когда Джим начал свою речь, и как они погасли при последних его словах.

— Вам, наверное, больше моего известно об этом корабле, мистер Пинкертон, — сказал Бэллерс. — Я знаю только, что мне было поручено его купить и что я не сумел этого сделать.

— Мне нравится в вас одна черта, мистер Бэллерс: вы не тратите времени зря, — сказал Джим. — Назовите имя и адрес своего клиента.

— Я пришел к заключению, — ответил Бэллерс с неописуемо хитрым видом, — что не имею права сообщать имя моего клиента. Я буду рад связаться с ним, если вы мне это поручите, но адрес я вам дать не могу.

— Отлично, — сказал Джим и надел шляпу. — Довольно решительный шаг, а? — И продолжал, делая заметные паузы после каждой фразы. — Не передумал? А ну взвесьте, взвесьте. Даю доллар.

— Мистер Пинкертон! — с возмущением воскликнул Бэллерс.

И я на мгновение испугался, что Джим ошибся в оценке его характера и зашел слишком далеко.

— Ах, вам сейчас доллар не нужен, — сказал Джим. — Ну послушайте, мистер Бэллерс, мы оба люди занятые, и я вам прямо скажу свое последнее слово. Согласны на…

— Не надо. Пинкертон, — перебил я, — мне известен адрес: улица Миссии, дом девятьсот сорок два.

Не знаю, кто был более удивлен, Пинкертон или Бэллерс.

— Какого дьявола ты молчал до сих пор, Лауден?! — воскликнул мой друг.

— Ты ведь раньше об этом не спрашивал, — сказал я и покраснел до корней волос, когда он бросил на меня тревожный взгляд.

Наступившее молчание первым нарушил Бэллерс, любезно снабдив нас сведениями, мне неизвестными:

— Раз вы знаете адрес мистера Диксона, — сказал он, явно стремясь отделаться от нас как можно скорее, — то не вижу причин задерживать вас долее.

Не знаю, что чувствовал Пинкертон, во, когда мы вышли из конторы этого мерзкого крючкотвора, у меня на душе лежала свинцовая тяжесть. Я напряженно ждал первого вопроса Джима и готов был со слезами признаться во всем, но мой друг ничего не спросил.

— Надо взять извозчика, — сказал он, чуть ли не бегом устремляясь к ближайшей извозчичьей стоянке. — Время терять нельзя. Ты заметил, к чему я клонил? Какой смысл платить этому Бэллерсу комиссионные!

Снова я ждал, что он спросит меня о причинах моей скрытности, и снова он промолчал. Было ясно, что Джим боится этого вопроса, и я готов был возненавидеть его за подобный страх. Наконец когда мы уже сидели в извозчичьей пролетке и катили к улице Миссии, я не выдержал:

— А ты не спросил меня, откуда я знаю этот адрес, — сказал я.

— Да, — поспешно и смущенно ответил он, — действительно, откуда ты его знаешь? Расскажи, пожалуйста.

Его тон подействовал на меня как пощечина. Я вспылил.

— Попрошу тебя не спрашивать меня об этом, — сказал я. — Я не могу дать никаких объяснений.

Едва я выпалил эти глупые слова, как готов был уже отдать все на свете, чтобы вернуть их. И мне стало совсем стыдно, когда Пинкертон, похлопав меня по плечу, ответил:

— И отлично, милый друг, ни слова более. Я убежден, что ты поступил наилучшим образом.

Снова вернуться к этой теме у меня не хватило мужества, но мысленно я дал клятву, что приложу в дальнейшем все усилия, чтобы исправить последствия нашего безумного поступка, и скорее дам разрезать себя на куски, чем позволю Джиму потерять из-за этого хотя бы доллар. Но, когда мы подъехали к дому номер 942, у меня нашлась другая пища для размышлений.

— Мистер Диксон? Он уехал, — сказала квартирная хозяйка.

— Куда?

— Не могу вам сказать, — ответила она. — Он никогда здесь прежде не останавливался.

— А куда он адресовал свой багаж, сударыня? — спросил Пинкертон.

— У него не было багажа. Он приехал вчера вечером, а сегодня уехал, и был у него только небольшой саквояж.

— Когда он уехал? — спросил я.

— Часов в двенадцать, — ответила хозяйка. — Ктото позвонил ему по телефону и, наверное, сообщил чтонибудь важное, потому что он тут же уехал, хоть и заплатил за комнату вперед за неделю. И вид у него был очень расстроенный. Наверное, кто-нибудь умер.

У меня упало сердце. Пожалуй, причиной его поспешного отъезда действительно была моя идиотская шутка. И опять я спросил себя, почему она могла на него так подействовать, и снова погрузился в водоворот самых невероятных предположений.

Очнувшись от своих мыслей, я услышал, как Пинкертон спрашивает хозяйку:

— А каков он был с виду, сударыня?

— Такой бритый, — ответила она.

И больше ничего от нее нельзя было добиться.

— Остановитесь у ближайшей аптеки, — оказал Пинкертон извозчику.

Из аптеки он позвонил в контору Тихоокеанского пароходства и спросил:

— Какой пароход, идущий в Китай, должен в ближайшее время зайти в Гонолулу?

— «Город Пекин». Он отплыл сегодня в половине второго, — ответили ему.

— Все яснее ясного, — сказал Джим. — Он сбежал, или моя фамилия не Пинкертон. Он решил добраться до острова Мидуэй раньше нас.

Однако я не разделял его мнения — ведь Пинкертон знал не все, а я хорошо помнил страх, отражавшийся на лице капитана Трента, и уверенность, что именно я спугнул мистера Диксона, не оставляла меня, хотя я и понимал, что, возможно, строю свои домыслы на песке.

— Не посмотреть ли нам список пассажиров? — спросил я.

— Диксон — фамилия слишком распространенная, — возразил Джим. — А кроме того, он, наверное, записался под вымышленным именем.

И тут меня словно озарило. Перед моими глазами возникла улица, на которой жил Бэллерс, — когда мы шли туда, я был слишком занят другими мыслями, чтобы обращать внимание на окружающее. Но теперь я как будто снова увидел грязную мостовую, тяжело (Нагруженные подводы, путаницу телеграфных проводов, китайчонка с корзиной на голове и у самого угла — бакалейную лавку, на вывеске которой огромными золотыми буквами сияла фамилия «ДИКСОН».

— Ты прав, — сказал я, — он так и поступит. Да и вообще это не его фамилия. Я убежден, что он заимствовал ее с вывески бакалейщика напротив конторы Бэллерса.

— Возможно, — рассеянно ответил Джим и продолжал стоять, хмуря брови.

— Ну, что будем делать дальше? — спросил я.

— С одной стороны, надо бы поторопить подготовку нашей шхуны, — ответил он, — но не знаю, удастся ли это. Я уже звонил капитану, чтобы он не терял времени даром, и, судя по его ответу, у него работа кипит вовсю. Знаешь что, Лауден? Попробуем взяться за Трента. Он в этом как-то замешан. Да и не как-то, а больше всех. Даже если он не может перекупить у нас бриг, он может объяснить нам, в чем дело.

— Согласен, — сказал я. — Как нам его разыскать?

— Через английское консульство, конечно, — ответил Джим. — И это еще одна причина, почему следует начать с него. Шхуной мы можем заняться и вечером, но консульство тогда будет закрыто.

В консульстве мы узнали, что капитан Трент поселился в гостинице «Веселье». Мы немедленно отправились в это большое, но отнюдь не фешенебельное заведение и обратились за справкой к портье, который жевал большую зубочистку и глядел мимо нас в одну точку.

— Капитан Джейкобс Трент здесь проживает?

— Выбыл, — ответил портье.

— Куда? — спросил Пинкертон.

— Не могу сказать, — ответил портье.

— Когда он уехал? — спросил я.

— Не знаю, — ответил портье и с бесцеремонностью коронованной особы повернулся к нам спиной.

Боюсь и подумать о том, что могло бы случиться дальше, ибо возбуждение Пинкертона уже достигло предела, но, к счастью, от возможного скандала нас спасло появление второго портье.

— Да это, никак, мистер Додд! — воскликнул он, подбегая к нам. — Рад вас видеть, сэр! Чем могу служить?

Добродетель всегда вознаграждается. В свое время я усладил слух этого молодого человека нежными звуками «Перед самой битвой, мама…» на одном из наших пикников, а теперь, в эту критическую минуту, он явился, чтобы помочь мне.

— Капитан Трент? Ну, конечно, мистер Додд. Он уехал около двенадцати, вместе с одним из своих матросов, А гаваец уехал раньше на «Городе Пекине». Я это знаю, потому что отослал в порт его сундучок. Багаж капитана Трента? Я сейчас наведу справки, мистер Додд. Да, они все проживали здесь. Вот их имена в книге. Поглядите, пока я схожу узнаю про багаж.

Я пододвинул к себе книгу и стал рассматривать четыре фамилии, написанные одним и тем же размашистым и довольно скверным почерком: «Трент, Браун, Харди и (вместо А. Синга) Джозеф Амалу».

— Пинкертон, — сказал я вдруг, — у тебя с собой этот номер «Оксидентела»?

— Конечно, — ответил Пинкертон, доставая газету.

Я скользнул глазами по отчету о кораблекрушении.

— Здесь есть еще одна фамилия, — сказал я. — «Элиас Годдедааль, помощник». Почему мы больше ничего не слышали об Элиасе Годдедаале?

— Правильно, — сказал Джим. — Его ведь не было с остальными, когда ты видел их в кафе?

— По-моему, нет, — ответил я. — Их было только четверо, и никто из них не был похож на помощника.

В эту минуту вернулся мой портье.

— Капитан сам нанял какой-то фургон, — сообщил он, — и вместе с одним из матросов погрузил на него три сундучка и большой саквояж. Наш швейцар помогал им, но фургоном они

правили сами. Швейцар думает, что они поехали в приморский район. Это была около часу дня.

— Они могли еще успеть на «Город Пекин», — заметил Джим.

— Сколько их у вас останавливалось? — спросил я.

— Трое, сэр, и еще гаваец, — ответил портье. — Второй матрос тоже уехал, но я не знаю, когда и как.

— А мистер Годдедааль, помощник, здесь не проживал? — спросил я.

— Нет, мистер Додд, только эти четверо, — ответил портье.

— И вы о нем ничего не слышали?

— Нет. А почему вы их разыскиваете, мистер Додд? — осведомился портье.

— Мы с моим другом купили их корабль, — объяснил я, — и хотели выяснить кое-какие подробности. Крайне неприятно, что мы никого не нашли.

К этому времени вокруг нас собралось несколько любопытных — сенсационный аукцион еще не был забыт. И тут один из зевак, дюжий матрос, неожиданно сказал:

— А помощник, наверное, еще в городе. Он ведь совсем больной. Говорят, на «Буре» он не выходил из лазарета.

Джим дернул меня за рукав.

— Вернемся-ка в консульство, — сказал он.

Но даже в консульстве о мистере Годдедаале ничего не было известно. Судовой доктор с «Бури» выдал справку, что он находится в тяжелом состоянии, сам помощник в консульстве не появлялся, а только прислал свои документы.

— У вас есть телефонная связь с «Бурей»? — спросил Пинкертон.

— Есть, — ответил клерк.

— Так, может, вы позвоните туда или позволите мне позвонить? Нам совершенно необходимо увидеться с мистером Годдедаалем.

— Хорошо, — ответил клерк и взял телефонную трубку. Поговорив несколько минут, он обернулся к нам.

— Мне очень жаль, — сказал он, — но мистер Годдедааль уехал с корабля, и никто не знает куда.

— Скажите, вы оплачиваете проезд потерпевших кораблекрушение на родину? — спросил я, когда мне в голову пришла неожиданная мысль.

— Если они просят об этом, — ответил клерк, — что бывает не всегда. Сегодня утром мы оплатили проезд гавайца до Гонолулу, и, насколько я понял из слов капитана Трента, остальные собираются вернуться на родину вместе.

— Так, значит, вы еще не выдавали им деньги? — спросил я.

— Пока еще нет, — ответил клерк.

— А вы очень удивитесь, узнав, что они уже уехали? — спросил я.

— Этого не может быть, вы ошибаетесь, — сказал он.

— Однако так оно и есть, — настаивал я.

— Нет, нет, вы ошибаетесь, — повторил он.

— Разрешите воспользоваться вашим телефоном? — спросил Пинкертон и после утвердительного ответа позвонил в типографию, которая обычно печатала наши объявления.

Я не слушал этого разговора, потому что вспомнил вдруг размашистый скверный почерк в книге гостиницы «Веселье» и осведомился у клерка, нет ли у него образчика почерка капитана Трента. Тут я узнал, что капитан не может писать, так как поранил правую руку незадолго до катастрофы, и что даже корабельный журнал в последние дни вел за него мистер

Годдедааль, а сам Трент даже расписывался левой рукой. К тому времени, когда я получил все эти сведения, Пинкертон уже повесил трубку.

— Ну, с этим все. А теперь займемся шхуной, — сказал он. — И, если завтра к вечеру я не разыщу этого Годдедааля, мое имя не Пинкертон.

— Каким образом? — поинтересовался я.

— Увидишь вечером, — ответил Пинкертон. — А теперь после всей этой канители с консульством, портье и сморчком Бэллерсом приятно будет посмотреть на шхуну. Там, наверное, работа идет полным ходом.

Однако на пристани царила полная тишина и спокойствие. И, если не считать дымка, поднимавшегося над камбузом, на «Норе Крейн» не было заметно никаких признаков жизни. Пинкертон побледнел и, стиснув зубы, прыгнул на борт шхуны.

— Где капитан этой… — Он не докончил фразы, потому что не нашел слова, достаточно сильного, чтобы выразить свои чувства.

Вопрос его, казалось, был обращен в пустоту. Однако из дверей камбуза высунулась чья-то голова — очевидно, кока.

— Закусывает у себя в каюте, — ответил этот субъект, что-то пережевывая.

— Шхуна разгружена?

— Нет, сэр.

— И разгрузка даже не начиналась?

— Да нет, начиналась. Завтра мы возьмемся за дело поживей.

— Ну, кому-то это даром не пройдет, — сказал Пинкертон и решительным шагом направился к каюте.

Там за накрытым столом сидел смуглый толстяк и увлеченно расправлялся с жарким. При нашем появлении он оторвался от еды и смерил взглядом Пинкертона, который, скрестив руки на груди, смотрел на него в упор, сурово сжав губы. На добродушном лице капитана появилось удивление, смешанное с досадой.

— Так вот что вы называете спешкой? — сказал наконец Джим.

— А вы кто такой? — воскликнул капитан.

— Кто я такой? Я Пинкертон, — ответил Джим, как будто это слово было магическим талисманом.

— Вы не очень-то вежливы, — возразил капитан, но это имя, по-видимому, произвело на него впечатление, потому что он все-таки встал и поспешно добавил: — Когда-нибудь надо же и пообедать, мистер Пинкертон.

— Где ваш помощник? — рявкнул Джим.

— Где-то в городе.

— Ах, где-то в городе! — язвительно повторил Пинкертон. — А теперь я вам скажу, что я о вас думаю: вы мошенник, и, если бы только я не боялся запачкать свой башмак, я бы пинком вышвырнул вас вместе с вашим обедом на пристань.

— Я вам тоже кое-что скажу, — ответил капитан багровея. — Для такого, как вы, я корабль не поведу, даже если бы вы меня на коленях умоляли. Я привык иметь дело с людьми порядочными.

— Я могу вам назвать имена кое-каких порядочных людей, с которыми вам больше не придется иметь дело! — отрезал Джим. — Это вся компания Лонгхерста. Уж об этом я позабочусь! Собирайте свои вещи, да побыстрей, и забирайте с собой свою паршивую команду. Я сегодня же вечером найду себе настоящего капитана и настоящих матросов.

— Я уйду, когда мне будет удобно, а удобно мне будет завтра утром! — крикнул нам вслед капитан.

— Сегодня весь мир словно перевернулся, — пожаловался Пинкертон, когда мы вышли на пристань. — Сначала Бэллерс, потом портье с зубочисткой, а теперь этот мошенник. А где мне искать капитана, Лауден? Ведь Лонгхерст час назад ушел домой, да и остальных никого не найти.

— Я знаю, где, — ответил я. — Садись скорей. — И, когда мы сели в пролетку, добавил, обращаясь к извозчику: — Гони к трактиру Черного Тома.

Добравшись до этого заведения, мы пересекли большой зал и, как я и надеялся, нашли в задней комнате Джонсона и весь его клуб. Стол был сдвинут к стене. Один из торговцев копрой играл в углу на губной гармонике, а посредине Джонсон и еще какой-то моряк, обняв друг друга за плечи, неуклюже, но с большим усердием отплясывали неизвестный мне танец. В комнате было холодно и в то же время душно. Газовая горелка, ежеминутно грозившая обжечь головы танцоров, бросала вокруг неверный свет. Музыка звучала визгливо и заунывно, а лица всех присутствующих были так серьезны и торжественны, словно они находились в церкви.

С нашей стороны было бы, конечно, невежливо прерывать это унылое веселье, поэтому мы тихонечко пробрались к стульям, точно слушатели, опоздавшие на концерт, и стали ожидать конца пляски. Но вот, наконец, торговец, как видно, выдохся и оборвал мелодию на середине такта. С прекращением музыки остановились и танцоры. Несколько мгновений они покачивались, все еще обнимая друг друга, а затем разошлись в разные стороны, поглядывая на зрителей в ожидании аплодисментов.

— Хорошая пляска, — сказал кто-то.

Но, очевидно, такая похвала не удовлетворила исполнителей, потому что они не преминули тут же высказать и свое мнение.

— Ну что ж, — сказал Джонсон, — может, я и плохой моряк, зато танцевать я умею.

А его бывший партнер с почти трогательной убежденностью добавил:

— Я легок на ногу, будто перышко.

Заметив, откуда дует ветер, я, как вы легко догадываетесь, сначала отпустил несколько комплиментов по поводу танцевального искусства Джонсона, а потом, задобрив его этой лестью, увел в коридор и, рассказав о нашем положении то, что нашел нужным, попросил стать нашим капитаном или, если это его не устраивает, порекомендовать нам какого-нибудь подходящего человека.

— Чтобы я да пошел в капитаны! — вскричал он. — Ни за что на свете!

— Но ведь вы же помощник, — возразил я.

— Конечно, помощник, — засмеялся Джонсон, — потому-то в капитаны я и не пойду. Но я вас выручу. Я уговорю Артп Нейрса. Вы же его видели. Первоклассный моряк и умеет подать товар лицом.

После чего он сообщил мне, что мистер Нейрс, который через шесть месяцев должен был получить под свою команду прекрасный барк, пока, ожидая, чтобы поулеглись слухи, живет очень уединенно и будет рад переменить обстановку. Я подозвал Пинкертона и объяснил ему положение дел.

— Нейрс! — воскликнул Джим, едва только услышал это имя. — Да ведь лучше ничего и придумать нельзя! Такого моряка поискать, Лауден.

Все было решено, и Джонсон обещал на следующее утро привести к нам Нейрса еще до шести часов, а Черный Том, к которому мы обратились за советом, обязался к тому же часу подобрать нам четырех бравых моряков, ручаясь даже, что они будут трезвы, как стеклышко, хотя в последнем мы и позволили себе усомниться.

Когда мы вышли из трактира, на улицах уже горели фонари. Везде по холмам разбегались яркие цепочки огней, а на невидимых волнах бухты поднимались и опускались сигнальные

огни стоявших там бесчисленных судов. Мы расплатились с извозчиком и пошли пешком к ресторанчику «Пудель», чтобы поужинать.

По дороге туда я заметил, что расклейщик афиш наклеивает на будку какое-то объявление. Это меня удивило, потому что час был уже поздний, и, остановившись, я стал ждать, когда объявление будет полностью развернуто. Пинкертон терпеливо стоял рядом. Вот что я прочел:

ДВЕСТИ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ

офицерам и матросам

потерпевшего крушение брига

«ЛЕТЯЩИЙ ПО ВЕТРУ»,

если они обратятся

лично или письменно

в контору Джеймса Пинкертона

до полудня завтрашнего дня.

— Это ты придумал. Пинкертон? — воскликнул я.

— Да. И хозяин типографии времени зря не терял. Не то что этот мошенник капитан, — ответил мой друг. — Но это еще не все, Лауден. Ведь мы же знаем, что Годдедааль болен, так я распорядился послать по одному такому объявлению во все больницы, во все аптеки и всем докторам Сан-Франциско.

Разумеется, Пинкертон благодаря своим деловым связям получил в типографии большую скидку, и все же я испугался тех затрат, в которые нам обошлось это объявление.

— Долларом больше, долларом меньше, какое это имеет значение? — печально ответил Джим, когда я высказал ему свои сомнения. — Мы будем рассчитываться за все через три месяца, Лауден.

До конца нашей прогулки мы хранили унылое молчание. Даже в «Пуделе» мы почти ничего не ели и совсем не разговаривали. Только когда Пинкертон допил третий бокал шампанского, он откашлялся и сказал, виновато глядя на меня:

— Лауден, ты не хотел говорить со мной на одну тему. Я не буду тебя расспрашивать, только скажи мне — ты решил промолчать не потому, что…

— он запнулся, — не потому, что ты мной недоволен?

— Пинкертон! — воскликнул я.

— Погоди, не перебивай, — продолжал он, — дай я кончу. Я высоко ценю твою деликатность, хотя сам я ее лишен. Я отлично понимаю, что, как бы недоволен ты мной ни

был, ты скорее умрешь, чем заговоришь об этом. Я и сам понимаю, что мог бы добиться большего, но, когда я убедился, как трудно раздобыть деньги в этом городе, когда я заметил, что даже такой человек, как Дуглас Лонгхерст, один из первых калифорнийских пионеров, который и глазом не моргнув в течение пяти часов отбивался на своем поле от бандитов, убоялся риска, признаюсь тебе, Лауден, я совсем отчаялся. Может быть, я наделал много ошибок, и тысячи людей сумели бы добиться на моем месте большего, но, клянусь, я сделал все, что мог.

— Мой бедный Джим, — сказал я, — ты говоришь так, словно я могу в тебе усомниться! Как будто я не знаю, что ты творил чудеса. Весь день я восхищался твоей энергией и находчивостью. Но что касается этого…

— Нет, Лауден, ни слова более! Я не хочу… — начал Джим.

Но я перебил его:

— По правде говоря, я отказался объяснить тебе, в чем дело, потому что мне было стыдно.

— Тебе было стыдно, Лауден? О, не говори подобных вещей! Не говори их даже в шутку! — возмутился Пинкертон.

— А разве ты никогда не совершаешь поступков, которых потом стыдишься? — спросил я.

— Нет, — ответил он недоуменно. — И с какой стати? Иногда я жалею, когда результаты получаются не такие, как я рассчитывал. Но не понимаю, с какой стати я стал бы стыдиться?

Несколько минут я молчал, восхищаясь простодушием моего друга, потом вздохнул.

— Знаешь, Джим, о чем я больше всего жалею? — спросил я. — О том, что теперь я не смогу быть шафером на твоей свадьбе.

— На моей свадьбе? — повторил он, вздыхая, в свою очередь. — Какая там свадьба! Я сегодня же объяснюсь о Мэйми. Вероятно, это и мучило меня весь день. Мне кажется теперь, что я не имел права, после того как стал женихом, идти на подобный риск.

— Но ведь во всем виноват я, Джим! Так и скажи ей, — заметил я.

— Ничего подобного! — вскричал он. — Я увлекся не меньше тебя. Просто я оказался не таким сообразительным. Нет, это моя вина. И все-таки ужасно тяжело на душе.

Когда Джим печально побрел объясняться с Мэйми, я в одиночестве вернулся в контору, зажег газ и принялся размышлять о событиях этого необычайного дня — о странном кораблекрушении, о неизвестно куда исчезнувших людях, об огромных деньгах, поставленных на карту, и об опасном и трудном предприятии, ожидающем меня в недалеком будущем.

Когда вспоминаешь подобные события, очень трудно задним числом не приписать себе знание, которым мы обладаем теперь. Но все же я могу сказать, не отступая от истины, что в тот вечер меня снедали подозрения и лихорадочное любопытство. Истощив свою фантазию в поисках всевозможных объяснений, которые я одно за другим отбрасывал, так как они не соответствовали фактам, я, однако, в самой вставшей передо мной тайне нашел стимул для мужества и усыпляющий бальзам для совести. Однако я вовсе не хочу сказать, что в противном случае я отступил бы. Контрабанда — одно из самых подленьких преступлений, потому что таким образом мы грабим все общество, и в первую очередь беднейшую его часть, а контрабанда опиума, кроме того, — это контрабанда вреднейшего из наркотиков. Все это было мне ясно, и совесть моя восставала против моих интересов настолько, что, если бы дело не касалось Джима, я искренне пожелал бы сам себе неудачи. Но счастье Джима, все его состояние, его женитьба зависели от того, удастся ли мне осуществить свою миссию. Я поставил интересы моего друга выше интересов островитян Южных Морей. Я согласен, что это очень узкая и эгоистическая точка зрения, но так я чувствовал тогда, и не столько стыжусь своего участия в подобном предприятии, сколько горжусь тем, что в те дни ради своего друга я не покладая рук работал с утра до, ночи, не дрогнув встречал любую опасность и хоть раз в жизни проявил настоящее мужество. Но в то же время я был бы счастлив найти своей энергии

другое применение и поэтому радовался тайне, которая в какой-то мере смягчала неприглядность цели, ради которой я трудился. Не будь этого, я чувствовал бы себя гораздо хуже и хотя, вероятно, поступил бы так же, но с неохотой и отвращением. А в этот вечер, помимо, нетерпеливого желания увидеть море, остров, потерпевший крушение корабль, меня вдохновляла надежда, что там я найду ответы на сотни вопросов и узнаю, почему капитан Трент нервно обмахивал свое побагровевшее лицо во время аукциона и почему мистер Диксон после моего телефонного звонка так поспешно покинул пансион на улице Миссии.

ГЛАВА XI,
В КОТОРОЙ МЫ С ДЖИМОМ РАССТАЕМСЯ

Когда я засыпал, на душе у меня было очень скверно, а проснувшись, еще хорошенько ничего не сознавая, я сразу ощутил, что вчера произошло что-то очень неприятное. Я чувствовал себя совсем разбитым и, кажется, некоторое время лежал в тупом оцепенении, пока не услышал, что в дверь стучат. И тут мгновенно вспомнил аукцион, «Летящего по ветру», Годдедааля, Нейрса, Джонсона, Черного Тома — все неприятности вчерашнего дня и все бесчисленные дела, которые мне предстояло переделать сегодня. Это подействовало на меня, как звук трубы перед началом атаки: я вскочил с постели, прошел через контору, где Пинкертон спал глубоким сном на своем раскладном диване, и открыл дверь, чтобы прямо в халате встретить наших посетителей. На пороге я увидел расплывшегося в улыбке Джонсона, а позади него стоял, нахлобучив шляпу на самые глаза и зажав в зубах сигару, капитан Нейрс, который сухо кивнул мне, очевидно, вспомнив наше первое знакомство. За ним на лестнице толпились матросы — новая команда «Норы Крейн». Предоставив последним полировать стены спиной и локтями, я пригласил офицеров пройти в комнату и принялся трясти Джима за плечи, пока он не очнулся. Наконец он приподнялся на постели и растерянно уставился на нового капитана.

— Джим, — сказал я, — это капитан Нейрс. Капитан, разрешите представить вам мистера Пинкертона.

Нейрс снова молча кивнул, и мне показалось, что он рассматривает нас очень внимательно.

— А, — сказал Джим, — это капитан Нейрс? Доброе утро, капитан Нейрс. Счастлив познакомиться с вами, сэр. Мне давно уже известна ваша превосходная репутация.

Возможно, что последние слова Джима, принимая во внимание предшествующие обстоятельства, прозвучали несколько иронически. Во всяком случае, Нейрс в ответ только что-то угрюмо буркнул.

— Ну, капитан, — продолжал Джим, — вы знаете, что нам требуется? Вы доведете «Нору Крейн» до острова Мидуэй, снимете с разбитого брига все, что можно снять, зайдете в Гонолулу и вернетесь в Сан-Франциско. Я полагаю, вы об этом уже осведомлены?

— Что ж, — ответил Нейрс все так же недружелюбно, — по причинам, которые, я полагаю, вам известны, ваше предложение меня, в общем, устраивает. Однако, мистер Пинкертон, прежде нам надо выяснить несколько деталей. Но соглашусь я или нет, корабль все равно надо готовить к отплытию, и незачем терять время. Пусть мистер Джонсон с вашей запиской забирает команду и отправляется на шхуну. Эти ребята, — прибавил он с видом величайшего отвращения, — как будто совсем трезвы. Так заставьте их работать, чтобы они не напились.

На том и порешили. Когда Джонсон ушел в сопровождении матросов, Нейрс с облегчением вздохнул и сказал:

— Ну, теперь нам никто не мешает, и мы можем по говорить. Что тут кроется? Ваше предприятие наделало много шуму, и афиша взволновала весь приморский район — это меня не устраивает, потому что пока я не хочу привлекать к себе внимание. Ну, и во всяком случае, прежде чем принять команду, я должен твердо знать, куда и зачем мы плывем.

Тогда Пинкертон рассказал ему всю историю. Начал он деловито и точно, но под конец снова увлекся. Нейрс, так и не снимая шляпы, задумчиво курил и хмурым кивком сопровождал каждое новое сообщение. Однако в его бледно-голубых глазах загорелся предательский огонек жадного интереса.

— Ну и, как вы сами понимаете, — закончил Пинкертон, — Трент скорее всего отправился в Гонолулу, где ему потребуется гораздо меньше пятидесяти тысяч долларов, чтобы зафрахтовать какое-нибудь подходящее судно и добраться до Мидуэя. Поэтому-то мне и нужен хороший капитан! Этот бриг мой, я заплатил наличными, и если за него придется драться, то надо драться как следует. Я скажу вам откровенно: если вы не вернетесь через три месяца, то меня ожидает неслыханное банкротство. Для мистера Додда и для меня речь идет о жизни и смерти, Весьма возможно, что на острове дело дойдет до рукопашной. Так что, когда я услышал вчера ваше имя, и тем более сегодня, когда я увидел вас самого, я сказал себе: «Нейрс! Вот кто мне нужен!»

— Насколько я понимаю, — заметил Нейрс, разглядывая пепел своей сигары, — чем раньше я выведу эту шхуну в открытое море, тем приятнее вам будет.

— Вы тот, о ком я мечтал! — воскликнул Джим, подпрыгивая на постели.

— На все сто процентов!

— Минуточку, — оказал Нейрс, — еще не все. Я слышал, что на шхуне будет суперкарго.

— Да, мистер Додд, мой компаньон, — ответил Джим.

— Это как-то странно, — сухо заметил капитан. — Мне еще не приходилось плавать на корабле, где было бы два капитана.

— Не разочаровывайте меня, — возразил Пинкертон. — Вы же говорите не подумав. Ведь вы не претендуете на то, чтобы распоряжаться нашей фирмой, не так ли? А это не просто рейс, это деловая операция, которой занимается мой компаньон. Вы будете вести корабль, наблюдать за разгрузкой брига, следить за командой — словом, у вас забот хватит. Но одно поймите ясно с самого начала: все это должно быть сделано так, чтобы мистер Додд был доволен, потому что платит за все мистер Додд.

— Я привык, чтобы мною были довольны, — сказал мистер Нейрс, густо краснея.

— В этом никто не сомневается! — вскричал Пинкертон. — Я хорошо вас понимаю. Вы любите все делать по-своему, но вы человек честный, и на вас можно положиться.

— Однако нам следует уточнить положение, — ответил Нейрс, немного смягчаясь. — Я имею в виду мое положение. Я не собираюсь плавать в качестве шкипера. Хватит и того, что я соглашаюсь командовать этой крохотной шхуной.

— Ну, вот что, — заметил Джим, весело подмигивая. — Вы только не спорьте со мной насчет балласта, и мы сделаем ее баркентиной.

Нейрс усмехнулся. Отсутствие такта снова помогло Пинкертону одержать победу.

— Теперь еще одно, — продолжал капитан, очевидно, считая предыдущий вопрос решенным. — Как насчет ее владельцев?

— О, это вы предоставьте мне. Я ведь из компании Лонгхерста, как, может быть, вам известно, — ответил Джим с неописуемым тщеславием. — Тот, кто подойдет мне, подойдет и им.

— А кто они? — спросил Нейрс.

— Макинтайр и Спитл, — ответил Джим.

— Ну, в таком случае просто дайте мне вашу визитную карточку, — ответил капитан, — и писать ничего не надо. С Макинтайром и Спитлом я всегда договорюсь.

Похвальба на похвальбу: это было привычкой и Нейрса и Пинкертона, двух самых тщеславных людей, каких я когда-либо встречал. Восстановив таким образом свое достоинство в собственных Глазах, капитан встал и, сухо поклонившись мне и Джиму, удалился.

— Джим, — сказал я, когда дверь за ним закрылась, — этот человек мне не нравится.

— Придется тебе перебороть себя, Лауден, — ответил Джим. — Это типичный американский моряк: храбрый, как лев, умеющий всегда найти выход из самого трудного положения и высоко ценимый судовладельцами. Это человек с репутацией.

— С репутацией зверя, — заметил я.

— Говори что хочешь, — возразил Пинкертон, — а нам повезло, что мы сумели его заполучить, — я хоть завтра доверю ему жизнь Мэйми.

— Да, кстати, как у тебя с Мэйми? — спросил я.

Джим перестал одеваться.

— До чего эта малютка мужественна и благородна! — воскликнул он. — Лауден, я собирался разбудить тебя вчера, когда вернулся, и не сочти за холодность, что я этого не сделал. Я зашел к тебе, увидел, что ты спишь, что лицо у тебя очень усталое, и решил тебя не; тревожить. Я рассудил, что новости могут подождать до утра. А ведь даже ты, Лауден, не прочувствуешь их так, как я.

— Какие новости? — спросил я.

— Вот как было дело, — ответил Джим. — Я объяснил ей наше положение и сказал, что хочу вернуть ей ее слово. «Вы меня разлюбили?» — спрашивает она. Нет, ты только подумай! Но, я снова объяснил ей наше положение, сказал, что нам грозит банкротство, что тебе непременно нужно уехать и что я обязательно хочу, чтобы ты был моим шафером. Ну, и все остальное. «Если вы меня еще любите, то, мне кажется, есть только один выход, — отвечает она. — Давайте поженимся завтра, и мистер Лауден успеет стать вашим шафером прежде, чем он отплывет». Вот так она прямо и сказала, словно какая-нибудь героиня Диккенса! Даже разорение ее не испугало. «Значит, я тем более буду вам нужна», — сказала она. Нет человека, которому бы так везло, как мне! Ты, я и Мэйми — это словно веревка из трех прядей, Лауден. Я и подумать боюсь, что кто-нибудь из вас может умереть… И ты ей очень нравишься, она считает тебя очень даровитым и говорит, что у тебя истинно аристократическая внешность. И она не меньше меня хочет, чтобы ты был моим шафером. Она зовет тебя «мистер Лауден». Как дружески это звучит! Вчера она не ложилась до трех — все возилась со своим подвенечным платьем. До чего же было приятно смотреть на нее, Лауден! Следить за тем, как мелькает игла, и думать: «Вся эта спешка, Джим, только для того, чтобы выйти за тебя замуж». Я просто поверить этому не мог — словно какая-нибудь сказка! А когда я вспомнил о тех временах, когда был бродячим фотографом, тут у меня уж и вовсе голова закружилась: каким я был тогда необразованным, некультурным и одиноким! А теперь! Ну просто не понимаю, чем я заслужил такое счастье…

И он продолжал изливать свою простодушную радость, а я старался уяснить из его бессвязной речи, каковы его дальнейшие планы. Оказалось, что они действительно собираются сегодня пожениться, что свадебный обед будет в ресторане Франка, что вечером они посетят «Нору Крейн» и что затем мы с Джимом расстанемся: он поедет с женой на свою новую квартиру, а я поплыву к острову Мидуэй.

Если я и питал неприязнь к мисс Мэйми, то в эту минуту я все ей простил: ведь она проявила истинное мужество, доброту и благородство.

Погода испортилась, небо закрыли свинцовые тучи — я никогда еще не видел Сан-Франциско таким унылым, жалким и грязным. Казалось, он преждевременно состарился. Но все время, пока я, судорожно спеша, заканчивал дела в порту, в конторах, среди

оглушительного шума и малопривлекательных зрелищ, у меня в душе раздавалась тихая музыка — я вспоминал о счастье своего друга.

И то сказать, это был чрезвычайно хлопотливый день. Не успели мы позавтракать, как Джим уже умчался в муниципалитет и в ресторан Фрэнка — ведь надо было подготовить свадьбу, а я поспешил в контору Джона Смита договариваться о поставке припасов, а оттуда — на «Нору Крейн». Среди окружавших ее могучих кораблей она показалась мне еще меньше, чем вчера. На ней и вокруг нее царил невообразимый хаос. Набережная была завалена бочками, ящиками, жестянками, инструментами, бухтами каната и миниатюрными бочонками с порохом. Казалось, никакой человеческий гений не в силах будет уместить все это в ее трюме. Джонсона я нашел на шкафуте. Помощник капитана был облачен в красную рубаху и холщовые брюки и весь кипел энергией. Обменявшись с ним несколькими словами, я отправился по узкому проходу между бортом и рубкой на корму и спустился по трапу в общую каюту, где капитан пил вино с портовым чиновником.

Я с неприязнью оглядел крохотную каморку, которой в течение многих недель предстояло быть моим домом. Справа тянулась перегородка, отделявшая капитанскую каюту, а слева одна над другой виднелись две неопрятные койки, упиравшиеся в ветхий буфет. Стены были желтые и сырые, пол — черный и измазанный каким-то жиром. Повсюду валялись старые газеты, солома, доски от ящиков, а единственными украшениями были подставка для стаканов, термометр, преподнесенный «в знак уважения» каким-то торговцем виски, рекламирующим свой товар, и подвешенная к потолку лампа. Трудно было представить себе, что не пройдет и недели, как эта каюта покажется мне веселой, светлой, нисколько не душной и даже обширной.

Я был представлен портовому чиновнику и его молодому приятелю, которого, как мне показалось, он привел с собой только для того, чтобы тот мог вволю накуриться дорогих сигар. Мы выпили за здоровье друг друга по стаканчику калифорнийского портвейна, слишком сладкого и слишком липкого, чтобы быть подходящим утренним напитком, а затем чиновник разложил на столе свои бумаги и была вызвана команда. Несколько минут спустя матросы ввалились в каюту и остановились, неуклюже переминаясь с ноги на ногу и глядя либо, в пол, либо в потолок. На их лицах было написано смущение и явное желание сплюнуть, на что, конечно, никто не осмеливался. Единственным исключением был китаец-кок в белоснежном халате, державшийся с большой уверенностью и достоинством.

Полагаю, вам никогда не приходилось участвовать в фарсе, вроде того, который затем последовал. Морские законы Соединенных Штатов составлены в духе отеческой строгости и, очевидно, исходят из предпосылки, что всякий матрос — идиот от рождения, а его наниматели — негодяи и мошенники. Каждому матросу по очереди прочитывался длинный и многословный документ, именуемый «Инструкцией о правах кубрика». Прослушав его пять раз подряд, я, казалось бы, должен был вполне постигнуть его содержание; однако чиновник (весьма достойный человек) проделывал подобную процедуру каждый божий день по многу раз подряд, отчего, разумеется, читал с такой быстротой и монотонностью, что даже я, человек образованный, умевший сосредоточиваться, почти ничего не понял, а о матросах уж и говорить нечего. Отдача приказов не должна сопровождаться руганью, ношение ножей запрещается, место назначения — остров Мидуэй или любой другой порт, куда решит зайти капитан до истечения шести календарных месяцев, выплата жалованья в этом порту — вот что излагалось в этом документе с удивительным многословием, а больше я ничего уловить не сумел. Закончив чтение, чиновник каждый раз переводил дух и затем начинал разговор о деле уже нормальным голосом. «Итак, любезный, — говорил он, — вы поступаете матросом на этот корабль за столько-то долларов в американской валюте. Напишите свою фамилию вот здесь, если у вас есть фамилия и вы умеете писать». После того как матрос, пыхтя от напряжения, подписывался, чиновник начинал заполнять официальный бланк с описанием его наружности: рост, особые приметы и т, п. При создании этих литературных портретов он, кажется, полагался всецело на вдохновение, ибо я ни разу не заметил, чтобы он бросил хоть один взгляд

на своих натурщиков. Правда, ему помогали замечания капитана, вроде: «Волосы голубые, глаза рыжие… Нос пять футов семь дюймов, рост сломанный», — и прочие шуточки, родившиеся вместе с возникновением американского торгового флота. Вершина юмора была достигнута, когда китайца-кока записали под именем «Пей-чай». В ответ на его протесты портовый чиновник только весело ухмыльнулся.

— Кроме того, капитан, — сказал он, начиная складывать свои бумаги, когда матросы удалились, — согласно закону, вы обязаны иметь на борту судовую лавку и аптечку.

— Я знаю, — ответил Нейрс.

— Очень хорошо, — закончил чиновник и налил себе еще стакан портвейна.

Однако, когда он ушел, я вернулся к этой теме, так как прекрасно знал, что у нас нет ни той, ни другой.

— Ну как же, — протянул Нейрс, — сон на набережной лежит ящик с шестьюдесятью фунтами табака и еще двадцать фунтов всяких консервов. А кроме того, я никогда не ухожу в плавание без обезболивающей микстуры.

На самом деле у капитана был большой запас всяческих патентованных снадобий, которыми он, по обычаю моряков, пользовался с большим рвением, но очень бестолково. У него хранился также запас каких-то покрытых плесенью полупустых пузырьков без этикеток, и время от времени он открывал их, нюхал и размышлял вслух: «Кажется, пахнет, как средство от поноса. Попробовать, что ли? Пожалуй, попробую». Однако товары в судовой лавке исчерпывались пачками дешевого табака. Вот так составляются отечески строгие законы и так они обходятся: когда наша шхуна вышла в море, она, как и множество других, подлежала штрафу в шестьсот долларов за отсутствие лавки и аптечки.

Этот эпизод, который занял столько места в моем описании, на самом деле промелькнул совсем незаметно — день был слишком полон всяческих волнений и забот. Чтобы от зари и до сумерек успеть снарядить шхуну в плавание и подготовить брачную церемонию, требовались поистине героические усилия. Весь день мы с Джимом бегали по городу, смеялись, чуть не плакали, тревожно советовались друг с другом, а затем устремлялись (с готовым сарказмом на устах) к модистке, задержавшей шляпку, на шхуну или в контору Джона Смита, а на каждом втором углу нами же выпущенные огромные афиши напоминали нам о нашем отчаянном положении. И все же я улучил время посетить полдюжины ювелирных лавок, и выбранный мной подарок был принят очень мило. Кажется, покупка подарка была последней (хотя отнюдь не наименьшей) из моих забот, перед тем как старого священника, добродушного старичка, извлекли из его дома и привели в нашу контору, словно дрессированного пуделя. И там, в сгущающихся сумерках, под холодным блеском двухсот бутылок «Тринадцати звездочек», рядом с пестрым великолепием сельскохозяйственной машины, Мэйми и Джим соединились навек.

Хотя обстановка была более чем неподходящая, сама церемония показалась мне очень милой и трогательной машинистки, сияя улыбками, держали чудесные букеты, Мэйми скромно потупляла глаза, а Джим… как я могу описать бедного преображенного Джима? Он начал с того, что отвел священника в дальний угол конторы. Не знаю, о чем шла речь, но у меня есть основания полагать, что он объявлял себя недостойным такого счастья. Разговаривая со священником, он плакал, а тот растроганно утешал и ободрял его, и я слышал, как он произнес следующее: «Уверяю вас, мистер Пинкертон, что не много найдется людей, которые имели бы право сказать о себе это…» Отсюда я сделал вывод, что мой друг, осыпая себя обвинениями, позволил себе по крайней мере одну законную похвальбу. Затем Джим подошел ко мне, и, хотя у него хватило сил только назвать меня по имени и стиснуть мою руку, он заразил своим волнениям и шафера.

Наконец брачная церемония началась. Джим был просто в экстазе. Даже священник проникся к нему глубочайшей симпатией и закончил службу небольшой теплой речью, в

которой поздравил Мэйми с чудесным мужем и заявил, что ему редко приходилось сочетать браком более интересную пару. В эту самую минуту к довершению общей радости в контору была доставлена карточка Дугласа Лонгхерста с поздравлениями и ящик с четырьмя дюжинами шампанского. Одну из бутылок откупорили немедленно, священник провозгласил тост за новобрачную, подружки после жеманных отнекиваний согласились отпить вина, после чего я, в свою очередь, произнес веселый тост. Но бедняге Джиму не пришлось попробовать шампанского: улучив момент, я шепнул ему:

— Не пей! Ты так взволнован, что сразу станешь пьян как сапожник.

И, пожав мне руку, Джим шепнул в ответ:

— Спасибо, Лауден! Ты снова меня спас!

Затем мы с несколько судорожной веселостью поужинали в ресторане Фрэнка, откуда, захватив двадцать бутылок шампанского (больше я взять отказался), отправились в извозчичьей карете на «Нору Крейн»

— Ах, какой милый кораблик! — воскликнула Мэйми, увидев шхуну, и затем повернулась к шаферу. — И как вы храбры, мистер Додд! — воскликнула она. — На такой крохотной скорлупке отправиться далеко в океан! — И я заметил, что ее мнение обо мне заметно улучшилось.

На «милом кораблике» царил ужасный беспорядок, а все его обитатели валились с ног от усталости и были настроены чрезвычайно кисло. Кок расставлял в кладовой консервы, и четыре угрюмых матроса, обливаясь потом, перебрасывали их по цепочке со шкафута. Джонсон клевал носом, сидя у стола, а капитан, лежа на койке в своей каюте, угрюмо курил сигару.

— Вот что, — сказал он, вставая, — зря вы сюда пожаловали. Раз нам завтра отплывать, мы не можем прервать работу, и вообще на корабле, готовящемся к отплытию, не место посторонним. Вы только помешаете матросам.

Я собирался было ответить что-то резкое, но Джим, хорошо знавший подобных людей, — ему не раз приходилось иметь с ними дело, — поспешил пролить масло на бушующие поды.

— Капитан, — сказал он, — я знаю, что мы здесь всем мешаем и что вам сейчас не до нас, но мы просто хотели попросить вас выпить с нами стакан шампанского, которое прислал Лонгхерст, чтобы отметить мою свадьбу и отъезд Лаудена… мистера Додда.

— Ну, дело ваше, — сказал Нейрс, — полчаса, конечно, роли не играют. Эй вы, шабаш! — крикнул он матросам. — Полчаса можете отдыхать, но только чтоб потом дело шло живее. Джонсон, поищите-ка стул для дамы!

Тон его был столь же нелюбезен, как и его слова, ню когда Мэйми подняла на него свои сияющие глаза, сообщила ему, что он первый настоящий морской капитан, с которым ей довелось познакомиться, выразила восторг перед его отвагой и каким-то необъяснимым образом дала ему понять, что находит его внешность красивой и мужественной, наш медведь постепенно смягчился и принялся перечислять неприятности этого дня, словно извиняясь за свое дурное настроение.

— Черт знает что такое! — сказал он. — Половина припасов никуда не годится. Джон Смит дождется, что я сверну ему шею. Затем явились два негодяя-газетчика и пытались взять у меня интервью, пока я не пригрозил изукрасить их так, что родная мать не узнает. Потом приполз какой-то миссионер, предлагая бесплатно свои услуги в качестве матроса, чтобы мы отвезли его на Раиатэа или куда-то там еще… Я пообещал ему хорошего пинка, и он ушел, ругаясь на чем свет стоит. Так бы я и позволил ему портить вид моей шхуны.

Пока капитан произносил эту речь, где юмор так странно сочетался с самомнением, я заметил, что Джим смотрит на него внимательным, оценивающим взглядом, словно на что-то интересное, но давно знакомое.

— На одно слово, Лауден, — сказал Джим, неожиданно повернувшись ко мне, и, когда мы вышли на палубу, продолжал: — Он всегда будет стараться настоять на своем, но ты, пожалуйста, с ним не спорь. Я знаю эту породу: он скорее умрет, чем кого-нибудь послушается, а если ты его разозлишь, он растопчет тебя. Я редко навязываюсь с советами, Лауден, и только когда твердо знаю, что говорю.

Столь неудачно начавшаяся беседа благодаря смягчающему влиянию шампанского и присутствию женщины стала гораздо дружелюбнее и оживленнее. Мэйми в великолепной широкополой шляпе и в шелковом пунцовом платье казалась на фоне убогой каюты настоящей королевой. Беспорядок вокруг подчеркивал ее свежесть и аккуратность, неуклюжий Джонсон оттенял ее хрупкое изящество, и она сияла в этой жалкой каморке, как звезда, так что даже я, не принадлежавший к числу ее поклонников, почувствовал легкое восхищение. А капитан, который отнюдь не был дамским угодником, предложил, чтобы я увековечил эту сцену своим карандашом.

Как я ни торопился, прошло около полутора часов, прежде чем мой рисунок был закончен: портрет Мэйми был отделан во всех деталях, а изображения остальных только набросаны, в том числе на заднем плане — изображение самого художника, которое было найдено очень похожим. Но больше всего Мэйми понравился ее собственный портрет.

— Ах! — воскликнула она. — Неужели я действительно такая? Неудивительно, что Джим… — Она запнулась и закончила, перефразируя строку известных стихов: — Портрет так же прелестен, как Джим хорош.

Мы все засмеялись, и вскоре уже прощались с ней и Джимом, и смотрели им вслед, когда они проходили по освещенной фонарями пристани.

Так мы расстались среди шуток и смеха. И я осознал, что произошло, только когда все было кончено. Фигуры новобрачных исчезли в вечернем сумраке, их шаги замерли, на борту шхуны матросы снова взялись за работу, а капитан — за свою сигару, и после долгого дня, заполненного самыми разнообразными делами и чувствами, я наконец остался наедине с собой. У меня было очень тяжело на сердце, но, возможно, это объяснялось усталостью. Я стоял, облокотившись о борт, глядел то на затянутое облаками небо, то на отражение фонарей, дрожащее в волнах, и чувствовал себя как человек, утративший всякую надежду и мечтающий о могиле, словно о спокойном приюте. Но тут я вдруг подумал о «Городе Пекине», приближающемся со скоростью тринадцати узлов к Гонолулу, с ненавистным Трентом (а может быть, и с таинственным Годдедаалем) на борту. И при этой мысли кровь закипела у меня в жилах. Мне показалось, что нам ни за что их не опередить — ведь мы до сих пор стоим у причала и занимаемся какими-то глупыми консервами, теряя драгоценные минуты! Ну, пусть они доберутся туда первыми, пусть! Мы тоже туда явимся!.. Я считаю, что в этот миг круг моего жизненного опыта замкнулся — я с радостью подумал о возможном кровопролитии, и больше мне испытать было нечего.

Кроме того, еще одна мысль радовала меня. Я понял, что моему другу удалось меня воспитать, что романтика делового предприятия (если только наша нелепая покупка заслуживала такого названия) опьянила мою душу дилетанта, и кровь янки в моих жилах ликовала и пела, пока мы выходили через бурлящий пролив из бухты.

Прошло много времени, прежде чем работа кончилась и я смог лечь. Но и потом сон продолжал бежать моих глаз, а едва я заснул, как (по крайней мере так мне показалось) был уже разбужен криками матросов и скрипом натянувшихся канатов.

Мы отчалили прежде, чем я успел выйти на палубу. В туманном предрассветном сумраке я увидел впереди дым и огни буксира, который выводил нас из гавани, и услышал, как он, пыхтя, режет крупную зыбь бухты. Над нами, окутанный туманом, лежал на холмах СанФранциско, сверкая огнями. Мне показалось странным, что фонари еще не погашены, —

ведь без них, только при бледном свете зари, я сумел узнать одинокую фигуру, стоящую у причала.

А может быть, я узнал ее не глазами, а сердцем, эту смутную фигуру на темной пристани? Не могу сказать, но, во всяком случае, это был Джим — Джим, пришедший проститься со мной. Мы успели только помахать друг другу рукой на прощание, он что-то крикнул, но я не разобрал, что. Так мы расстались во второй раз, но теперь наши роли переменились: я должен был ускорять ход событий, планировать, добиваться цели, быть может, ценой жизни, а ему пришлось остаться дома, считать дни и ждать.

Когда мы вышли в открытый океан, оказалось, что еще дует свежий северо-восточный бриз. Мы поспели вовремя. Солнце едва появилось над горизонтом, когда буксир, сбросив канат, отсалютовал нам тремя гудками и повернул назад к берегу, озаренному первыми лучами нового дня. «Нора Крейн», подняв все паруса, начала свое долгое плавание к выброшенному на мель бригу.

ГЛАВА XII
«НОРА КРЕЙН»

Я люблю вспоминать приятное однообразие плавания по Тихому океану, когда дует ровный и сильный пассат и корабль дни и ночи летит вперед, не замедляя хода. Громоздящиеся горы пассатных облаков, которыми можно любоваться (а я к тому же и писал их) при любой прихотливой игре света, когда они закрывают звезды, когда купаются в ярком блеске луны, когда они темной грядой перерезают горизонт, пылающий на западе багряными огнями заката, и, наконец, когда они в полдень вздымают свои снежные вершины между синим сводом небес и синим простором океана. Неторопливая жизнь маленького хлопотливого мирка шхуны, такая незнакомая и интересная: ловля дельфинов гарпуном с бушприта, священная война с акулами, кок, месящий тесто у главного люка, взятие рифов на парусах перед налетающим шквалом; самый шквал, когда падает сердце и словно все хляби небесные обрушиваются на шхуну, а когда он проносится — неизъяснимая радость, обновленная прелесть океана, над которым снова сияет солнце, а наш побежденный враг — уже только пятнышко с подветренной стороны. Я люблю вспоминать эту жизнь, и как хотелось бы мне точно восстановить все незабываемое и уже давно забытое! Память, столь мудро отказывающаяся регистрировать боль, в то же время не сохраняет для нас и пережитого удовольствия, если оно длилось долго. Мы просто смутно помним чтото приятное, окутанное розоватой дымкой, и все.

Но в одном блаженном воспоминании я уверен. Термометр виноторговца в позолоченной солнцем каюте день за днем показывал двадцать восемь градусов, день за днем воздух сохранял все ту же животворность и нежность — он был прохладен и сладок, как напиток здоровья. День за днем сияло солнце, ночь за ночью светила луна или мерцали мириады звезд. Я замечал в себе какую-то перемену, обновление всего моего организма.

У меня было такое ощущение, словно я наконец нашел себе климат по сердцу, и я с жалостью вспоминал ту промозглую сырость, которая почему-то называется умеренным климатом.

— Два таких года, хорошее местечко на каком-нибудь острове — и человек совсем размягчается, — как-то сказал капитан. — Он уже нигде больше счастлив быть не может. Вот так и произошло с одним моим земляком. У них на корабле случился пожар, и он выбрался на один из островов архипелага Навигаторов. Потом он мне писал, что не покинет этого острова, пока жив. А ведь он из богатой семьи, у его отца есть свои корабли. Но Билли предпочитает валяться на песке и есть горячие булочки с хлебных деревьев.

Внутренний голос шепнул мне, что я могу разделить судьбу Билли. Но не помню, когда это было. К острову Мидуэй мы шли северным курсом, и, возможно, я бессознательно распространил на все плавание впечатление от нескольких дней, а может быть, это чувство возникло во мне много позже, когда мы уже направлялись к Гонолулу… Но в одном я уверен:

я проникся преданной любовью к Южным Морям задолго до того, как увидел хотя бы один из их островов, достойный этого названия. Под таким синим небом не может надоесть даже однообразие океана, и нет на земле места лучше палубы шхуны, там, где дуют пассаты.

Если бы не постоянная тревожная мысль о том, что ждет нас, когда плавание кончится, само плавание было бы чудесным отдыхом. Я чувствовал себя великолепно; облака и волны давали достаточно материала для моего альбома, а кроме того, у меня было и другое развлечение — я изучал противоречивый характер моего друга капитана. Я уже называю его другом, хотя тогда до этого было еще далеко. В те дни меня слишком ужасало то, что я считал его варварством, слишком озадачивала изменчивость его настроений, слишком раздражали довольно безобидные проявления его тщеславия, чтобы я мог смотреть на него иначе, как на свой тяжкий крест. И только постепенно, в те редкие часы, когда он бывал в хорошем расположении духа, когда он словно забывал (и заставлял забывать меня) о своих недостатках, во мне начинало просыпаться чувство, похожее на привязанность. В конце концов я понял, что эти недостатки — как диссонансы в музыкальном произведении. Я принял их и стал даже находить их интересными — так мы восхищаемся дымящейся вершиной вулкана или густыми зарослями на топком болоте.

Капитан происходил из хорошей семьи. Он родился в Восточных штатах и учился в прекрасной школе. Однако с самого детства он был вспыльчив и необыкновенно упрям (весьма возможно, что эти качества он унаследовал от своего отца, и в его разрыве с семьей виноват, вероятно, не он один) и, поссорившись с родными, стал юнгой. На корабле с ним обращались ужасно, но это не заставило его раскаяться в своем решении, а только ожесточило: он сбежал с этого корабля в одном из южноамериканских портов, занялся там какой-то торговлей и, хотя был еще совсем мальчиком, нажил порядочные деньги, попал в дурную компанию, был дочиста ограблен, попросился на корабль матросом без жалованья с тем только, чтобы снова вернуться на родину, и в одно прекрасное утро постучался в дверь старушки соседки, у которой в детстве воровал в саду яблоки. Казалось бы, его появление должно было доставить ей мало удовольствия, но Нейрс знал, что делает. Увидев перед собой своего былого врага в лохмотьях, изможденного, старая дева растрогалась.

— Я всегда питал слабость к этой старушке, — сказал Нейрс. — Даже когда она метлой выгоняла меня из своего сада или сердито грозила мне пальцем в наперстке, стоило мне пройти мимо ее окошка. Я всегда считал, что она старуха добрая. Ну, когда она мне открыла дверь в то утро, я так ей это и сказал и еще сказал, что я совсем на мели. А она меня сразу провела в комнату и стала угощать пирогом.

Она одела его, платила за его обучение и снова отправила в море, а потом приветливо встречала при возвращении из каждого плавания и, когда умерла, оставила ему все свое имущество.

— Очень она была добрая, — говорил он. — И знаете, мистер Додд, ужасно смешно это было, — когда мы с ней гуляли по ее саду, а мой старик хмурился на нас через забор. Она же была его соседкой, и, наверное, потому-то я к ней и пришел, Я хотел, чтобы он знал, до чего мне скверно и что я все-таки скорее обращусь за помощью к черту, чем к нему. А ему это было еще неприятнее, потому что он в свое время с ней рассорился из-за меня и из-за яблок, и теперь он бесился дальше некуда. Да, я в молодости был порядочной свиньей, но старушку мою никогда не обижал.

Постепенно он стал знающим и опытным моряком. Наследство ему досталось во время плавания на «Жнеце», и теперь, как только улягутся разговоры, вызванные капитаном этого судна, он должен был получить под свою команду корабль. Ему было около тридцати лет. Он производил впечатление человека очень сильного и подвижного. Глаза у него были синие, густые каштановые волосы росли низко надо лбом, а его энергичный подбородок всегда был чисто выбрит. Он неплохо пел, неплохо играл на любимом инструменте моряков — аккордеоне, был находчив в споре и очень наблюдателен, когда хотел, умел быть необыкновенно любезным

и милым, а порой становился настоящим зверем. Его обращение с командой, его издевательства, ругань и постоянные придирки могли бы, кажется, заставить взбунтоваться даже галерных рабов. Предположим, рулевой на что-нибудь загляделся. «Ах ты… голландец[18] — голодранец! — рявкал Нейрс. — Вот дам тебе хорошего пинка, так будешь знать, как глазеть по сторонам! А ну, смотри на компас, не то плохо тебе придется!» Или, предположим, какой-нибудь матрос задержался на корме, куда его за чем-нибудь вызвали. «Мистер Дэниэлс, не сделаете ли вы мне большое одолжение, отойдя от мачты? — начинал капитан с насмешливой вежливостью. — Благодарю вас. И, может быть, вы будете так добры сказать мне, какого черта вас сюда занесло? Я не хочу, чтобы здесь околачивались олухи вроде вас! Вам что, нечем заняться? Обратитесь к помощнику. Лучше не ждите, чтобы я сам нашел вам работу, а не то две недели проваляетесь в лазарете».

Подобные высказывания, тем более обидные, что капитан знал все слабые места своей жертвы и умел этими знаниями пользоваться, произносились таким грозным голосом и сопровождались такими яростными взглядами, что несчастного матроса начинала бить дрожь; Очень часто за подобной речью следовал удар кулаком, и у меня вся кровь вскипала при виде такого трусливого нападения — ведь матрос не мог ответить тем же, потому что это было бы тяжелым преступлением, за которое ему пришлось бы отвечать по закону. Он вставал с палубы и, пошатываясь, уходил в кубрик, испытывая, вероятно, жгучую ненависть к своему обидчику.

Может показаться странным, что я начал питать дружеские чувства к этому тирану. Может показаться еще более странным, что я оставался спокойным зрителем и не пытался положить конец подобным сценам. Однако я был не настолько глуп, чтобы вмешиваться на людях: ведь это могло привести к тому, что половина из нас погибла бы во время мятежа, а вторая половина отправилась бы на виселицу. Уж лучше пусть будет избит один человек, рассуждал я. Впрочем, когда мы оставались наедине, я не переставая спорил с ним.

— Капитан, — сказал я ему однажды, взывая к его патриотизму, потому что он считал себя патриотом, — разве можно так обращаться с американскими моряками? Неужели это по-американски — смотреть на матросов, как на собак?

— Американцы? — повторил он угрюмо. — По-вашему, все эти голландцы и черномазые итальяшки — американцы? Вот уже четырнадцать лет, как я плаваю по морям и — за одним исключением — всегда под американским флагом, и я еще ни разу не видел матросаамериканца. А с этой швалью надо держать ухо востро. Если их распустить, того и гляди, получишь нож в спину или упадешь за борт темной ночью. Нет, единственный способ держать команду в руках — это нагнать на нее страх.

— Но послушайте, капитан, — сказал я, — всему есть мера. У американских кораблей такая скверная репутация, что, если бы не большое жалованье и приличная еда, ни один матрос не пошел бы служить на них. Даже и так многие предпочитают английские корабли, хоть там и платят меньше и кормят скверно.

— А, лимонщики? — сказал он. — Они тоже матросам спуску не дают, хоть и попадаются среди них тюфяки. — Тут он улыбнулся как человек, вспомнивший чтото смешное, и продолжал: — Вот я вам сейчас кое-что расскажу, хоть, может, это и не в мою пользу. В 1874 году нанялся я помощником на английский корабль «Мария», отправлявшийся из Фриско в Мельбурн. Такой странной посудины я с тех пор никогда не видывал. Еда такая, что в рот не положишь, и все сдобрено лимонным соком. Когда я смотрел, что ела команда, меня тошнило, да и собственный обед аппетита не вызывал. Капитан был ничего себе, кроткий такой старикашка, по фамилии Грин. Но команда — сброд сбродом. А когда я пытался привести матросов в человеческий вид, капитан всегда становился на их сторону! Но будьте уверены, я никому не позволю мной командовать! «Отдавайте мне распоряжения, капитан Грин, — сказал я, — и я их выполню, а остальное вас не касается. Свои обязанности я буду выполнять, а уж как — это мое дело, и ничьих поучений мне не требуется». Ну, конечно, старик озлил меня и озлил всю команду. И мне приходилось драться чуть ли не каждую вахту. Матросы меня так

возненавидели, что зубами скрипели, когда я проходил мимо. Както раз гляжу, скотина-голландец избивает юнгу. Я подо шел и сшиб мерзавца с ног. Он вскочил, а я его опять уложил. «Ну, — говорю, — хочешь еще? Только скажи, и я тебе все ребра переломаю!» Но он остался лежать смирнехонько, точно поп на похоронах. Так его и вниз унесли — пусть себе думает про свою Голландию. Как то ночью на двадцать пятом градусе южной широты попали мы в шквал Наверное, мы все спали, потому что не успел я сообразить, в чем дело, как у нас сорвало фор-брамсель. Кинулся я на нос, ругаюсь — небу жарко, а когда пробегал мимо фок-мачты, что-то свистнуло у меля над ухом и вонзилось в плечо. Гляжу — а это нож! Негодяи подкололи меня, как свинью. «Капитан!» — кричу я. «В чем дело?» — спрашивает он. «Они меня подкололи», — говорю я. «Подкололи? — спрашивает он. — Ну, я этого давно ждал». «А, черт побери! — кричу я. — Я сведу с ними счеты!» «Вот что, мистер Нейрс, — говорит он, — идите-ка вы к себе в каюту. Будь я на месте матросов, вы бы так дешево не отделались. И попрошу вас больше на палубе не ругаться. Вы и так уж обошлись мне в фор-брамсель». Вот так старик Грин стоял за своих офицеров! Но вы погодите, ягодки еще впереди. Пришли мы в Мельбурн, старик и говорит: «Мистер Нейрс, мы с вами не сработались. Моряк вы первоклассный, с этим никто не спорит, но — такого неприятного человека мне еще встречать не приходилось, а вашу ругань и обращение с командой я больше терпеть не намерен. Нам лучше расстаться». Уйти-то я был рад, только я на него озлился и решил отплатить ему за его подлость тем же. Ну, я сказал, что пойду на берег и осмотрюсь, Съездил я на берег, навел справки — вроде все хорошо складывается, вернулся опять на «Марию» и поднялся на мостик. «Ну как, думаете укладывать ваш багаж, мистер Нейрс?» — спрашивает старик. «Нет, — говорю, — пожалуй, до Фриско мы с вами не расстанемся. Хотя это вам решать: я-то рад уйти с „Марии", да не знаю, захотите ли вы выплатить мне за три месяца вперед по договору». Он тут же полез за деньгами. «Сынок, — говорит, — это, — говорит, — еще дешево!» Так он меня опять поддел.

Странный это был рассказ, особенно если вспомнить, о чем мы вели спор, но он вполне отвечал характеру Нейрса. Стоило мне высказать какой-нибудь убедительный довод, стоило мне справедливо осудить какие-нибудь его поступки или слова, как он подробно записывал мои возражения в свой дневник (который мне довелось прочесть впоследствии), причем указывал, что я был прав. Точно так же, когда он говорил о своем отце, которого ненавидел, он старался быть к нему справедливым, что производило даже трогательное впечатление. Больше мне не доводилось встречать человека с таким странным характером — столь внутренне справедливого и столь обидчивого, причем обидчивость всегда брала верх над чувством справедливости. Такой же странной была его храбрость. Он любил бороться с опасностью, она никогда не заставала его врасплох. И в то же время мне не доводилось встречать человека, который с таким постоянством ожидал бы дурных последствий когда угодно и от чего угодно, особенно если дело касалось моря. Храбрость была у него в крови не только охлажденной, но просто замороженной дурными предчувствиями. Во время шквала он ставил нашу скорлупку боком к ветру и черпал бортом воду до тех пор, пока я не решал, что пришел мой последний час, а матросы без команды бросались на свои места. «Ну вот, — заявлял он. — Наверное, тут не найдется человека, который был бы способен продержать ее так дольше, чем я: больше они уже не станут хихикать, будто я ничего не понимаю в шхунах. Бьюсь об заклад, ни один капитан этой лохани, будь он пьян или трезв, не сумел бы продержаться так долго на критическом крене». И тут же он принимался каяться и жалеть, что вообще ввязался в это плавание, а затем подробно расписывал коварство океана, ненадежность оснастки любой шхуны (терпеть он шхун не может!), бесчисленные способы, какими мы могли отправиться на дно, и внушительные флотилии кораблей, которые уходили в плавание на протяжении истории, скрывались из глаз наблюдателей и более не возвращались в родной порт. «Ну, да важность какая! — заканчивал он обычно свои тирады. — И для чего житьто? Конечно, будь мне сейчас лет двенадцать, да сиди я на чужой яблоне и угощайся чужими яблоками, я бы так не говорил. А эта взрослая жизнь — чепуха, и больше

ничего: моряцкое дело, политика, святошество и все прочее. Куда лучше спокойно утонуть!» Каково было выслушивать все это бедной сухопутной крысе в бурную ночь? Просто невозможно придумать что-нибудь менее подобающее моряку (как мы воображаем моряков и какими они обычно бывают), чем эти постоянные минорные рассуждения. Эту сторону его характера я успел основательно изучить еще до конца нашего плавания.

Утром на семнадцатый день после нашего отплытия из Сан-Франциско, выйдя на палубу, я обнаружил, что на парусах взяты двойные рифы и что все-таки шхуна стремительно несется по довольно бурному морю. До сих пор нашим уделом были ровные пассаты и гудящие, туго надутые ветром паруса. Теперь, когда мы приближались к острову, мне все труднее становилось сдерживать мое волнение, и уже несколько дней больше всего меня интересовали показания лота, результаты ежедневных определений широты и долготы и прокладка нашего пути на карте. И на этот раз я немедленно посмотрел на компас, а затем — на лот. Лучшего я не мог бы пожелать: мы шли точно по курсу, и начиная с девяти часов предыдущего вечера шли со скоростью не меньше восьми узлов. Я даже вздохнул от удовольствия. Но тут какой-то неприятный зимний облик моря и неба заставил мое сердце похолодеть. Мне показалось, что шхуна выглядит особенно маленькой, а матросы угрюмо молчат и с опаской поглядывают на облака. Нейрс был в скверном настроении и даже не кивнул мне. Он тоже, казалось, следил за ходом корабля внимательно и тревожно. Еще больше меня смутил тот факт, что у штурвала стоял сам Джонсон и что он то и дело перекладывал его, часто с видимым усилием, а когда время от времени оглядывался через плечо на вздымающиеся за нами черные валы, то, словно человек, уклоняющийся от удара, втягивал голову в плечи.

Я понял, что все идет не так, как следовало бы, и не пожалел бы горсти долларов за ясные и прямые ответы на вопросы, которые не осмеливался задать. Рискни я заговорить с капитаном, невзирая на его нахмуренные брови, я услышал бы только, что суперкарго (это мое звание поминалось только в минуты раздражения) лучше всего сидеть в каюте и не высовывать носа на палубу. Поэтому мне оставалось только по мере сил бороться со своими смутными страхами, пока капитан не соблаговолит по собственному почину объяснить, что происходит. Ждать мне этого пришлось не так уж долго. Едва кок позвал нас к завтраку, и мы уселись за узким столом друг против друга, как Нейрс сказал, бросив на меня странный взгляд:

— Видите ли, мистер Додд, у меня к вам небольшое дельце. Последние два дня ветер все свежел и развел большую волну. Барометр падает, ветер продолжает свежеть, и можно ждать бури. Если я положу шхуну по ветру, то нас унесет бог знает куда. А если я буду продолжать идти по курсу, то мы дойдем до острова завтра днем и сможем укрыться в лагуне или с его подветренной стороны. А решать вам надо вот что: предпочтете ли вы рискнуть, чтобы капитан Трент опередил вас, или вы предпочтете рискнуть шхуной. Мне было сказано: управлять кораблем так, чтобы вы были довольны, — прибавил он, злобно усмехнувшись. — Ну, так вот вопрос, который должен решать суперкарго.

— Капитан, — ответил я, холодея от страха, — лучше риск, чем верная неудача.

— Жизнь — это сплошной риск, мистер Додд, — ответил он. — Но учтите, что решать надо немедленно: через полчаса даже сам господь бог не сможет положить шхуну по ветру.

— Хорошо, — сказал я, — идем к острову.

— К острову так к острову, — ответил он и принялся за еду.

Все эти роковые полчаса он с аппетитом жевал мясной пирог и выражал горячее желание снова оказаться в Сан-Франциско.

Когда мы вышли на палубу, он сменил Джонсон, — у штурвала — в такую погоду они боялись доверить штурвал матросам, — а я стал рядом с ним, потому что от его соседства мне было как-то спокойнее. Картина разбушевавшейся стихии, так же как и принятое мною решение, возбуждала во мне восторг, смешанный со страхом. Ветер так пронзительно свистел

в снастях, что у меня порой душа уходила в пятки. Огромные валы били в борт и захлестывали палубу. Пришлось задраить люки.

— И мы должны терпеть все это ради долларов мистера Пинкертона! — неожиданно воскликнул капитан. — Сколько бравых моряков погибло в волнах, мистер Додд, из-за дельцов вроде вашего друга. Разве они боятся потерять корабль или два? Ведь корабли-то застрахованы. А что для них жизнь команды по сравнению с двумя-тремя тысячами долларов! Им нужна только скорость да дурак капитан, который поведет судно на верную гибель, как сейчас делаю я, и хоть убейте, не знаю, зачем я вообще согласился.

Я ушел подальше от кормы настолько поспешно, насколько позволяла вежливость. От этого разговора мне стало еще больше не по себе, и он натолкнул меня на множество неприятных мыслей. Я рисковал собственной жизнью и подвергал опасности жизнь еще семи человек, а с какой целью? Ради довольно большого количества смертоносного яда. Другого ответа не было. И я подумал, что если мифы о загробной жизни окажутся правдой, то, представ сейчас перед вечным судией, я едва ли найду себе какое-нибудь оправдание. «Ну ничего, Джим, — подумал я, — это все ради тебя».

Около одиннадцати часов на гроте был взят третий риф, и Джонсон, расстелив на мокром полу каюты штормовой грот, начал вместе с двумя матросами быстро приводить его в порядок.

К обеду я ушел с палубы и пристроился на койке, отупев от головокружения и ужаса. Бедная «Нора Крейн» прыгала и металась по волнам, словно олень, убегающий от собак, и я, ударяясь то о стол, то об угол койки, скоро весь покрылся синяками. Над головой дико ревела охотиница-буря, выл ветер, скрипел корпус шхуны, хлопали паруса, гремели о борта волны; а порой, мнилось мне, перекрывая этот шум, раздавался почти человеческий голос, подобный рыданию ангела — я знал имя этого ангела, знал, что крылья его черны. Казалось, никакое создание рук человеческих не выдержит безжалостной хватки моря, которое швыряло шхуну с одной водяной горы на другую, сотрясая ее до самого киля, как ребенка на дыбе. Казалось, каждая досочка на ней молит о пощаде, но тем не менее шхуна продолжала храбро бороться с волнами, и я почувствовал большую симпатию к ней и все усиливающееся восхищение перед ее мужеством и упорством. Эти мысли отвлекали меня, и я порой забывал о грозящей мне смерти. Какую благодарность испытывал я к плотникам, создавшим такой маленький и такой крепкий корабельный корпус! Они трудились не только ради денег — они помнили, что от них зависит спасение человеческих жизней.

Остаток дня и всю ночь я просидел или пролежал не смыкая глаз на своей койке, а на рассвете новая тревога опять погнала меня на палубу. Этот вечер и эта ночь были, пожалуй, самыми мрачными в моей жизни. Джонсон и Нейрс продолжали сменять друг друга у штурвала, и тот, кто освобождался, приходил в каюту. Не успев войти, они оба смотрели на барометр, затем, хмурясь, принимались постукивать по стеклу — барометр продолжал непрерывно падать. Затем, если это был Джонсон, он брал из буфета бутерброд и, стоя у стола, принимался жевать его, иногда обращаясь ко мне с каким-нибудь шутливым замечанием вроде: «Ну и холодина же на палубе, мистер Додд!» Это сопровождалось усмешкой. Или: «Уж поверьте, такая ночка не для тех, кто ходит в пижамах». А затем он кидался на свою койку и крепко спал положенные ему два часа перед следующей вахтой.

Но капитан не ел и не спал. «Вы здесь, мистер Додд? — спрашивал он, кончив стучать по барометру. — Ну, до острова сто четыре мили (или сколько там оставалось), и летим мы как бешеные. Будем там завтра в четыре часа, а может быть, и нет. Это уж как случится. Вот и все, что есть новенького. А теперь, мистер Додд, вы же видите, как я устал, так что ложитесь-ка снова на вашу койку». После этой любезности он крепко прикусывал свою сигару и следующие два часа сидел, глядя на качающуюся лампу сквозь густое облако табачного дыма. Как-то потом он сказал мне, что это был, л для него очень счастливая ночь, но сам я никогда об этом не догадался бы.

— Видите ли, — объяснил он, — ветер-то был не такой уж сильный, зато волнение ничего хорошего не обещало. Да и шхуна капризничала. А барометр показывал, что мы где-то недалеко от центра урагана, и нельзя было сказать, удаляемся мы от него или мчимся в самое пекло. Ну, а в таких случаях чувствуешь себя как-то по-особому торжественно и словно сам себе больше нравишься. Так уж странно мы устроены, мистер Додд.

Утро занялось зловеще ясное. Воздух был пугающе прозрачен, небо чисто, и край горизонта четко выделялся в синей дали. Ветер и бушующие волны, успевшие за ночь стать еще огромнее, по-прежнему обрушивались на шхуну. Я стоял на палубе, задыхаясь от страха. Мне казалось, что руки и ноги меня не слушаются. Когда шхуна скатывалась в узкую ложбину между двумя пенистыми горами, колени у меня подгибались, как бумажные, и я совсем терял голову от ужаса, когда какаянибудь из этих черных гор обрушивалась на наш борт и я оказывался в воде чуть ли не по пояс.

Все это время я испытывал только одно сильное желание: ничем не выдать охватившего меня ужаса и любой ценой вести себя достойно, какая бы опасность ни грозила моей жизни. Как сказал капитан, «так уж странно мы устроены». Настало время завтрака, и я заставил себя выпить немножко горячего чаю. Затем меня послали вниз посмотреть, который час, и, глядя на хронометр слезящимися глазами, я никак не мог понять, какой смысл определять местоположение шхуны, когда она несется неизвестно куда среди бушующих волн. Утро тянулось нескончаемо в монотонном однообразии вечной опасности. И каждый поворот штурвала был так же рискован и так же необходим, как прыжок пожарного внутрь охваченной огнем комнаты.

Настал полдень. Капитан определил долготу и широту и проложил пройденный нами путь на карте с педантичной точностью, которая вызвала во мне насмешливое чувство, смешанное с жалостью: ведь очень возможно, что в дальнейшем эту карту увидят только глаза любопытных рыб. Прошло еще два часа. Капитан совсем помрачнел, и видно было, что он с трудом сдерживает раздражение и тревогу. Я не позавидовал бы матросу, который решился бы в эту минуту ослушаться его.

Неожиданно он повернулся к Джонсону, стоявшему у штурвала.

— Два румба право по носу, — пробормотал он, беря штурвал.

Джонсон кивнул, вытер глаза тыльной стороной своей мокрой руки, выждал минуту, когда шхуна поднялась на очередную волну, и, уцепившись за ванты, полез на грот-мачту. Я смотрел, как он взбирается все выше и выше, замирая, когда шхуна ныряла с гребня волны, и используя каждое мгновение относительного затишья. Наконец, добравшись до реи и обхватив одной рукой мачту, он стал всматриваться в горизонт на югозападе. Еще через мгновение, скользнув вниз по бакштагу, он уже встал на палубу и, ухмыльнувшись, утвердительно кивнул, глядя на капитана. Еще одно мгновение — и он уже снова крутил штурвал, а его измученное, покрытое потом лицо расплывалось в улыбке, волосы развевались и полы куртки громко хлопали на ветру.

Нейрс сходил в каюту за биноклем и начал внимательно вглядываться в горизонт. Я последовал его примеру, но только у меня не было бинокля. Мало-помалу в белой пустыне бушующей воды я заметил пятно более густой белизны (небо тоже было туманным и молочнобелым, как во время шквала), а затем я стал различать рев более низкий и грозный, чем завывание бури: громовой грохот прибоя на рифах. Нейрс обтер рукавом бинокль и передал его мне, указав пальцем, куда смотреть. Я увидел бесконечный простор бушующих волн, потом — бледный кружок неба, затем — линию горизонта, изрезанную пенными гребнями волн, и вдруг на одно короткое мгновение, потому что я сразу потерял их из виду, мачты, флаг и разорванный в клочья топсель брига, ради которого мы предприняли этот тяжелый путь и за который так дорого заплатили. Снова и снова я ловил в бинокль его очертания и снова терял их из виду. Земли не было видно. Бриг словно висел между небом и водой, и ничего более

грустного мне не приходилось видеть за всю мою жизнь. Затем, когда мы приблизились к нему, я заметил, что по обеим его сторонам тянется пенная линия прибоя, отмечающая внешний край рифа. Вдоль этой линии висела завеса из брызг, похожая на дым; прибой гремел, как пушечная канонада.

Через полчаса мы подошли почти к самому рифу. Еще примерно полчаса мы шли вдоль него, а затем волнение немного утихло, и шхуна ускорила ход. Это означало, что мы достигли наветренной стороны острова — так из любви к точности назову я это кольцо пены, водяной завесы и грома — и, обогнув подводную скалу, вошли в проход, ведущий в лагуну.

ГЛАВА XIII
ОСТРОВ И РАЗБИТЫЙ БРИГ

Все были охвачены радостью. Она читалась на всех лицах. Джонсон за штурвалом широко улыбался, Нейрс разглядывал план острова, и во взгляде его уже не было ярости, а матросы, столпившись на носу, оживленно переговаривались, указывая друг другу на берег. И неудивительно, ведь мы избежали почти верной гибели, а после долгого плавания среди бескрайней пустыни океана даже такой клочок суши казался необыкновенно заманчивым. Кроме того, по одному из тех злокозненных совпадений, благодаря которому судьба иногда кажется проказливым мальчишкой, чуть только мы оказались в безопасном месте, как буря начала утихать.

Однако едва я избавился от одного страха, как стал жертвой другого. Едва я понял, что скоро мы укроемся в лагуне, как проникся убеждением, что Трент успел там побывать раньше меня. Я взобрался на ванты и стал жадно всматриваться в кольцо кораллового рифа, в пенную полосу прибоя и в глубокую лагуну, которая лежала за ними. В ней уже можно было различить два островка — Мидл-Брукс и Лоуэр-Брукс, как именовались они в справочнике, — две невысокие, поросшие кустарником песчаные полосы около полутора миль в длину, тянущиеся с востока на запад и разделенные узким проливом. Над ними кружили, кричали и хлопали крыльями миллионы морских птиц, белых и черных, причем черные были гораздо крупнее. Вспыхивая в ярком солнечном свете, этот водоворот крылатой жизни непрерывно кружил внутри себя, а потом вдруг взрывался и рассеивался по всей лагуне, и мне невольно вспомнилось то, что я читал о небесных туманностях. Редкое облачко вилось над рифом и внешним морем: пыль от прежних взрывов, решил я. Был и еще один фокус у этого водоворота — несколько в стороне, у самой линии ревущего прибоя, с аккуратно свернутыми парусами (если не считать разорванного в клочья топселя) и с красным флагом английского торгового флота на грот-мачте виднелся «Летящий по ветру», созданный руками стольких тружеников, оставивший след в жизни стольких людей и бороздивший самые дальние уголки океана. Теперь он нашел здесь последнюю стоянку, и океан уже начал разрушать его. И по направлению к нему неслась «Нора Крейн», словно коршун, собирающийся обглодать его кости. Но, как я ни вглядывался вдаль, я не мог заметить никаких признаков присутствия человека. В лагуне не было шхуны из Гонолулу, у борта которой толпились бы наши вооруженные соперники, над островками не вился дымок от костров, где стряпалась бы пища. Казалось, мы все-таки не опоздали, и я глубоко и с облегчением вздохнул.

Однако я пришел к этому приятному убеждению, только когда мы вплотную приблизились к линии прибоя, когда лотовой уже занял свое место на носу, а капитан поднялся на рей фок-мачты, готовясь провести нас по узкому проходу среди коралловых рифов в лагуну. Все обстоятельства нам благоприятствовали: заходящее солнце было позади нас, дул свежий и ровный ветер, а отлив еще не наступил. Еще мгновение — и мы проскользнули между двумя первыми бурунами, лотовой начал промер глубины, капитан принялся выкрикивать четкие слова команды, шхуна стала лавировать среди опасных подводных камней, и вскоре мы уже бросали якорь у северо-восточной оконечности островка МидлБрукс на глубине в пять саженей.

Паруса были свернуты, шлюпки очищены от всевозможного хлама, который набрался в них за время плавания, а палуба убрана — работа эта заняла добрых три четверти часа, и все это время я метался по палубе, как человек, мучимый сильной зубной болью. Переход от бушующего моря к сравнительному спокойствию лагуны странно подействовал на меня. Я не мог ни секунды пробыть в неподвижности. Медлительность матросов, до смерти уставших во время бури, раздражала меня так, словно они притворялись, а резкие крики морских птиц нагоняли на меня тоску, как погребальный звон. С огромным облегчением я наконец спустился в шлюпку вслед за Нейрсом и двумя матросами, и мы поплыли к «Летящему по ветру».

— А жалкий у него вид, — заметил капитан, кивая в сторону разбитого брига, от которого нас отделяло около полумили. — Похоже, что ему не очень-то нравится его стоянка и что капитан Трент не очень-то о нем заботился. Живей, живей, ребята! — прибавил он, обращаясь к матросам. — Вечером я вас всех отпущу на берег. Вы сможете поболтать с чайками и вдоволь напиться морской водицы.

Мы все рассмеялись этой шутке, и шлюпка еще быстрее заскользила по чуть подернутой рябью поверхности лагуны. Хотя «Летящий по ветру» затерялся бы среди морских великанов у пристаней Сан-Франциско, он был раза в три больше «Норы Крейн», и, когда мы подошли к его борту, он показался нам огромным. Бриг лежал, повернувшись носом к рифу, у которого вечно взлетали и падали волны бушующего прибоя, так что, направляясь к его правому борту, мы должны были обогнуть корму. Руль был повернут до отказа влево, и мы без труда прочли надпись:

«ЛЕТЯЩИЙ ПО ВЕТРУ»

Гулль

С правого борта, примерно у конца юта, свисал веревочный трап, и по нему мы поднялись на бриг. Он оказался весьма вместительным кораблем. Приподнятый ют возвышался над палубой примерно на три фута, на носу был небольшой матросский кубрик, а рядом с ним — камбуз. На рубке находилась небольшая шлюпка, а две побольше стояли на ростр-блоках по бокам рубки. И снаружи и внутри бриг был выкрашен белой краской, наиболее подходящей для тропиков, а фальшборт и комингсы люков, как мы узнали позднее, были обведены зеленой каймой. Однако, когда мы поднялись на корабль, эта кайма была совершенно скрыта под густым слоем птичьего помета. Над кораблем кружила туча птиц, а когда мы заглянули в камбуз, нам пришлось отступить — с такой стремительностью вылетели оттуда гнездившиеся там чайки. Это были злые, смелые птицы с сильными клювами, и некоторые черные экземпляры размерами не уступали орлу.

На шкафуте мы заметили несколько бочонков, почти погребенных под мусором; раскопав их, мы обнаружили, что они содержат воду и солонину — очевидно, Трент и его матросы уже готовили провизию, чтобы добраться до Гонолулу в шлюпках, когда на горизонте неожиданно показалась «Буря». Больше ничего примечательного на палубе не было, если не считать снастей, оборвавшихся там, где по ним бил топсель, и теперь висевших запутанным клубком и гудевших в постепенно затихающем ветре.

Охваченные какой-то странной робостью, словно в присутствии смерти, мы с Нейрсом спустились по винтовому трапу внутрь корабля и оказались перед переборкой, делившей ют на две части. В первом помещении хранились различные запасы и находились две койки — по мнению Нейрса, кока и второго помощника. Дальняя часть служила кают-компанией и имела форму подковы (она была расположена в самой корме), у левого борта помещалась кладовая и каюта старшего помощника, а у правого — капитанская каюта и туалет. В эти помещения мы

только заглянули — больше всего нас интересовала кают-компания. В ней царил полумрак — световой люк был покрыт слоем пыли и птичьего помета, — стоял тяжелый и душный запах, и всюду жужжали рои мух. Меня удивило их присутствие на атолле Мидуэй, поскольку я считал их неизменными спутниками человека и его объедков. Вероятнее всего, какой-нибудь корабль завез их сюда, причем довольно давно, поскольку они успели размножиться в невероятном количестве. Пол был завален беспорядочно разбросанной одеждой и книгами, морскими инструментами и всякими вещами, которые могут быть выброшены из матросских сундучков при внезапной тревоге после нескольких месяцев плавания. Странно было перебирать в этой сумрачной каюте, содрогавшейся от разбивавшегося совсем рядом прибоя и оглашаемой пронзительными криками чаек, запыленные вещи, которыми дорожили какие-то неизвестные нам люди, которые они носили на своих телах: старое, штопаное белье, пестрые пижамы, клеенчатые куртки, плащи, флаконы с духами, вышитые рубахи, куртки из японского шелка, — короче говоря, все виды одежды, от той, в которой выстаивают ночную вахту, и до той, которую носят днем на веранде отеля. А вперемешку с ней валялись книги, сигары, трубки, пачки табака, множество ключей, заржавленный пистолет и дешевые восточные сувениры: бенаресскне бронзовые изделия, китайские кувшинчики, картинки и ящички с завернутыми в вату красивыми раковинами — скорее всего, подарки родным, наверное, жившим в Гулле, откуда был родом Трент, и куда был приписан его корабль.

Осмотрев пол, мы занялись столом, который, очевидно, был накрыт к обеду, потому что на нем стояла корабельная посуда из толстого фаянса с остатками еды: в кружках виднелась кофейная гуща, на блюде лежал поджаренный хлеб, а рядом с ним стояли банки с мармеладом и сгущенным молоком. Красная скатерть около капитанского места была залита чем-то коричневым, очевидно, кофе, а на другом конце стола она была отвернута, и прямо на досках стояла чернильница и лежало перо. Табуреты были отодвинуты от стола так, словно обедавшие кончили есть и курили, болтая между собой; один из табуретов был сломан и валялся на полу.

— Посмотрите, они дописывали журнал, — сказал Нейрс, указывая на чернильницу. — Значит, их застигли врасплох, как это всегда бывает. По-моему, не родился еще капитан, у которого в минуту крушения журнал был бы в порядке. Обычно приходится сразу дописывать за целый месяц, как Чарльзу Диккенсу, который печатал по кусочку романа ежемесячно. Сразу видно, что это лимонщики, — добавил он презрительно, указывая на стол, — мармелад и жареный хлеб для капитана. Фу, гадость!

Эта насмешка над отсутствующими неприятно подействовала на меня. Не могу сказать, чтобы капитан Трент или кто-нибудь из его исчезнувшей команды внушал мне особую симпатию, но унылое запустение этой когда-то обитаемой каюты произвело на меня гнетущее впечатление — смерть творения рук человеческих почти так же печальна, как смерть самого человека, и мне вдруг почему-то показалось, что окружающая меня обстановка хранит воспоминание о страшной трагедии.

— Мне немного не по себе, — сказал я. — Давайте поднимемся на палубу и глотнем свежего воздуха.

— Да, унылое местечко, ничего не скажешь, — кивнул капитан. — Но, прежде чем идти на палубу, хорошо бы отыскать ящик с сигнальными флагами; я хочу поднять сигнал «покинут командой» или что-нибудь в этом роде. Надо же украсить наш островок. Капитан Трент сюда еще не возвращался, но его можно ждать в самом скором времени, и ему будет приятно увидеть на бриге какой-нибудь сигнал.

— А не существует ли официальной формулы, которой мы могли бы воспользоваться? — спросил я, увлеченный его мыслью. — Что-нибудь вроде: «Продано в пользу страховой компании. За дальнейшими справками обращаться к Дж. Пинкертону, Сан-Франциско».

— Что ж, — ответил Нейрс, — какой-нибудь старик боцман, пожалуй, мог бы набрать вам этот сигнал, если бы вы дали ему на это денек и фунт табаку в награду, но мне такая задача не по зубам. Я могу попробовать что-нибудь вроде KB — требование: «Подай назад», или LM — предупреждение: «Здесь опасный район». А может быть, вы предпочтете PQH — «Сообщите судовладельцам, что корабль в полном порядке»?

— Это несколько преждевременно, — сказал я, — по наверняка погладит Трента против шерстки. Я за PQH.

Сигнальные флаги мы нашли в капитанской каюте. Они были аккуратно разложены по ячейкам ящика, помеченным соответствующими буквами. Нейрс отобрал нужные ему флаги, и мы вернулись на палубу. Солнце уже наполовину зашло за горизонт, и начинали сгущаться сумерки.

— Эй, ты! Не смей пить, дурак! — закричал капитан ожидавшему нас матросу, который зачерпнул воду из открытого бочонка. — Эта вода протухла.

— Прошу прощения, сэр, — отозвался матрос, — на вкус она совсем свежая.

— Дай-ка я попробую! — Нейрс, зачерпнув воды, поднес ее к губам. — И в самом деле, — сказал он. — Значит, испортилась, а потом опять стала свежей… Странно, а, мистер Додд? Впрочем, помню, такой же случай был на судне, огибавшем мыс Горн.

Что-то в его голосе заставило меня повернуться к нему. Привстав на цыпочки, он оглядывался по сторонам, словно человек, охваченный любопытством, и на лице его было написано сдерживаемое волнение.

— Вы сами не верите тому, что говорите! — воскликнул я.

— Нет, почему же, — ответил он, предостерегающе кладя мне руку на плечо, — это вполне возможно. Но меня занимает совсем другое…

С этими словами он подозвал одного из матросов, отдал ему сигнальные флаги, а сам подошел к главному сигнальному фалу. Еще минута — и по ветру вместо красного английского флага забился американский, который мы привезли с собой, а на фоке затрепетал PQH.

— Ну ладно, — сказал Нейрс, с удовлетворением поглядывая на фок. — Ребята, становитесь к помпам. Надо посмотреть, что за вода в этой лагуне.

Раздалась варварская какофония работающей помпы, и на палубу хлынули потоки скверно пахнущей воды, промывая проходы в слежавшемся гуано. Нейрс, облокотившись на поручень, смотрел на мутную жижу так, словно она его очень интересовала.

— Что же вас все-таки занимает? — спросил я.

— Сейчас объясню, — ответил он, — но сперва вот что: вы видите эти три шлюпки — одну на рубке и две по ее сторонам? Так какую же шлюпку спускал Трент, когда часть его матросов погибла?

— Наверное, он снова поднял ее на бриг, — сказал я.

— Допустим. Но объясните мне, зачем, — возразил капитан.

— Ну, значит, у них была еще одна шлюпка, — предположил я.

— Может быть, и была, не стану отрицать, — согласился Нейрс. — Только для чего она была нужна? Разве для того, чтобы капитан мог кататься лунными ночами вокруг брига, играя на аккордеоне.

— Ну, какие это имеет значение? — заметил я.

— Наверное, никакого, — ответил он, оглядываясь через плечо на открытый люк.

— И долго будет грохотать эта помпа? — спросил я. — Мы же перекачаем всю воду лагуны. Ведь капитан Трент сам сказал, что бриг сел на дно, получив пробоину где-то в носовой части.

— Ах, он так сказал, — многозначительно протянул Нейрс.

И не успел он договорить, как помпа захлебнулась, и потоки на палубе иссякли. Матросы бросили рукоятки помпы и распрямились.

— Ну, что вы об этом скажете? — спросил Нейрс и продолжал, понизив голос, но по-прежнему небрежно опираясь на поручень — Днище у этого брига такое же целое, как у «Норы Крейн». Я догадался об этом еще до того, как мы поднялись на борт, а теперь знаю наверняка.

— Не может быть! — воскликнул я. — Так, значит, Трент, по-вашему…

— Об этом я судить не берусь. Может быть, Трент лжец, а может быть, трусливая баба. Я просто сообщаю вам факт, — сказал Нейрс и затем добавил: — И еще одно. Мне не раз приходилось плавать на судах с большой осадкой, и я знаю, что говорю, а говорю я вот что; когда бриг сел на мель, его очень легко было с этой мели снять — потребовалось бы всего семь-восемь часов. И это было бы ясно любому моряку, кроме разве самого желторотого новичка.

Я вскрикнул от изумления, и Нейрс предостерегающе поднял руку.

— Осторожней, чтобы они ни о чем не догадались, — сказал он. — Думайте что хотите, но помалкивайте.

Я осмотрелся по сторонам. Уже совсем стемнело. В отдалении мерцал огонек фонаря — там стояла «Нора Крейн». Наши матросы, отойдя от помпы, курили на шкафуте, лица их освещал красноватый отблеск от тлеющего в трубках табака.

— Почему Трент не снял его с мели? — спросил капитан. — Почему он готов был во Фриско заплатить за бриг такие бешеные деньги, когда мог спокойно приплыть туда на нем?

— Может быть, тогда он не знал, чего стоит этот корабль? — предположил я.

— Да — знаем ли это мы? — воскликнул Нейрс. — Однако я не хочу вас огорчать, мистер Додд. Ведь я понимаю, как все это должно тревожить вас. Скажу одно: я добрался сюда, не тратя лишнего времени, и собираюсь теперь заняться бригом по всей форме. В одном отношении вы можете быть спокойны — со мной у вас хлопот не будет.

В его голосе прозвучала искренняя дружеская нота, и, почувствовав к нему глубокое доверие, я крепко пожал ему руку.

— Ну что ж, старина, — сказал он, — теперь мы друзья. И вы увидите, что дело от этого нисколько не пострадает. А сейчас поехали ужинать.

После ужина мы отправились на залитый ярким лунным светом островок Мидл-Брукс. Вдоль берега тянулся плоский пляж, а дальше шли густые заросли невысокого кустарника, где обитали морские птицы. Мы попробовали было пойти напрямик, но из этого ничего не вышло — легче было бы пересечь Трафальгарскую площадь в день демонстрации. Мы сбивали гнезда, давили яйца, птицы били нас крыльями по лицу, норовили выколоть глаза своими острыми клювами, и, совсем оглушенные их пронзительными криками, мы поспешили отступить.

— Лучше пройдемся по пляжу, — сказал Нейрс.

Матросы занялись сбором яиц, и дальше мы пошли одни. Мы шагали по плотному песку у самой воды, слева темнели кусты, откуда нас изгнали чайки, справа простиралась лагуна, по которой бежала широкая дорожка лунного света, а за лагуной, вздымаясь и опадая, тянулась линия внешнего прибоя.

Пляж был усеян обломками, занесенными сюда течением. Мы заметили несколько стволов тропических деревьев, две мачты с джонок и кусок обшивки европейского корабля. Эти мрачные находки произвели на нас тягостное впечатление, и мы заговорили об опасностях, которые таит в себе море, и о тяжкой судьбе потерпевших кораблекрушение. Беседуя на эти печальные темы, мы обошли большую часть острова, с южной его оконечности оглядели соседний островок, прошли из конца в конец западный берег, где лежала густая тень от зарослей, и снова вышли на лунный свет у северной оконечности острова. Справа от нас, на расстоянии примерно полумили, виднелась наша шхуна, слегка покачивающаяся на якоре.

Впереди, тоже примерно в полумиле, над кустарником вились птицы — значит, матросы все еще были заняты сбором яиц. И вдруг прямо перед собой, в маленькой ложбине, мы увидели лежащую на боку лодку. Нейрс, пригнувшись, отступил в тень.

— Что это может быть? — шепнул он.

— Трент, — шепнул я в ответ, и сердце у меня забилось.

— А мы, как дураки, отправились на берег без всякого оружия! Но, во всяком случае, надо удостовериться, — процедил Нейрс.

В темноте его лицо казалось совсем белым, а голос выдавал сильное волнение. Он достал из кармана свой свисток.

— На случай, если мне захочется сыграть песенку, — заметил он угрюмо и, зажав свисток в зубах, вошел в полосу лунного света.

Мы торопливо зашагали вперед, настороженно оглядываясь по сторонам. Все было спокойно, а когда мы приблизились к лодке, то убедились, что она лежит здесь уже давно. Это был обычный восемнадцатифутовый вельбот с веслами и уключинами. В нем лежало несколько бочонков, один из которых был вскрыт и распространял невыносимый смрад. Осмотрев бочонки, мы обнаружили в них такую же солонину, какую видели на борту брига.

— Четвертая лодка, — сказал я. — Вот вы и получили ответ на ваш вопрос.

Он только хмыкнул, а затем, нагнувшись, обмакнул палец в поблескивавшую на дне вельбота воду и лизнул его.

— Пресная, — сказал он. — Значит, дождевая.

— Вам это не нравится? — спросил я.

— Нет, почему же? — ответил он.

— Ну, так что же вам не по душе? — вскричал я.

— А вот что, мистер Додд, — ответил он, — вельбот и бочонок протухшей солонины.

— Короче говоря, все, — заметил я.

— Видите ли, — снизошел он до объяснения, — четвертая лодка меня вообще не устраивала, а уж эта во всяком случае. Я не хочу сказать, что вельботы редко попадаются в этих водах. Наоборот, все островные шхуны обычно имеют вельботы, но ведь «Летящий по ветру» курсировал между большими портами — Калькуттой, Рангуном, Фриско и Кантоном… Нет, вельбот ему ни к чему.

Мы разговаривали, прислонившись к борту лодки, и капитан, стоявший ближе к носу, машинально играл концом бакштова. Вдруг он умолк и, поднеся конец каната ближе к глазам, стал внимательно его рассматривать.

— Что-нибудь не так? — спросил я.

— А вы знаете, мистер Додд, — сказал он с какимто особым выражением, — этот бакштов был обрублен. Матрос обрезал бы его ножом… Нашим ребятам это видеть незачем, — добавил он. — Сейчас я приведу его в порядок.

— И что же все это означает? — спросил я.

— Во всяком случае, одно, — сказал он. — Это означает, что Трент лжец. Я полагаю, что подлинная история «Летящего по ветру» куда красочнее, чем та, которую он рассказал.

Через полчаса вельбот был уже привязан к корме «Норы Крейн», а мы с Нейрсом отправились спать, совсем сбитые с толку нашими открытиями.

ГЛАВА XIV
КАЮТА «ЛЕТЯЩЕГО ПО ВЕТРУ»

На другой день солнце еще не успело разогнать утренний туман, когда мы снова поднялись на палубу «Летящего по ветру» — Нейрс, я, Джонсон, два матроса и десяток

сверкающих новеньких топоров, которым предстояло довершить начатое морем разрушение брига. Мне кажется, мы все были рады: так глубоко укоренился в человеке инстинкт разрушения и азарт охоты. Ведь нам предстояло вдоволь испытать двойное удовольствие — ломать игрушку и «искать на видном месте», вновь переживая забытое с детства увлечение. Игрушкой же был морской корабль, а искать мы должны были настоящее сокровище.

К тому времени, когда подошла шлюпка с завтраком, палубы были вымыты, главный люк открыт и тали приведены в порядок. Я уже настолько проникся недоверием к этому бригу, что теперь, заглянув в трюм. с огромным облегчением обнаружил множество кулей с рисом. После завтрака Джонсон и матросы занялись грузом, а мы с Нейрсом, предварительно разбив световой люк, чтобы лучше проветрить помещение, начали систематический осмотр кают.

Я, разумеется, не могу подробно и по порядку описать то, что было проделано нами в этот первый день, так, же, как и во все последующие. Другое дело, если бы этой работой занимался отряд военных моряков, сопровождаемый секретарем, знающим стенографию. Два же обыкновенных человека вроде нас, не привыкшие пользоваться топором и пожираемые нетерпением, помнят потом только кошмарные часы напряжения, жары, спешки и растерянности. По нашим лицам катился пот, порой под ноги нам кидались крысы, нас душила пыль, и мы были совершенно оглушены стуком собственных топоров.

Я ограничусь только сообщением о сути наших открытий, не придерживаясь хронологического порядка, а просто исходя из их важности. Впрочем, в этом отношении они практически совпали, и мы кончили исследование каюты прежде, чем могли с уверенностью установить характер груза.

Мы с Нейрсом начали с того, что выбросили через трап к штурвалу всю валявшуюся на полу одежду и другие вещи, а кроме того, посуду, ковер, жестянки с консервами, короче говоря, все, что можно было вынести из общей каюты. Затем мы занялись капитанский каютой. Используя одеяло вместо носилок, мы перетащили к куче на палубе книги, инструменты и одежду, после чего Нейрс, став на четвереньки, начал шарить под койкой. Его поиски были вознаграждены множеством ящичков с манильскими сигарами. Я немедленно вскрыл несколько из них и разломал с десяток сигар, но все было тщетно: не найдя в них опиума, я решил пощадить остальные.

— Интересно! — вдруг воскликнул Нейрс.

И, отвернувшись от растерзанных сигар, я увидел, что он выволок на середину пола тяжелый железный сундучок, прикрепленный к перегородке цепью, замкнутой на висячий замок.

Нейрс глядел на сундучок отнюдь не с восторгом, как я, а с каким-то растерянным удивлением.

— Вот оно! — воскликнул я и собирался уже радостно пожать руку моему товарищу.

Но он охладил мой пыл, заметив сухо:

— Сперва посмотрим, что в нем.

Опрокинув сундучок набок, он несколькими ударами топора сломал замок и потом опять поставил сундучок на дно и открыл крышку. Я кинулся на пол рядом с ним. Не знаю, что я ожидал увидеть: в эту минуту меня, пожалуй, удовлетворил бы только мешок бриллиантов стоимостью в миллион. Щеки мои горели, сердце стучало так, что готово было разорваться. Но в сундучке лежала лишь пачка аккуратно перевязанных бумаг и чековая книжка. Я схватил бумаги, желая скорее посмотреть, что под ними. Но Нейрс опустил на мою руку тяжелую ладонь.

— Вот что, хозяин, — сказал он почти добродушно, — мы будем вести поиски аккуратно, а не устраивать свалку.

После чего Нейрс развязал бумаги и начал просматривать их с чрезвычайно серьезным видом, словно нарочно стараясь затянуть время. Казалось, он совсем забыл о снедающем меня нетерпении, потому что, кончив чтение, еще несколько минут сидел, погруженный в свои мысли, что-то насвистывая, и только потом, снова сложив и связав бумаги, продолжил осмотр. Я увидел ящик из-под сигар, перетянутый куском лески, и четыре туго набитых мешочка. Нейрс достал нож, перерезал леску и открыл ящичек. Он до половины был наполнен золотыми монетами.

— А что в мешочках? — прошептал я.

Капитан по очереди вспорол их, и на заржавевшее дно сундучка посыпались серебряные монеты разного достоинства. Нейрс молча принялся пересчитывать серебро.

— Что это? — спросил я.

— Судовая касса, — ответил он, продолжая считать.

— Судовая касса? — повторил я. — Деньги, которыми Трент оплачивал свои расходы? А это чековая книжка на суммы, выданные ему судовладельцами? И он все это оставил здесь?

— Как видите, — ответил Нейрс, записывая итог своего подсчета.

И я, смутившись, уже больше не отрывал его, пока он не кончил своего занятия.

Всего золота было на триста семьдесят восемь фунтов стерлингов, а серебра — около девятнадцати фунтов. Затем мы убрали деньги назад в сундучок.

— Ну, так что же вы думаете обо всем этом? — спросил я.

— Мистер Додд, — ответил он, — вам это кажется странным. Но вы и не представляете себе, насколько это странно. Вы спрашивали о деньгах, а меня совсем сбили с толку бумаги. Известно ли вам, что капитан корабля распоряжается судовой кассой, выплачивает жалованье матросам, получает плату за фрахт и деньги с пассажиров, а кроме того, производит закупки в портах? Всем этим он занимается как доверенный агент судовладельца и вместе с отчетом представляет квитанции, доказывающие его честность. Поверьте мне, капитан корабля скорее забудет панталоны, чем расписки, которые являются гарантией его репутации. Я знаю случаи, когда люди тонули, стараясь спасти такие вот документы. И люди довольно скверные. Но это — дело чести капитана. А вот никуда не спешивший капитан Трент, которому ничто не грозило, кроме бесплатной поездки на английском военном корабле, бросил их здесь. Я знаю, факты против меня, но все-таки я говорю вам, что это невозможно.

Вскоре нам привезли обед, и мы съели его на палубе в мрачном молчании, тщетно напрягая мозг в поисках какой-нибудь разгадки этих тайн. Я был настолько поглощен своими размышлениями, что не замечал ни брига, ни лагуны, ни островков, ни кружащих над нами чаек, ни палящих лучей солнца, ни даже угрюмого лица капитана, сидевшего рядом. Мой ум превратился в школьную доску, на которой я писал и стирал всевозможные гипотезы, сравнивая их со зрительными изображениями, хранившимися в моей памяти. Я добрался наконец до сцены в кафе, я снова вглядывался в лица капитана Трсята и его матросов, как вдруг передо мной встало лицо гавайца.

— По крайней мере в одном я уверен!.. — вскричал я, вскакивая на ноги. — С капитаном Трентом я видел гавайца, а в газете писали, что кок — китаец. Я пойду осмотрю его койку и разберусь, в чем дело.

— Ладно, — сказал Нейрс, — а я еще немного отдохну, мистер Додд, я что-то совсем вымотался.

Мы уже тщательно обыскали три четверти кормовых помещений. Все, что можно было вынести из кают-компании, каюты старшего помощника и капитана, лежало в куче у штурвала. Но за переднее помещение с двумя койками, где, по мнению Нейрса, жили второй помощник и кок, мы еще не брались. Туда-то я и пошел. Эта каюта была почти пуста. К переборке было приклеено несколько фотографий — одна весьма непристойная. Единственный сундучок

оказался открытым и, как все, которые мы уже осматривали, частично обысканным. Несколько дешевых романов, хранившихся в нем, неопровержимо доказывали, что его хозяином был европеец. Китайцу они были бы ни к чему, а даже самый грамотный гавaец удовлетворился бы одним. Очевидно, ко, к помещался не на корме, а где-то в другом месте.

К этому времени наши матросы уже выбросили гнезда из камбуза и выгнали оттуда птиц, так что я мог войти в него без всяких помех. Одна из дверей была теперь снаружи завалена кулями с рисом, и поэтому в камбузе царил полумрак. Было очень душно, в воздухе вились тучи мух. Часть кухонной утвари валялась на полу, — может быть, камбуз покинули в большой спешке, а может быть, виновниками беспорядка были птицы. Пол, как и палуба, прежде чем мы ее вымыли, был покрыт слоем гуано.

У стены, в дальнем углу, я обнаружил красивый сундучок из камфарного дерева, обитый медными полосами. Такие сундучки любят китайские моряки, да, собственно говоря, и все моряки, плавающие по Тихому океану. Таким образом, внешний вид сундучка мне ничего не сказал, а содержимое его мне удалось увидеть не сразу. Как я уже упоминал, все остальные сундучки были открыты, и часть хранившихся в них вещей валялась рядом (то же мы обнаружили и в кубрике, который осмотрели позже), и только этот был закрыт и даже заперт на замок.

С помощью топора я легко вскрыл его и, словно таможенный офицер, стал рыться в хранившихся там вещах. Сперва мои руки шарили по ситцу и полотну. Затем я вздрогнул от неприятного прикосновения шелка и вытащил несколько шелковых полос, покрытых таинственными иероглифами. Они разрешили все мои сомнения: я узнал в них занавески, которые любят вешать на кровати китайцы-простолюдины. Но и в других доказательствах недостатка не было: ночная рубашка непривычного покроя, трехструнная китайская скрипка, узелок с разными корешками и травами, а также изящный приборчик для курения опиума с порядочным запасом этого наркотика. Совершенно очевидно, что кок был китаец, но в таком случае кто такой Джозеф Амалу? Или Джозеф украл сундучок, а потом поступил на бриг под вымышленным именем? Это, конечно, было возможно, но такое объяснение только еще больше запутывало дело. Почему этот сундучок был брошен нетронутым, а все остальные вскрыты? И откуда у Джозефа взялся второй сундучок, с которым, как сказал нам портье, си отправился в Гонолулу?

— Ну, и что же вы узнали? — осведомился капитан, который с удобством развалился на куче вещей, нагроможденной нами у штурвала.

По его тону и по его заблестевшим глазам я понял, что открытия выпали не только на мою долю.

— Я нашел в камбузе сундучок с вещами китайца, — ответил я. — И китаец этот забыл в нем свой опиум!

Нейрс, казалось, остался совершенно равнодушным к, моему сообщению.

— Вот как? — сказал он. — А теперь я вам кое-что покажу. Признайтесь, что вы побиты.

С этими словами он разложил передо мной на палубе две газеты. Я тупо посмотрел на них, чувствуя, что пока не способен к новым открытиям.

— Да посмотрите же на них, мистер Додд! — вскричал капитан резко. — Неужели вы не видите? — И он провел грязным пальцем по верху первой страницы. — «Сидней морнинг геральд», 26 ноября. Неужели вы не понимаете? Ведь когда эта газета вышла в Австралии, «Летящий по ветру» был в Гонконге, а через двенадцать дней уже находился в открытом море. Каким же образом газета из Австралии могла попасть в Гонконг за двенадцать дней? А ведь до того, как Трент очутился здесь, он не встречал ни одного корабля, не заходил ни в один порт. Значит, она могла попасть к нему либо здесь, либо в Гонконге. А где именно — решайте сами. — И он снова устало опустился на груду одежды.

— Где вы их нашли? — спросил я. — В этой черной сумке?

— Да, — сказал он. — И можете в ней больше не рыться: там ничего нет, кроме карандаша и какого-то сточенного ножа.

Однако я все-таки заглянул в сумку и был вознагражден.

— У каждого человека есть свое ремесло, капитан, — сказал я. — Вы моряк и указали мне на множество несообразностей, связанных с морским делом. Я же художник, и разрешите сообщить вам, что эта находка не уступает по странности всему остальному. Такими ножами художники наносят краску на холст или чистят палитру. А карандаш этот — 3-Б фирмы «Виндзор и Ньютон». Мастихин и карандаш 3-Б — на торговом бриге! Это противоречит всем законам природы.

— С ума сойти можно! — заметил Нейрс.

— Да, — продолжал я, — и карандашом этим пользовался художник: посмотрите, как он заточен; во всяком случае, не для того, чтобы писать. Таким кончиком писать невозможно. Художник? И прямо из Сиднея? Откуда он мог взяться?

— Это-то понятно, — съязвил Нейрс. — Они вызвали его каблограммой, чтобы он проиллюстрировал судовой журнал.

Некоторое время мы молчали.

— Капитан, — сказал я наконец, — с этим бригом связано какое-то темное дело. Большую часть вашей жизни вы провели в море. Вам, вероятно, приходилось видеть много беззаконий, а слышали вы о них, должно быть, еще больше. Как по-вашему, что это? Комбинация со страховкой? Пиратство? Что может за этим крыться? Зачем понадобилось все это проделывать?

— Мистер Додд, — ответил Нейрс, — вы совершенно правы: большую часть своей жизни я провел в море, и я действительно знаю много способов, с помощью которых нечестный капитан может нагреть руки или обмануть судовладельцев. Таких способов немало, но гораздо меньше, чем вам кажется. И ни один их них не был пущен в ход Трентом. Все это дело — сплошная бессмыслица, не имеющая никакого разумного объяснения. И не впадайте в заблуждение, свойственное большинству жителей суши: капитану совсем не так просто вести какую-нибудь нечестную игру. В любом порту есть множество людей, которые тут же отправят его за решетку, если честность его не будет сиять подобно утренней звезде. За ним следят агенты Ллойда и других страховых компаний, консулы, таможенные чиновники и портовые врачи. У него столько же шансов что-нибудь скрыть, как у человека, поселившегося в маленькой деревне, где он всем чужой.

— Ну, а в море? — спросил я.

— Ну, вот опять! — вздохнул капитан. — «В море, в море»… А что толку? Ведь когда-нибудь придется вернуться в порт. Никто же не может оставаться в море вечно… Нет, в этой истории с «Летящим по ветру» не разобраться и самому гениальному сыщику, и нечего зря ломать голову. Давайте снова возьмемся за топоры и вытащим на свет божий все, что таится в этом чертовом бриге. И не волнуйтесь, — добавил он, вставая. — Я полагаю, эти грошовые тайны будут на нас сыпаться и дальше, чтобы мы не скучали.

Однако до конца дня мы не сделали больше ни одного интересного открытия и на закате покинули бриг, не найдя ни новых загадок, ни разгадок прежних. Самые ценные находки — книги, инструменты, корабельные бумаги, шелка и сувениры — мы перевезли на шхуну, чтобы было чем заняться вечером, и после ужина, когда убрали со стола и Джонсон уселся за унылую партию в криббедж между своей правой и левой рукой, мы с капитаном разложили наши находки на полу и принялись их подробно обследовать.

Сперва мы занялись книгами. Для «лимонщика», как презрительно выразился Нейрс; число их было порядочным. Презрение к английскому торговому флоту свойственно почти каждому американскому моряку, и, поскольку это презрение не является взаимным, я полагаю, что для него действительно есть какие-то основания. Во всяком случае, английские моряки

редко бывают любителями книг. Однако офицеры «Летящего по ветру» являлись приятным исключением из этого правила. Они собрали настоящую библиотеку художественной и специальной литературы. Пять томов «Всемирного справочника» Финдли (как всегда, растрепанные, испещренные всяческими пометками и исправлениями), несколько навигационных руководств, свод сигналов и справочник английского адмиралтейства в оранжевом переплете — «Острова восточной части Тихого океана», том III, самое последнее издание, в котором были отчеркнуты описания рифов Френч-Фригат, Харман, Кьюр, Перл, острова Лисянского, острова Ошен и того места, где мы находились теперь, — острова Мидуэй. Список беллетристики возглавлялся томиком «Эссе» Макколея и дешевым изданием Шекспира, далее следовали только романы. Несколько творений мисс Брэддон и среди них «Аврора Флойд», проникшая на все без исключения острова Тихого океана, порядочное число детективных книжонок, «Роб-Рой», «На вершине» Ауэрбаха на немецком языке и восхваление трезвенности, которое, судя по библиотечному штампу, было похищено из какой-то английской библиотеки в Индии.

— Офицер адмиралтейства довольно точно описал наш островок, — заметил Нейрс, изучавший тем временем описание Мидуэя. — Правда, изображен он далеко не таким унылым, но все-таки видно, что этот человек знает, о чем пишет.

— Капитан! — воскликнул я. — Вы коснулись еще одной странности в этой сумасшедшей путанице. Вот посмотрите, — я вытащил из кармана смятую вырезку из «Оксидентела», которую забрал у Джима. — «…введен в заблуждение справочником Хойта по Тихону океану…» Где же этот справочник?

— Сначала посмотрим, что в нем написано, — заметил Нейрс. — Я нарочно захватил Хойта в это плавание.

И, взяв справочник с полки над своей койкой, он раскрыл его на описании острова Мидуэй и начал читать вслух. Там, между прочим, говорилось, что Тихоокеанская почтовая компания собирается устроить на острове Мидуэй свой центр (вместо Гонолулу) и уже открыла там станцию.

— Интересно, откуда составители справочников получают свои сведения?

— задумчиво протянул Нейрс. — После этого Трента ни в чем нельзя винить. В жизни не сталкивался с более бесстыдным враньем! Разве что во время президентских выборов.

— Ну ладно, — сказал я, — но это ваш экземпляр Хойта, а мне бы хотелось знать, где экземпляр Трента.

— А он взял его с собой, — усмехнулся Нейрс. — Все остальное он бросил — счета, расписки, деньги… Но ведь ему надо было взять что-нибудь с собой, иначе это могло вызвать подозрение на «Буре». Чудесная мысль! — воскликнул он. — Дай-ка я возьму Хойта!

— И не кажется ли вам, что все Хойты в мире не могли ввести Трента в заблуждение, потому что у него был вот этот официальный адмиралтейский справочник, изданный позже и содержащий подробное описание острова Мидуэй?

— И то верно! — воскликнул Нейрс. — Бьюсь об заклад, что с Хойтом он ознакомился только в Сан-Франциско! Похоже на то, что он привел сюда свой бриг нарочно. Но тогда это противоречит тому, что было на аукционе. В том-то и горе с этим бригом: сколько теорий ни придумывай, все равно что-то остается необъясненным.

Затем мы занялись судовыми бумагами, которых набралось довольно много. Я надеялся с их помощью уяснить себе характер капитана Трента, но меня ждало разочарование. Мы могли заключить только, что он был человеком аккуратным — все старые счета и расписки были тщательно перенумерованы и хранились в строгом порядке. Кроме того, из некоторых документов явствовало, что он был человеком крайне бережливым, если не сказать скаредным. Почти все письма были сухими и формальными записками поставщиков. Все, кроме одного. Это письмо, подписанное Ханной Трент, содержало горячую просьбу о денежной помощи. «Тебе

известно, какие несчастья выпали на мою долю, — писала Ханна, — и как я обманулась в Джордже. Моя квартирная хозяйка сперва показалась мне очень милой и отзывчивой женщиной, но теперь я увидела ее в истинном свете, и, если эта моя последняя просьба не смягчит тебя, не знаю, что станется с любящей тебя…» Далее следовала подпись. Не было ни даты, ни указания, откуда оно было отправлено. Какой-то голос шепнул мне, что оно к тому же осталось без ответа.

Кроме этого письма, мы нашли еще одно в сундучке кого-то из матросов, и я приведу из него несколько фраз. Оно было помечено каким-то городком на Клайде. «Дорогой сынок! Сообщаю тебе, что твой дорогой отец скончался 12 января. Он попросил, чтобы я положила ему на кровать твою фотографию и фотографию Дэвида, а сама села рядом. „Я хочу, чтобы мы все были вместе", — сказал он и благословил вас. Милый сыночек, почему вас с Дэви здесь не было! Ему было бы легче умирать. Он все вас вспоминал: и как вы пели по субботам, и он попросил меня спеть ему вашу песню, а сам все смотрел на свою скрипку, бедняжка. Видеть ее теперь не могу, потому что больше ему уж на ней не играть. Сыночек мой милый, вернись ко мне, совсем я теперь одна осталась». Далее шли ничем не примечательные религиозные рассуждения.

Когда я передал это письмо Нейрсу, оно произвело на него совершенно необычайное впечатление. Сперва, не прочитав и нескольких слов, он раздраженно его отбросил, но тут же подобрал и стал читать дальше, потом опять бросил, опять подобрал — и так трижды.

— Очень трогательное письмо, не правда ли? — спросил я.

Вместо ответа Нейрс грубо выругался, и прошло больше получаса, прежде чем он попробовал мне что-то объяснить.

— Я вам скажу, почему это письмо так на меня подействовало. Мой старик любил играть на скрипке и все время фальшивил так, что уши вяли… Он был скверным отцом, а я был скверным сыном. Только мне вдруг захотелось снова услышать, как визжит его скрипка… Все мы свиньи, — добавил он, помолчав.

— По крайней мере все сыновья, — сказал я. — Могу пожать вашу руку: у меня на совести лежит тот же грех.

И, как ни странно, мы действительно пожали друг другу руки.

Мы нашли также довольно много фотографий. По большей части это были либо очень хорошенькие девушки, либо пожилые женщины с усталыми лицами. Но одна из фотографий натолкнула нас на самое удивительное открытие.

— Ну, красавцами их не назовешь, — сказал Нейрс, передавая ее мне, как, по-вашему, мистер Додд?

— Кого? — спросил я, машинально беря карточку и подавляя зевок, — час был поздний, и после тяжелого дня мне страшно хотелось спать.

— Трента с компанией, — ответил он. — Это ведь вся их шайка.

Я поднес фотографию к свету, не проявляя никакого интереса, — я уже видел капитана Трента и не испытывал особого желания снова любоваться его физиономией. Они были сняты на палубе брига — матросы, как полагается, на шкафуте, офицеры — на корме. Внизу фотографии была подпись: «Бриг „Летящий по ветру", Рангун», и дальше стояла дата. А рядом с каждым была аккуратно помечена его фамилия.

И вдруг меня словно ударило! Сонливость как рукой сняло, и я понял, что смотрю на совершенно незнакомые мне лица. «Трент, капитан» — стояло под изображением невысокого старичка с кустистыми бровями и длинной седой бородой, одетого в сюртук и белые панталоны. В петлицу у него был вдет белый цветок. Свою бороду он выставил вперед, а губы решительно сжал. Он был мало похож на моряка, скорее смахивал на ханжу и святошу, и, уж во всяком случае, у него не было ничего общего с капитаном Трентом, которого я видел в

СанФранциско. И все остальные тоже были мне незнакомы, а кок, несомненно, был китаец, и даже одет он был в национальный костюм. Однако с наиболее острым любопытством я изучал портрет, помеченный «Э. Годдедааль, первый помощник». Его я никогда не видел, и, возможно, это был тот же самый человек. Возможно даже, что в нем заключалась разгадка всей тайны. Я всматривался в черты его лица, как полицейский сыщик. Это был человек могучего сложения и, судя по всему, белокурый, как викинг. Его волосы вились крупными кольцами, а по обеим сторонам щек торчали огромные усы, напоминавшие клыки какого-нибудь сказочного животного. В выражении его лица было что-то свирепое, но в то же время мягкое, почти женственное. Я не удивился бы, узнав, что он склонен к чувствительности и порой способен проливать слезы.

Некоторое время я молча обдумывал свое открытие, прикидывая, как сообщить о нем капитану с наибольшим эффектом. Тут я вспомнил про свой альбом. Достав его, я открыл набросок, изображавший капитана Трента и его матросов, спасшихся с английского брига «Летящий по ветру».

— Нейрс, — сказал я, — ведь я рассказывал вам, как в первый раз увидел капитана Трента в кафе во Фриско? Как он пришел туда со своими матросами и один из них был гаваец и держал в руках клетку с канарейкой? И о том, как я его увидел затем на аукционе, перепуганного насмерть, когда он с таким же изумлением прислушивался к выкрикиваемым цифрам, как и все остальные? Так вот, посмотрите на человека, которого я видел (я положил перед ним свой альбом). Это Трент из Фриско и трое его матросов. Я буду вам очень обязан, если вы укажете мне их на этой фотографии.

Нейрс молча сравнил фотографию с рисунком.

— Ну, — сказал он наконец, — мне это даже нравится: положение становится яснее. Мы и сами могли бы об этом догадаться, если бы подумали, почему нам попалось двойное количество матросских сундучков.

— По вашему мнению, это что-то объясняет? — спросил я.

— Это объяснило бы все, — ответил Нейрс, — если бы не аукцион. Все совпадает, словно кусочки головоломки, если только отбросить то, как они пытались во что бы то ни стало купить свой бриг. И тут мы оказываемся в тупике. Но одно можно сказать с уверенностью, мистер Додд: дело здесь нечисто.

— И похоже на пиратство, — заметил я;

— Похоже на вашу бабушку! — воскликнул капитан. — Нет, не обманывайте себя. У нас с вами не хватит ума, чтобы сообразить, что за этим всем кроется.

ГЛАВА XV
ГРУЗ «ЛЕТЯЩЕГО ПО ВЕТРУ»

В юности я был во всем привержен идеалам своего поколения. Я любил комфорт, любил все то, что мы зовем цивилизацией, поклонялся изобразительному искусству и с удовольствием захаживал в рестораны. В те дни у меня был приятель, не художник, хотя он и был завсегдатаем нашего мирка, где славился своей храбростью и меткими афоризмами. И он, поглядев на длинное меню и колышущийся животик одного из типичных французских гурманов, которым я, признаюсь, немного подражал, заклеймил меня прозвищем «растителя ресторанного жирка». И, пожалуй, он был отчасти прав. Если бы все шло гладко, то теперь я, наверное, наружностью напоминал бы бочонок, а умом и душой того, кто, в сущности; ничуть не отличается от самого заурядного буржуа и филистера, а именно художника, который ничем не интересуется, кроме своего искусства. Я считаю, что над любой художественной школой следует написать золотыми буквами слова Пинкертона: «Не понимаю, почему ты не хочешь заниматься ничем другим». Скучные люди становятся скучными не от природы, а потому, что их совершенно поглощает одна какая-нибудь сторона человеческой деятельности. Это тем более опасно, если занятие такого человека однообразно и обрекает его на такую же

однообразную жизнь. В результате большая часть его природных качеств не развивается, а остальные уродуются благодаря перенапряжению. Меня часто удивляла самоуверенность господ, которые, проведя всю свою жизнь в четырех стенах и не имея ни малейшего представления о всем многообразии человеческой жизни, позволяют себе высказывать о ней безапелляционные суждения. Те, кто трудится в кабинетах и мастерских, возможно, умеют создавать прекрасные картины или увлекательные романы, но им не следует позволять себе судить об истинном предназначении человека, ибо об этом они ничего не знают. Их собственная жизнь — уродливое порождение мгновения, которое пройдет и будет забыто среди прихотливых капризов истории. А извечная жизнь человека — это физическая работа под солнцем и дождем. И она остается такой с начала времен.

Если бы я мог, то захватил бы с собой на остров Мидуэй всех писателей и художников моего времени. Я хотел бы, чтобы они испытали все то, что пришлось испытать мне: бесконечные дни разочарования, жары, непрерывного труда, бесконечные ночи, когда болит все тело и все-таки ты погружаешься в глубокий сон, вызванный физическим утомлением. Я хотел бы, чтобы они услышали грубоватую речь моих товарищей, увидели бы их обветренные лица и залитую ослепительным солнцем палубу, спустились бы в душные сумерки трюма, услышали бы пронзительные крики бесчисленных морских птиц, а главное, испытали бы это чувство отрезанности от всего мира, от всей современной жизни — здесь, на острове, день начинался не с появления утренних газет, а с восхода солнца, и государства, народы, религии, войны, искусство словно совсем перестали существовать.

Я расскажу вам еще кое-что о нашей работе. В носовом помещении хранились товары судовой лавки, трюм был почти полон рисом, нижняя палуба — чаем и шелками. И то, и другое, и третье следовало перегрузить на нашу шхуну. Но это было только началом. Трюм был перегорожен на множество отделений, и некоторые из них, очевидно, предназначавшиеся для более ценных грузов, были обшиты к тому же дюймовыми досками. Где-то здесь, а может быть, в каютах, а может быть, в самых бортах корабля находился тайник. Поэтому нам пришлось сорвать большую часть внутренней обшивки корабля и простукать все оставшееся так, как доктор выстукивает грудь чахоточного больного. И, когда звук становился глухим, мы брались за топоры и врубались в подозрительное место. Тяжелая и очень неприятная работа, потому что из-под топоров летели тучи гнилой пыли. К концу каждого дня внутренности «Летящего по ветру» обнажались все сильнее, все новые балки распиливались и раскалывались в щепу, все новые доски отдирались от бортов и отбрасывались в сторону, и к концу каждого дня мы испытывали новое разочарование. Я не утратил энергии, но начинал терять надежду, и даже Нейрс стал молчаливым и угрюмым. Вечером, после ужина, мы больше почти не разговаривали. Я листал какую-нибудь книгу, а Нейрс хмуро, но упорно высверливал раковины. Человеку постороннему могло показаться, что мы поссорились, на самом же деле в молчаливые часы совместной работы наша дружба крепла.

Когда мы только приступили к работам на бриге, меня поразила готовность, с которой матросы кидались выполнять любое приказание капитана. Они не питали к нему привязанности, но, несомненно, восхищались им. Слово сухого одобрения из его уст ценилось выше самой лестной похвалы и даже доллара, если они исходили от меня. А когда его обычная взыскательная строгость немного смягчалась, вокруг закипало веселое усердие, и, признаюсь, мне начало казаться, что его теория поведения капитана, хотя он и перегибал палку, имела под собой некоторое основание. Однако время шло, и ни восхищение перед капитаном, ни страх уже не могли нам помочь. Матросы устали от безнадежных, бесплодных поисков и изнурительного труда. Они все чаще ворчали и стали работать спустя рукава. Наказания только усиливали их недовольство. С каждым днем они все хуже выполняли порученное им дело, и по вечерам, сидя в своей маленькой каюте, мы, казалось, физически ощущали неприязнь наших помощников.

Несмотря на все наши предосторожности, каждый человек на борту очень хорошо знал, что мы ищем, а кроме того, кое-кто заметил и те несообразности, которые так изумили капитана и меня. Я несколько раз слышал, как матросы обсуждали рассказ капитана Трента и выдвигали самые различные предположения относительно того, где может быть спрятан опиум, — раз они подслушивали наши разговоры, я счел себя вправе отплатить им той же монетой. Таким образом, я мог судить о настроении матросов и о том, насколько подробно известна им тайна «Летящего по ветру». Как-то раз, услышав один из таких разговоров, не оставлявший сомнения, что матросы очень недовольны, я вдруг придумал план, показавшийся мне весьма удачным. Окончательно обдумав его в течение ночи, наутро я поделился им с капитаном.

— А не попробовать ли мне подбодрить команду, предложив награду? — сказал я.

— Если вы думаете, что до сих пор они особенно старались, вы ошибаетесь, — ответил Нейрс, — но других у нас нет, а вы — суперкарго.

Такие слова в устах такого человека, как капитан, можно было счесть полным согласием, и вот команда была вызвана на ют. Капитан начал свою речь, так грозно нахмурив брови, что все, несомненно, ожидали громового разноса.

— Эй, вы! — кинул он через плечо, прохаживаясь по палубе. — Мистер Додд собирается предложить награду первому, кто найдет опиум на бриге. Осла можно заставить бежать двумя способами: дать ему морковки или надавать пинков. Оба эти способа по-своему неплохи. Мистер Додд решил попробовать морковку. И вот что, дети мои, — при этих словах он остановился и, заложив руки за спину, повернулся к матросам, — если через пять дней этот опиум не будет найден, я испробую пинки.

Он умолк, кивнул мне, и я, в свою очередь, обратился к матросам:

— Я выделяю на это дело сто пятьдесят долларов, — сказал я. — Если кто-нибудь сам найдет опиум, он получит все сто пятьдесят, а если кто-нибудь наведет нас на след, он получит сто двадцать пять, а остальные двадцать пять пойдут тому, кто первый найдет самый опиум.

Тут снова вмешался капитан.

— Вот что, ребята, — сказал он, — к этой награде я добавлю еще сто долларов от себя.

— Спасибо, капитан Нейрс, — сказал я, — вы очень добры.

Обещание награды принесло свои плоды. Не успели еще матросы как следует оценить наше предложение и обсудить его, как вперед вышел кок и обратился к Нейрсу.

— Капитан, — начал он, — я два года служу на американских кораблях, а шесть лет служил на почтовом пакетботе. Я много чего видел.

— Ого! — воскликнул Нейрс и добавил шепотом, обращаясь ко мне. — Он видел, как опиум прятали на пакетботе… Так чего же ты до сих пор молчал?

— Думал, что потом предложат награду, — с достоинством объяснил кок.

— Ладно, говори, — сказал Нейрс, — и если ты отгадал, то получишь награду. Понятно?

— Я вот что думаю, — ответил кок, — кули с рисом очень маленькие. Может быть, там не только рис, может быть, там и опиум?

— Ну, что скажете, мистер Додд? — спросил капитан. — Может быть, он прав, а может быть, и ошибается. Скорее всего он прав, потому что больше этой дряни быть как будто негде, но, с другой стороны, если он ошибается, мы уничтожим зазря полтораста тонн хорошего риса. Об этом стоит подумать.

— Думать не о чем, — возразил я, — мы не можем упускать ни одного шанса. А рис — это ерунда: рис нас не обогатит и не спасет от разорения.

— Другого ответа я от вас не ждал! — воскликнул Нейрс.

И мы тут же отправились на бриг, чтобы проверить эту догадку.

Трюм был уже почти пуст. Кули с рисом (их приходилось примерно сорок на тонну), сложенные на палубе, забили весь шкафут и нос. Нам предстояло вскрыть шесть тысяч кулей и исследовать их содержимое, попутно уничтожив сто пятьдесят тонн ценного пищевого продукта. И, надо сказать, то, как протекала эта необычная работа, вполне отвечало ее необычной цели. Все мы, вооружившись длинными ножами, набросились на штабеля риса. Каждому был отведен отдельный участок, и он, вспоров ближайший куль, начинал рыться в нем руками, а затем высыпал рис на палубу. Вскоре повсюду уже виднелись белые рассыпающиеся кучи, которые непрерывно росли, а потом рассыпались дальше по палубе. Через несколько минут рис заполнил все желоба и даже лился в море из шпигатов.

Над бригом, превратившимся в гигантский зерновой склад, кружили морские птицы. При виде такого огромного количества еды они совсем обнаглели и с пронзительным криком кидались на людей, задевали нас крыльями, выхватывали зерно прямо из рук. Матросы, исцарапанные в кровь их острыми клювами и когтями, отбивались от них ножами, а потом снова принимались рыться в рисе, не обращая внимания на раненых пернатых, которые бились у их ног. Это была странная картина — тучи птиц, парящих над палубой, белые кучи риса в пятнах птичьей крови, люди, охваченные золотой лихорадкой, вспарывающие куль за кулем и что-то громко выкрикивающие, а над всем этим огромная паутина такелажа и яркая синева тихоокеанского неба. Матросы трудились в надежде получить пятьдесят долларов, а я пятьдесят тысяч. Неудивительно, что мы не жалели ни птиц, ни риса.

Примерно в десять часов утра раздался громкий крик. Нейрс, только что вспоровший очередной куль, вытряс из него вместе с рисом завернутую в бумагу жестянку.

— Ну что? — крикнул он.

В ответ раздалось громовое троекратное «ура» команды, распугавшее чаек, — каждый, забыв о собственном разочаровании, радовался успеху поисков. Через мгновение мы все столпились вокруг капитана и принялись дрожащими от волнения руками рыться в куле, откуда появлялась жестянка за жестянкой — всего шесть банок, обернутых, как я упомянул, бумагой с китайскими иероглифами на ней. Нейрс повернулся ко мне и пожал мою руку.

— Я уж думал, что нам никогда не дождаться этого дня, — сказал он. — Поздравляю вас, мистер Додд, с удачной мыслью.

Тон капитана глубоко на меня подействовал, а когда Джонсон и матросы принялись поздравлять меня и пожимать мне руки, у меня на глаза навернулись слезы.

— В каждой жестянке будет побольше двух фунтов, — сказал Нейрс, взвешивая одну из них в руке, — итого двести пятьдесят долларов на куль. За дело, ребята! Мы еще до вечера сделаем из мистера Додда миллионера.

Странно было видеть, с какой яростью мы снова накинулись на кули. Ведь матросам уже не на что было надеяться. Но зато теперь стало очевидным, что работаем мы не напрасно. Куль за кулем вспарывался и опустошался, мы уже ходили по колено в рисе, пот заливал нам глаза, спины и руки у нас отчаянно ныли, и все же наш пыл не проходил. Настало время обеда. Мы были слишком утомлены, чтобы есть, и так охрипли, что не могли говорить, и все же, не успел обед прийти к концу, как мы уже снова зарылись в рис. Когда наступил вечер, все до единого кули были вскрыты, и мы подвели удивительный итог нашим поискам.

Из всех загадок, связанных с «Летящим по ветру», эта оказалась самой необъяснимой. Из шести тысяч кулей контрабанда хранилась только в двадцати; в каждом оказалось тоже примерно по двенадцати фунтов опиума — в общей сложности двести сорок фунтов. В Сан-Франциско опиум стоил немногим дороже двадцати долларов за фунт, хотя в Гонолулу, где продажа его была запрещена, за тот же фунт можно было выручить до сорока долларов. Таким образом, по ценам Гонолулу стоимость опиума на борту «Летящего по ветру» не достигала и десяти тысяч долларов, а по ценам Сан-Франциско — даже пяти. Мы с Джимом заплатили за него пятьдесят тысяч долларов. А Бэллерс готов был торговаться и дальше.

Я отказывался что-нибудь понимать. Можно было возразить, что не все потеряно, что нам просто предстоит отыскать еще один тайник, и, разумеется, мы так и подумали. Вряд ли какой-нибудь другой корабль обыскивался с таким тщанием. Была осмотрена каждая балка. Были испробованы все средства. День за днем, все больше отчаиваясь, мы продолжали терзать бриг, подбадривая матросов обещаниями и подарками. Вечер за вечером мы с Нейрсом сидели вдвоем в маленькой каюте, тщетно стараясь сообразить, не просмотрели ли мы какую-нибудь возможность. И я готов отвечать головой, что на всем корабле не осталось ничего ценного, кроме дерева, из которого он был построен, и медных гвоздей. Таким образом, сомнений не оставалось: мы уплатили пятьдесят тысяч долларов, оплатили фрахт шхуны и выплатили чудовищные проценты в надежде, что нам удастся получить тысяч восемь чистой прибыли. Теперь же мы оказались банкротами и к тому же попали в чрезвычайно глупое положение. Нам предстояло стать всеобщим посмешищем. Надеюсь, я сумел сохранить внешнее спокойствие. Собственно говоря, с того дня, когда мы нашли опиум, я ни на что больше не рассчитывал, но мысль о Джиме и Мэйми терзала и жгла меня, и я замкнулся в себе, избегая разговоров и выражений сочувствия.

Вот в каком настроении я был, когда капитан предложил мне прогуляться по острову. Я понял, что он хочет о чем-то со мной поговорить, и, хотя опасался, что последуют дружеские советы и утешения, вынужден был согласиться.

Некоторое время мы молча шли вдоль берега. Над песком дрожало жаркое марево. От блеска воды у нас начинали болеть глаза. Крики птиц и рев прибоя сливались в одну дикую симфонию.

— Я думаю, мне не надо объяснять вам, что больше искать нечего? — спросил Нейрс.

— Да, — сказал я.

— Я собираюсь завтра выйти в море, — продолжал он.

— Это самое лучшее, что вы можете сделать, — тил я.

— Возьмем курс на Гонолулу? — спросил он.

— Конечно, не будем отступать от намеченного плана! — воскликнул я. — Гонолулу так Гонолулу…

Мы помолчали, а потом Нейрс откашлялся и начал снова:

— Мы с вами стали неплохими друзьями, мистер Додд. Мы прошли через испытания, в которых проверяется человек. Нам пришлось много работать в самых тяжелых условиях, и мы ничего не сумели добиться. И за все это время мы ни разу не повздорили. Я говорю это не для того, чтобы хвалить себя: это моя обязанность, за то мне платят, для того я и пошел в море, но вы — дело другое; для вас это было все внове, и мне очень нравилось, как вы до самого конца не падали духом, трудились наравне со всеми и так прекрасно сумели справиться со своим разочарованием. Ведь мы же все понимаем, каково у вас сейчас на душе. И позвольте сказать мне вам, мистер Додд, что во всем этом деле вы показали себя настоящим человеком и что все вам сочувствуют и вами восхищаются. И еще хочу вам сказать, что я принял это дело к сердцу не меньше, чем вы сами. Меня досада душит, когда я думаю, что мы оказались побитыми. Да если б я думал, что от ожидания будет какой-нибудь толк, я бы остался на этом острове, пока мы все не перемерли бы с голоду.

Я попытался было поблагодарить его за добрые чувства, но он не дал мне сказать ни слова.

— Я пригласил вас на берег не для того, чтобы говорить комплименты. Теперь мы понимаем друг друга, вот и все. Я думаю, что вы можете мне доверять. А поговорить с вами я хотел о более важном деле: что мы будем делать с «Летящим по ветру» и со всеми этими грошовыми тайнами?

— По правде говоря, я об этом не думал, — ответил я. — Но вряд ли я это так оставлю. И, если этот самозваный капитан Трент еще жив, я его отыщу, где бы он ни прятался.

— Для этого вам достаточно только рассказать всю историю, — сказал Нейрс. — Она будет иметь большой успех. Не так-то часто репортерам удается наткнуться на что-нибудь подобнее. И я скажу вам, что будет дальше, мистер Додд. Ее передадут по телеграфу, напечатают на первой странице под огромными заголовками, власти придут в бешенство и дадут опровержение, и она сразит самозваного капитана Трента в каком-нибудь мексиканском кабаке и уничтожит самозваного Годдедааля в каком-нибудь портовом ресторанчике на Балтике, и прихлопнет Харди и Брауна в каком-нибудь матросском притоне в Гриноке. Нет никаких сомнений, что вы можете поднять шум до небес. Вопрос только в том, хотите ли вы этого.

— Ну, — ответил я, — я твердо знаю, что не хочу одного: я не хочу выставлять на всеобщее посмешище себя и Пинкертона. Мы ведь такие честные, что готовы торговать контрабандным опиумом; такие умные, что заплатили пятьдесят тысяч долларов за кота в мешке.

— Да, эта история может повредить вам в делах, и я рад, что вы приняли такое решение, потому что мне не по нутру было бы устраивать шум. Конечно, здесь не все чисто, но, если бы мы попробовали что-нибудь предпринять, главные участники преспокойно улизнули бы с добычей, а нам в руки попали бы только бедняги, которые толком ничего и не знали. Вам известно, что я не слишком-то уважаю матросов торгового флота, но ведь им, беднягам, приходится выполнять приказы, а если вы попробуете поднять шум, десять против одного, что отвечать должен будет именно такой ни в чем не повинный олух. Другое дело, если бы мы точно знали, что здесь произошло. А раз не знаем, то лучше промолчать.

— Вы говорите так, словно это зависит от нас, — возразил я.

— А от кого же? — спросил он.

— Есть же и другие, — заметил я. — Матросам известно слишком много, и вы не можете помешать им рассказывать все, что они знают.

— Не могу? — переспросил Нейрс. — Ну, это еще мы посмотрим. Когда они сойдут на берег, то будут сильно на взводе, к вечеру совсем напьются, а на другой день все уже окажутся на разных кораблях и поплывут в разные стороны. Может быть, я и не могу помешать им рассказывать, но, во всяком случае, рассказывать они будут поодиночке. Если разом будет говорить вся команда, к ней могут и прислушаться, но если это будет один матрос, то кого заинтересует его вранье? И, во всяком случае, прежде чем они начнут рассказывать, пройдет не меньше шести месяцев, а если нам повезет и мы подыщем для них китобойные суда, то и три года. А к тому времени, мистер Додд, много воды утечет.

— Если не ошибаюсь, это называется насильственной вербовкой? — осведомился я. — А мне казалось, что такие вещи бывают только в грошовых романах.

— Ну, грошовым романам тоже можно верить, — возразил капитан, — только там одновременно происходит куда больше событий, чем в настоящей жизни. И перевирают все, что касается кораблевождения.

— Так что, по-вашему, мы можем скрыть это дело? — задумчиво произнес я.

— Правда, еще кое-кто может проговориться, — заметил капитан, — хотя ей, пожалуй, сказать уже нечего.

— А кто же это? — спросил я.

— Вон эта посудина, — ответил он, указывая на бриг. — Я знаю, что на ней ничего не осталось, ну, а вдруг все-таки кто-нибудь другой попадет на этот забытый богом остров, отправится осмотреть бриг, который мы весь ободрали, и наткнется на то самое, чего мы не заметили и из чего можно понять всю историю? Конечно, это маловероятно. Только почему-то

маловероятное случается очень часто. Вы можете еще спросить, почему вдруг мне стало жаль этих мошенников? Они разорили вас и мистера Пинкертона, они своими загадками заставили меня поседеть, они наверняка замешаны в какой-то темной истории, и больше мне о них ничего не известно. В том-то все и дело, что я не знаю ничего определенного. Неизвестно, к чему может привести наше вмешательство и кто от него пострадает. Так что позвольте мне разделаться с бригом на свой манер.

— Конечно… Делайте с ним что хотите, — рассеянно ответил я, потому что мне вдруг в голову пришла новая мысль, заставившая меня затем воскликнуть: — Капитан! Вы ошибаетесь. Мы не можем этого замять. Вы забыли об одном обстоятельстве.

— О каком же? — спросил он.

— Самозваный капитан Трент, самозваный Годдедааль, самозваная команда — все отправились к себе на родину, — сказал я. — Если мы правы, никто из них туда не попадет. И, по-вашему, подобное обстоятельство пройдет незамеченным?

— Это же моряки, — сказал капитан, — всего только моряки. Если бы они все были из одного города, я бы этого не сказал. Но ведь один из Гулля, другой из Швеции, третий с Клайда, четвертый с Темзы. Ну, и в каждом отдельном месте что будет? Ничего особенного. Просто еще один моряк пропал без вести: перепился до смерти, или утонул, или был брошен в каком-то дальнем порту — обычный конец моряка.

Горечь, звучавшая в его словах, сильно на меня подействовала.

— Не знаю, — воскликнул я, вскакивая на ноги (мы уже некоторое время сидели на земле), — не знаю, как я смогу теперь вернуться к Джиму…

— Вот что, — сказал Нейрс, проявляя неожиданный такт, — мне пора на шхуну. Джонсон на бриге укладывает последние паруса, а перед выходом в море «Нору» надо привести в порядок. Может быть, вы хотите пока побыть на этом птичьем дворе? Перед ужином я пришлю за вами лодку.

Его предложение меня обрадовало. В эту минуту мне больше всего хотелось побыть одному — настолько, что меня не пугала возможность получить солнечный удар или ослепнуть от блеска песка и воды. Мне трудно передать, о чем я думал: о Джиме, о Мэйми, о нашем разорении, об утраченных мною надеждах, о судьбе, которая ожидала меня, — скучная и однообразная работа, не приносящая ни славы, ни радости, от которой меня избавит только смерть. Во всяком случае, я был так погружен в свои грустные размышления, что совершенно не обращал внимания, куда иду. И какимто образом оказался в самой высокой части островка, до которой добрался по той части кустарника, где почти не гнездились птицы. И тут, очнувшись, я сделал свое последнее открытие.

С того места, где я стоял, передо мной открывался широкий вид на лагуну, на окаймлявший ее риф, на безграничный простор океана за ним. В лагуне я увидел соседний островок, бриг, «Нору Крейн» и шлюпку с «Норы», которая направлялась к островку, где я, находился, — солнце уже почти касалось краем моря, и над камбузом шхуны вился дымок, возвещавший ужин. Таким образом, хотя мое открытие было и поразительным и многозначительным, у меня не было времени подробно его рассмотреть. Увидел же я черные угли большого костра. Судя по всему, он горел несколько дней и пламя достигало огромной высоты. Взглянув на полуобугленную балку, лежавшую на самом краю кострища, я догадался, что костер этот поддерживали валявшимися на берегу обломками кораблей и что поддерживал его не один человек. И я понял, что несколько несчастных, потерпевших крушение, добрались до этого клочка суши, затерянного в океане, и жгли здесь свой сигнальный костер. В следующее мгновение до меня донесся оклик — шлюпка пристала к берегу; и я, вспугивая птиц, пошел напролом через кусты, чтобы навсегда, как я надеялся, расстаться с этим унылым островком.

ГЛАВА XVI,

В КОТОРОЙ Я СТАНОВЛЮСЬ КОНТРАБАНДИСТОМ, А КАПИТАН ЗАНИМАЕТСЯ КАЗУИСТИКОЙ

Эту последнюю ночь, проведенную в лагуне острова Мидуэй, я почти не спал, так что на следующее утро, когда с первыми лучами солнца мы снялись с якоря, я еще лежал, охваченный тяжелой дремой, и поднялся на палубу, только когда шхуна уже выходила из узкого прохода в открытое море. Почти у самого ее борта с ревом развертывался свиток белых бурунов, а позади я увидел клубы дыма, поднимавшиеся над остовом брига. Из его люков уже вырывались языки пламени, и стаи морских птиц в испуге летели прочь от своего бывшего приюта. Чем дальше мы отплывали, тем сильнее разгорался пожар на «Летящем по ветру», и, когда остров уже скрылся за горизонтом, мы еще видели столб дыма, словно вырывавшийся из пароходной трубы. Потом и он исчез из виду, и «Нора Крейн» снова оказалась в пустынном мире облаков и воды, однообразие которого было нарушено только через одиннадцать дней, когда в синей дали замаячили суровые горы Оаху.

С тех пор я часто с удовольствием вспоминал, что мы перед отплытием уничтожили останки «Летящего по ветру», ибо иначе они могли бы рассказать постороннему глазу странную историю. И часто задумывался над тем странным совпадением, что последним моим впечатлением от этого корабля был столб дыма на горизонте, ибо столб дыма несколько раз играл немалую роль во всей этой истории, заманив некоторых ее участников навстречу судьбе, которой они никак не ожидали, и наполнив души других невыразимым ужасом. Однако дым, который видели мы, был последним, и, когда он рассеялся, тайна «Летящего по ветру» стала личным секретом одного человека.

Оаху, главный остров Гавайского архипелага, мы увидели на рассвете, когда уже совсем к нему приближались. Мы пошли вдоль берега, держась как можно ближе к нему. Дул свежий бриз, небо было безоблачно, и ничто не мешало нам рассматривать бесплодные горные склоны и лохматые кокосовые пальмы этого довольно унылого острова. Часов около четырех мы обогнули мыс Вайманоло, прикрывающий с запада большую бухту Гонолулу, минут двадцать крейсировали на виду у всего города, а потом снова вернулись на подветренную сторону Вайманоло, где и лежали в дрейфе до самого вечера.

Когда стемнело, мы снова обогнули мыс и, соблюдая всяческую осторожность, направились к устью Пирл Лох, где, как мы договорились с Джимом, мне предстояло встретиться с контрабандистами. На наше счастье, ночь была темной, а море — очень спокойным. Согласно полученным инструкциям, мы шли с погашенными огнями, вывесив только красные фонари на обеих кран-балках почти у самой воды. На бушприте был выставлен дозорный, другой поместился на рее, а вся остальная команда столпилась на носу, внимательно следя, не появятся ли друзья, или враги. Наступала решительная минута всего нашего предприятия. Мы рисковали своей свободой и репутацией — и ради суммы, столь ничтожной для человека, которому грозило такое банкротство, как мне, что я с трудом удерживался от горького смеха. Но пьеса была поставлена, и мы должны были сыграть ее до конца.

Некоторое время мы видели лишь темные очертания гор, красноватые отблески факелов, при свете которых местные жители ловили рыбу у берега, и скопление ярких огней там, где находился город Гонолулу. Вскоре между нами и берегом появилась красная звездочка и начала медленно к нам приближаться. Это был условный сигнал, и мы поспешили, соответственно инструкции, погасить оба красных фонаря и зажечь белый фонарь на рубке.

Красная звездочка все приближалась, затем послышались плеск весел и человеческие голоса, и наконец с невидимой лодки донесся окрик:

— Это мистер Додд?

— Да, — ответил я. — Джим Пинкертон с вами?

— Нет, сэр, — последовал ответ, — но с нами один из его подручных, по фамилии Спиди.

— Это я, мистер Додд, — раздался голос самого Спиди. — Я привез вам письма.

— Отлично, господа! — сказал я. — Поднимайтесь на борт и позвольте мне просмотреть мою корреспонденцию.

К борту шхуны подошел вельбот, и по трапу поднялись три человека: мой старый знакомец Спиди, морщинистый старичок по фамилии Шарп и краснолицый толстяк, фамилия которого была Фаулер. Эти двое, как я узнал впоследствии, часто работали вместе. Шарп поставлял нужные капиталы, а Фаулер, занимавший на острове довольно видное положение, вкладывал в дело свою энергию, а также личные связи, без которых в подобных случаях не обойтись. Насколько я мог понять, Фаулера особенно привлекала романтическая сторона подобных предприятий, и позднее, в тот же вечер, я почувствовал к нему довольно большую симпатию. Однако в эти первые минуты мне было не до моих новых знакомых — прежде чем Спиди успел достать письма, я уже знал всю величину постигшего нас несчастья.

— Мы должны сообщить вам неприятную новость, мистер Додд, — сказал Фаулер, — ваша фирма обанкротилась.

— Как! Уже? — воскликнул я.

— Еще удивительно, что Пинкертон сумел продержаться так долго, — последовал ответ. — Покупка брига истощила ваш кредит. Ведь хотя ваша фирма и вела большие дела, капиталы ее были очень невелики, так что, когда положение обострилось, вас могло спасти только чудо. Пинкертон объявлен банкротом, кредиторы получили по семь центов за доллар, но, в общем, все обошлось сравнительно благополучно, и газеты на ваг не особенно нападали — насколько мне известно, у Джима в этих кругах есть связи. Беда только в том, что теперь ваша покупка «Летящего по ветру» получила большую огласку, в частности здесь, в Гонолулу. Так что чем скорее мы заберем товар и выложим доллары, тем лучше для всех нас.

— Господа, — сказал я, — вы должны извинить меня.

Мой друг капитан угостит вас шампанским, чтобы вам не было так скучно ждать, потому что, пока я не прочту эти письма, я не способен ни о чем разговаривать.

Они начали было возражать — и, безусловно, всякое промедление было чревато опасностью, — но моя растерянность и горе были настолько очевидны, что у них не хватило духу настаивать, и вскоре я, оставшись один на палубе, уже читал печальные письма, которые привожу ниже.

«Мой дорогой Лауден! — начиналось первое. — Это письмо передаст тебе твой друг Спиди, с которым вы делили акции серебряных рудников. Его непоколебимая честность и искренняя привязанность к тебе делают его наиболее подходящим агентом для наших целей в Гонолулу, потому что нам придется иметь дело отнюдь не с простаками. Главный там — Билли Фаулер (ты, наверное, слышал о Билли?). Он занимается политикой и умеет найти общий язык с таможней. Мне предстоит тяжелое время в конторе, но я исполнен сил и бодрости. Со мной Мэйми, а мой компаньон мчится на всех парусах к сокровищу, скрытому на бриге, и я чувствую, что могу жонглировать египетскими пирамидами, как фокусник жестяными тарелками. Я могу пожелать только одного, Лауден: чтобы ты чувствовал то же одушевление, что и я. Мне кажется, я не хожу, а летаю. Мэйми просто чудо. Лучшей поддержки не мог бы себе пожелать ни один человек. Я бью все рекорды.

Твой верный компаньон Джим Пинкертон».

Второе письмо было написано совсем в ином тоне:

«Дорогой Лауден!

Как мне подготовить тебя к тяжелому известию? Я боюсь, ты не перенесешь этого удара: сегодня без четверти двенадцать паша фирма обанкротилась, и всему причиной вексель Бредли (на двести долларов). Он оказался последней соломинкой, и дефицит равен двумстам пятидесяти тысячам долларов. Какой позор! Какое несчастье! А ты ведь уехал всего три

недели назад, Лауден, поверь, твой компаньон делал что мог. Если бы это было в человеческих силах, я нашел бы выход из положения, но все рухнуло разом. Я выплачу, что смогу. Все кредиторы накинулись на нас, как стая волков. Я еще не знаю точно, какими капиталами мы будем располагать, настолько разнообразны операции, которые проводила наша фирма, но я работаю дни и ночи и надеюсь, что сумма наберется немалая. Если только «Летящий по ветру» принесет хотя бы половину того, на что мы рассчитываем, последнее слово останется за нами. Я бодр и полон сил, как всегда, и никакие неприятности не могут сломить мой дух, а Мэйми служит мне истинной поддержкой. У меня такое ощущение, что банкротство поразило только меня, не коснувшись ни тебя, ни ее. Поторопись. Это все, что от тебя требуется.

Всегда твой Дж. Пинкертон».

Третье письмо можно назвать просто унылым.

«Мой бедный Лауден! — начиналось оно. — Я каждый день засиживаюсь далеко за полночь, стараясь привести наши дела в порядок. Ты и представить себе не можешь, как они сложны и запутанны. Дуглас Лонгхерст сказал в шутку, что ликвидатор просто захлебнется. И не могу отрицать, что кое-какие сделки смахивают на спекуляции. Не дай бог, чтоб тебе, человеку такому утонченному и щепетильному, когда-нибудь пришлось столкнуться с судебными исполнителями. Они лишены всякого подобия человеческих чувств. Но мне было бы легче переносить все это, если бы не шумиха, поднятая газетами. Как часто, Лауден, вспоминаю я твои справедливые упреки в адрес нашей печати! Одна газета напечатала интервью со мной, безбожно исказив все, что я говорил, и снабдив его издевательскими пояснениями. Ты был бы вне себя, настолько оно бесчеловечно. Да я бы не написал так и о бешеной собаке, случись с ней такое несчастье, как со мной. Мэйми просто ахнула. А до сих пор она держалась совсем молодцом. Как удивительно верно заметил ты тогда в Париже, что не надо касаться внешности! Этот репортеришко написал… (далее следовала тщательно вычеркнутая строчка, после чего мой друг перешел к другой теме). Мне трудно писать о состоянии наших дел. У нас нет никаких активов.

Даже от «Тринадцати звездочек» толку мало, хотя более доходное предприятие трудно было придумать. После покупки этого брига проклятие легло на все наши дела. И что толку! Что бы ты ни нашел на этом бриге, этого не хватит для покрытия нашего дефицита. Меня мучает мысль, что ты считаешь меня виноватым Я ведь помню, как не слушал твоих уговоров. Ах, Лауден, пожалей своего несчастного компаньона! Это меня убивает. Мысль о твоих строгих принципах приводит меня в трепет. Меня угнетает, что не все мои книги в порядке, и я не знаю, что мне делать, словно у меня помутилось в голове. Лауден, если будут какие-нибудь неприятности, то я постараюсь выгородить тебя. Я уже заявил, судебным исполнителям, что ты ничего не понимаешь в делах и не занимался ими. Хочу верить, что я поступил правильно. Я знаю, что это была большая вольность с моей стороны. Я знаю, что ты имеешь полное право жаловаться. Но если бы ты слышал, что они говорили! А ведь я всегда действовал в рамках закона. Даже ты с твоей щепетильностью не мог бы ни к чему придраться, если бы все пошло так, как надо. И ведь ты знаешь, что покупка «Летящего по ветру» была самой крупной нашей сделкой, а предложил ее ты. Мэйми говорит, что никогда бы не смогла взглянуть тебе в лицо, если бы купить его предложил я. Она такая щепетильная!

Твой замученный Джим».

Последнее письмо начиналось без всякого обращения:

«Моей деловой карьере пришел конец. Я сдаюсь, у меня не осталось больше сил. Наверное, мне надо бы радоваться, потому что все кончено и суд уже был. Не знаю, как я его перенес, и ничего не помню. Если операция закончится благополучно — я имею в виду «Летящий по ветру», — мы уедем в Европу и будем жить на проценты с капитала. Работать я больше не смогу. Меня начинает бить дрожь, когда кто-нибудь со мной заговаривает. Прежде

я всегда надеялся и работал не покладая рук. А к чему это привело? Я хочу лежать в гамаке, ни о чем не думать и читать Шекспира. Не считай меня трусом, Лауден, я просто болен. Мне необходимо отдохнуть. Всю жизнь я трудился изо всех сил, не щадя себя. Каждый заработанный мной доллар я чеканил из собственного мозга. Подлостей я никогда не делал, всегда старался быть порядочным человеком, подавал нищим и теперь имею право отдохнуть. Я должен отдыхать целый год, иначе умру от беспокойства и мозгового переутомления. Не думай, что я преувеличиваю, дело обстоит именно так. Если ты все-таки чтонибудь нашел, доверься Спили и постарайся, чтобы кредиторы не пронюхали о твоей находке. Я помог тебе, когда ты попал в беду, — помоги же теперь мне. Не обманывай себя. Если ты не поможешь мне сейчас, потом будет поздно. Я стал клерком и путаюсь в расчетах. Мэйми работает машинисткой на бирже. Для меня в жизни ничего не осталось. Я знаю, тебе будет неприятно сделать то, о чем я прошу. Помни только об одном: это жизнь или смерть для Джима Пинкертона.

Постскриптум. Мы выплатили семь центов за доллар. Какое падение! Ну, слезами горю не поможешь, я не буду хныкать. Но, Лауден, я хочу жить. Я отказался от всяких честолюбивых замыслов, я просто хочу жить, и только. Все-таки в жизни для меня еще осталось много радости. Я оказался плохим клерком. Будь я хозяином, такой работник не удержался бы у меня и сорока минут, но я уже больше не хозяин и никогда им не буду. Ты — моя последняя надежда. Так помоги же Джиму Пинкертону».

За этим постскриптумом следовал еще один, полный таких же жалоб и просьб, а кроме того, в письмо было вложено заключение врача, достаточно мрачное. Какое впечатление все это произвело на меня, догадаться нетрудно. Кончив читать, я подошел к борту и с глубоким вздохом устремил взгляд на огни Гонолулу. В первое мгновение я совсем растерялся, но потом почувствовал внезапный прилив энергии. На Джима мне больше нельзя было полагаться, я должен был действовать сам и все решать на свою ответственность.

Но одно дело — сказать, а другое — сделать. Я испытывал жгучую жалость к моему несчастному другу. Его отчаяние угнетало меня. Я вспоминал, каким он был, и с болью видел, насколько несчастье сломило его. Я не чувствовал силы ни последовать его предложению, ни поступить наперекор ему. Воспоминание о моем отце, которого никто не мог обвинить в злостном банкротстве, страх перед законом — на меня словно повеяло тюремным холодом — толкали меня в одну сторону, а просьбы моего больного друга — в другую. Но и пока я колебался, я твердо знал одно: раз выбрав путь, я пойду по нему до конца.

Тут я вспомнил, что у меня есть друг, с которым я могу посоветоваться. Спустившись в каюту, я сказал, обращаясь к нашим гостям:

— Господа! Я прошу у вас еще несколько минут, хотя боюсь, они покажутся вам долгими, так как я лишу вас собеседника. Мне надо поговорить с капитаном Нейрсом.

Оба, контрабандиста вскочили на ноги, заявляя, что дать больше не могут, что и так уже они многим рискуют и что, если я немедленно не приступлю к делу, они вернутся на берег.

— Как вам угодно, господа, — ответил я, — и, во всяком случае, я еще не знаю, могу ли предложить вам что-нибудь вас интересующее. Кроме того, прежде надо многое решить, и позвольте сказать вам, что я не привык действовать по принуждению.

— Само собой разумеется, мистер Додд. Мы вовсе не хотим вас к чему-нибудь принудить, — сказал Фаулер, — но подумайте и о нашем положении — оно действительно опасно. Ведь не только мы видели вашу шхуну, когда она обогнула Ваймаоло.

— Мистер Фаулср, — заметил я, — я ведь тоже не вчера родился. Разрешите, я выскажу вам свое мнение — возможно, я ошибаюсь, но переубедить меня не удастся; если бы таможенники собирались нагрянуть на нашу шхуну, они уже были бы здесь. Другими словами, кто-то нам ворожит, и, думаю, я не ошибусь, если скажу, что имя этого благодетеля — Фаулер.

Они оба расхохотались, и, после того как была раскупорена еще одна из бутылок шампанского, преподнесенных Лонгхерстом Джиму, они без дальнейших возражений отпустили меня с капитаном на палубу. Я протянул Нейрсу письма, и он быстро их просмотрел.

— Я хочу знать ваше мнение, капитан, — сказал я, — как вы думаете, что все это означает?

— Это означает, — ответил капитан, — что вам предстоит во всем положиться на Спиди, отдать ему всю выручку, а самому помалкивать. Я даже жалею, что вы мне показали письма. Если добавить к этому деньги с брига, сумма получится немалая, и ее сокрытие…

— То есть если я на это пойду, — сказал я.

— Именно, — ответил он, — если вы на это пойдете.

— А какие есть за и против? — заметил я.

— Во-первых, тюрьма, — ответил капитан. — Но даже если вы ее избежите, у вас будет нехорошо на душе. Сумма достаточно велика, чтобы из-за нее могли выйти большие неприятности, но все же не настолько велика, чтобы служить оправданием. Человек, который продает свою совесть меньше чем за шестизначную цифру, падает в собственных глазах. По крайней мере так дело обстоит со мной. Ради миллиона еще можно бы рискнуть. Да и то… А после такой сделки останется скверный вкус во рту. Ну, и, кроме того, Спиди. Вы его хорошо знаете?

— Не очень, — ответил я.

— Так вот, он может испариться, захватив с собой весь капитал, но, даже если нет, вам, пожалуй, придется поить и кормить его до конца вашей жизни. Я бы не стал так рисковать. Конечно, вы должны думать о мистере Пинкертоне, он ведь был вам хорошим другом и помогал вам как только мог. Не так ли?

— Именно! — воскликнул я. — Мне трудно дан: с объяснить вам, скольким я ему обязан.

— Да, это имеет значение, — заметил капитан. — Если бы речь шла только о денежной стороне вопроса, я бы сказал — «слишком мало», но приходится поступаться своими принципами, когда дело касается настоящих друзей. Судя по всему, ваш Пинкертон насмерть перепуган и болен, и записку его врача нельзя назвать слишком обнадеживающей! Так вот, представьте себе, каково вам будет, если он умрет. А с другой стороны, вся ответственность за сокрытие этих денег падет на вас. Ваше положение в двух словах сводится к следующему: «Мой друг Пинкертон может попасть на тот свет, я могу попасть в тюрьму. Чего я боюсь меньше?»

— По-моему, это не совсем верно, — запротестовал я. — Приходится выбирать между тем, что честно и что нечестно.

— Что же, — ответил Нейрс, — мне кажется, такое соображение вас не смущало, когда вы взялись за контрабанду опиума.

— Вы правы, — ответил я, — хоть мне и очень стыдно признаться в этом.

— Тем не менее, — продолжал Нейрс, — вы взялись за это дело без колебаний, и мне пришлось выслушать немало ваших жалоб, что опиума у нас гораздо меньше, чем вам хотелось бы. Вероятно, ваш компаньон не видит большой разницы между сокрытием капитала и контрабандой.

— Да, так оно и есть! — воскликнул я. — И, хотя я чувствую, что это далеко не одно и то же, я не могу вам объяснить, в чем разница.

— Так всегда бывает, — заметил Нейрс назидательно. — Кому что нравится. Но как это все подействует на вашего друга? Вы отказываете ему в одолжении, ссылаясь на то, что поступить так было бы нечестно; вы наносите ему удар и обливаете его презрением. Поверьте, мистер Додд, никакая дружба этого не выдержит. Вы должны либо стать на точку зрения вашего друга, либо порвать с ним.

— Не верю! — воскликнул я. — Вы не знаете Джима!

— Ну, сами увидите, — ответил Нейрс. — И вот еще что: эти деньги, кажется, очень нужны мистеру Пинкертону. Для него они означают жизнь и здоровье. Но, если поделить эту сумму между всеми вашими кредиторами, на долю каждого придутся гроши, и вам даже спасибо не скажут. Ведь всем известно, на какие затраты вы решились за право обыскать этот бриг. И вот, добившись своего, вы возвращаетесь в Сан-Франциско и выплачиваете своим кредиторам десять тысяч… ну, пусть даже двадцать, причем вам придется признаться, что часть этой суммы выручена за контрабанду. А ведь Билли Фаулер расписки вам не выдаст — и не надейтесь! Взгляните теперь на все со стороны. Ясно как день, что вас заподозрят в утайке. Эти десять тысяч — пустяки, и все еще будут удивляться вашему нахальству. Таким образом, мистер Додд, как бы вы ни поступили, ваша репутация погибла, и пусть это вас не беспокоит.

— Наверное, вы мне не поверите, — сказал я, — но я испытываю большое облегчение.

— Ну, значит, мы с вами устроены по-разному, и, раз уж речь зашла обо мне, подумайте и о моем положении. Я не причиню вам лишних неприятностей, у вас и своих хватает; если моему другу грозит беда, у меня достанет совести закрыть глаза и сделать то, что он просит, но в то же время мои хозяева — это тоже ваши кредиторы, а я их представитель, и мне придется смотреть в сторону, пока утаиваемая от них сумма будет переправляться на берег в карманах мистера Спиди. Но я готов с радостью сделать это для вас, мистер Додд, и жалею только, что не могу сделать большего.

— Спасибо, капитан, — ответил я, — однако мое решение твердо — я выбираю честный путь.

— Но не из-за меня же? — спросил капитан.

— Отчасти, — ответил я. — Надеюсь, что я не трус и решился бы ради Джима на воровство, но ведь речь идет и о вас, и о Спиди, и о многих еще других, и, значит, таким образом, я Джима спасти не могу. Когда мы вернемся во Фриско, я буду работать для него. Возможно, этого будет мало, и он все-таки умрет, а меня замучат угрызения совести, но другого выхода нет.

— Не знаю, правильно ли вы поступаете, — ответил Нейрс, — но для меня так, конечно, лучше. И вот что: не попросить ли вам наших гостей уехать не солоно хлебавши? Какой смысл рисковать ради кредиторов?

— Кредиторы тут ни при чем, — ответил я, — но я их слишком долго задерживал, и теперь у меня не хватает духу просто так указать им на дверь.

И действительно, только эта причина побудила меня заключить сделку, которая была мне теперь ни к чему. Но она оказалась настолько занятной, чти я почувствовал себя вполне вознагражденным за свои хлопоты. Фаулер и Шарп были чрезвычайно хитрые и ловкие дельцы. Почему-то они оказали мне честь, сочтя меня себе подобным, и к тому времени, когда мы кончили торговаться, успели проникнуться ко мне глубочайшим уважением. Я заслужил его только благодаря тому, что говорил чистую правду и не скрывал своего равнодушия к результатам наших переговоров. Но они, разумеется, не могли принять это за чистую монету.

Когда я, например, упомянул, что у меня всего только двести сорок фунтов опиума, мои контрабандисты обменялись многозначительным взглядом, словно говорившим: «Вот достойный нас противник», — а когда я небрежно назначил пятьдесят пять долларов за фунт в ответ на предложенные ими двадцать, сказав при этом: «Меня все это мало интересует, господа, хотите берите, хотите нет, но, во всяком случае, выпейте еще шампанского», — я с большим удовольствием заметил, как Шарп толкнул Фаулера локтем в бок, и тот поперхнулся и вместо радостного «Наливайте!», запинаясь, пробормотал: «Нет, мы больше пить не будем. Спасибо, мистер Додд!» Более того: когда сделка была наконец заключена, опиум приобретен ими по пятьдесят долларов за фунт (весьма выгодный вариант для моих кредиторов) и наши

гости отправились восвояси на своем вельботе, мне удалось услышать следующую лестную похвалу (они, очевидно, не знали, что по тихой воде звук разносится очень далеко):

— Этому Додду палец в рот не клади! — сказал Шарп.

— Хоть убейте, не понимаю, что у него на уме, — поддержал его Фаулер. И вот мы снова остались одни на «Норе Крейн». Я снова мучительно вспоминал все случившееся в этот вечер, жалобы Пинкертона и мое собственное жестокое решение. Если верить всякой чепухе, которую мне приходилось читать, сознание собственной добродетели должно было бы служить мне поддержкой. На самом же деле меня терзала мысль, что я пожертвовал своим больным другом, испугавшись тюрьмы и огласки, а сознание собственной трусости никому еще не служило поддержкой в тяжелый час.

ГЛАВА XVII
СВЕДЕНИЯ С ВОЕННОГО КОРАБЛЯ

На другой день, едва встало солнце, мы снялись с якоря и, подгоняемые крепким бризом, понеслись к белым домикам города, утопавшим в зелени. Очень скоро мы уже вошли в маленькую гавань, где стояло много судов, и я, помнится, обратил внимание на один военный корабль, но на душе у меня было так тяжело, что я скоро забыл об этом обстоятельстве.

И вообще у меня было мало времени для размышлений. Шарп и Фаулер расстались со мной накануне в полной уверенности, что я лжец, каких мало, и это милое мнение заставило их явиться к нам на борт, едва мы подошли к пристани, и предложить мне свою помощь и гостеприимство — очевидно, наша сделка в их глазах была для меня лучшей рекомендацией. Мне надо было покончить с делами, я нуждался в помощи, и Фаулер почему-то произвел на меня приятное впечатление. Короче говоря, я воспользовался их любезностью. В первую половину дня я под руководством Шарпа подыскивал покупателей для чая и шелка, а потом пообедал с ним в отдельном кабинете ресторана «Гавайи» (в присутствии третьих лиц Шарп был убежденным поборником трезвости). В четыре часа дня я отправился в бунгало Фаулера на пляже Вайкики, где провел вечер в обществе золотой молодежи Гонолулу; мы выкупались в море, пообедали, послушали музыку и потом почти до утра играли в покер. Я никогда не находил большого удовольствия в том, чтобы глубокой ночью проигрывать деньги какому-нибудь пьяному юнцу, но в этот вечер, признаюсь, такое времяпрепровождение показалось мне восхитительным, и я сорил деньгами моих кредиторов и пил шампанское Фаулера с равным успехом и беспечностью.

На другое утро я проснулся с легкой головной болью и обнаружил, что рискую остаться без завтрака, — молодые кутилы, многие из которых еще не успели отрезветь, завладели кухней и принялись собственноручно стряпать завтрак, но, поскольку каждый хотел изготовить именно свое собственное блюдо и, не стесняясь, уничтожал плоды стараний своих соседей, я не сомневался, что яиц будет разбито много, а яичниц изжарено мало. Однако, отыскав на полке кувшин молока и ломоть хлеба, я утолил свой голод и решил незаметно отправиться погулять, прежде чем вчерашние развлечения возобновятся. Было воскресенье, и я мог, забыв о делах, насладиться прогулкой по свежему воздуху и одиночеством.

Я пошел по тропинке к морю вдоль подножия погасшего кратера, известного под названием ДайамондХед. Тропинка вилась среди рощи вечнозеленых деревьев, где там и сям виднелись домики местных жителей. Тут я мог вдосталь налюбоваться картинами туземной жизни. Большеглазые голые ребятишки играли с поросятами, под деревом спал юноша, почтенный старец в очках читал по складам библию на гавайском языке, в ручье купалась юная дама (зрелище, несколько меня смутившее), а в густой тени возле домиков мелькали яркие пятна пестрых одеяний. Оттуда я вышел на пляж и побрел по песку навстречу ударам могучего пассата. С одной стороны, за сверкающей полосой прибоя, виднелась бухта, усеянная множеством парусов, слева бесплодные кручи и узкие ущелья поднимались к кратеру и синему небу. Несмотря на общество веселых парусников, мной вдруг овладело чувство неизбывного

одиночества. Мне вспомнилось, как накануне за обедом кто-то рассказывал, что примерно над этим местом расположена пещера, уходящая в самые недра вулкана, куда можно проникнуть только с факелами, — там хранятся кости бесчисленных жрецов и воинов и ни на мгновение не умолкает голос невидимой реки, которая устремляется к морю по подземным ходам горы. И тут я внезапно понял, что бунгало, Фаулер и его приятели, деловитый красивый город И корабли в его гавани — всего лишь дети вчерашнего дня, а за много веков до этого на острове, неведомая нам, подобно подземной реке, текла жизнь туземцев со своей славой и честолюбивыми устремлениями, со своими радостями, преступлениями и муками. Даже Халдея не казалась такой древней, а египетские пирамиды — такими таинственными; я услышал, как время отмеряется «барабанами и громом шагов» незапамятных завоеваний, и увидел себя поденкой. И дух вечности улыбнулся над банкротством «Пинкертона и Додда» и над мучениями совести младшего компаньона.

Этому настроению философской грусти, без сомнения, способствовали и вчерашние мои эксцессы, — ведь не только добродетель таит в себе свою награду. Как бы то ни было, у меня стало легче на душе. Вдруг за поворотом тропинки я увидел сигнальную станцию, построенную на самом краю утеса. Новый, свежевыкрашенный дом был открыт всем ударам пассата. В окнах, обращенных к морю, не переставая, дребезжали стекла, и звук этот сливался с грохотом прибоя, разбивающегося о подножия утесов; естественно, что обитатели дома не услышали моих шагов на узкой веранде.

Их было двое: смотритель — пожилой моряк с седеющей бородой и тем особым выражением лица, которое бывает у людей, долго живущих в одиночестве, и его гость — уже немолодой краснобай в форме матроса английского военного флота, сидевший на столе и куривший сигару. Я был встречен очень любезно и вскоре уже слушал с улыбкой разглагольствования моряка.

— Не родись я англичанином, — заявил он, между прочим, — я хотел бы быть французом. Все другие им и в подметки не годятся. Возьмите хоть Соединенные Штаты — там без взятки и дня не проживешь. Знавал я одного американского моряка. Хороший был парень — тоже англичанин по рождению; он служил сигнальщиком на «Вьяндотте». Так он говорил, что никогда бы не получил такого места, если бы не «нашел общего языка с ребятами». Так вот прямо мне и сказал. Ну, мы здесь все англичане…

— Боюсь, что я американец, — перебил я с виноватым видом.

Он на секунду как будто смутился, но тут же оправился и сделал мне необычайно тактичный комплимент:

— Да что вы говорите! Вот уж не подумал бы! По вас этого никак не скажешь, — заключил он, словно я признался, что хлебнул лишнего.

Я поблагодарил его, как всегда благодарю его соотечественников, когда они говорят мне что-нибудь подобное (благодарю я их не столько за любезное отношение ко мне и к моей стране, сколько за проявление истинного британского духа и вкуса). Мое смирение настолько его смягчило, что он одобрительно отозвался об американской манере сшивать паруса.

— Вы сшиваете паруса лучше нас, — сказал он. — Можете утверждать это с чистой совестью.

— Спасибо, — ответил я, — не премину.

После этого наша дружба начала крепнуть с удивительной быстротой, и, когда я стал прощаться, собираясь вернуться в бунгало Фаулера, мой новый знакомый соскочил со стола и предложил составить мне компанию. Я был этому рад, потому что его болтовня весьма меня забавляла. Но, когда он взял свою бескозырку, я обнаружил, что наша беседа может оказаться куда интереснее, чем я предполагал: на ленточке было написано «Буря».

— Послушайте, — сказал я, когда мы попрощались со смотрителем и спустились с веранды на дорожку, — не ваш ли корабль подобрал команду «Летящего по ветру»?

— Он самый, — ответил мой спутник. — И им здорово повезло: этот остров Мидуэй — дыра, каких мало.

— Я как раз оттуда, — заметил я. — Мы с моим компаньоном купили их бриг.

— Прошу прощения, сэр, — вскричал матрос, — вы, значит, хозяин этой белой шхуны?

— Да, — ответил я и продолжал: — Меня очень заинтересовала вся эта история, и я был бы вам очень благодарен, если бы вы рассказали, как их спасли.

— Дело было так, — начал он. — Нам было приказано зайти на Мидуэй проверить, нет ли там потерпевших кораблекрушение, и мы приблизились к нему под вечер. Ночью мы еле ползли — так, чтобы добраться до острова к полудню: старик Тутльс… прошу прощения, сэр, — наш капитан боялся подойти к нему слишком близко ночью, ведь вокруг этого Мидуэя полно всяких подлых течений, — вы же это знаете, потому что были там. Ну, и, наверное, одно из них нас потащило, потому что, когда пробило шесть склянок, хоть мы еще должны были быть далеко от острова, кто-то вдруг увидел парус, а потом и мы все рассмотрели мачты большого брига. Тут мы прибавили ходу, и бриг вместе с островом прямо как вырос из воды. Мы разглядели, что бриг сидит на мели и что вымпел поднят, а флаг спущен. Прибой там здоровый, так что мы в лагуну входить не стали, а послали туда пару шлюпок. Я сам в шлюпке не был, а только стоял у борта и смотрел, но ребята рассказывали, что все они там были перепуганы насмерть и ничего в толк взять не могли. Один все хныкал и заламывал руки. Первым на борт поднялся этот Трент — у него рука была замотана окровавленной тряпкой. Я стоял совсем рядом с трапом и заметил, что ему сильно не по себе. Он словно все время задыхался. Ну, и то сказать, было им чего испугаться. А за Трентом полез его помощник…

— Годдедааль! — воскликнул я.

— Хорошее имечко, ничего не скажешь, — засмеялся матрос, — да только оно было не настоящее — свое настоящее имя он скрывал, потому что происходил из знатной семьи. Один из наших офицеров был с ним знаком в Англии, он его узнал, подошел к нему и говорит: «Здравствуй, Норри, старина!», — а тот до тех пор держался молодцом, как аристократу и положено, а тут, чуть услышал свое настоящее имя, побелел как полотно, посмотрел на мистера Сибрайта, словно черта увидел, и как хлопнется на палубу в обморок! «Отнесите его в мою каюту, — говорит мистер Сибрайт, — это бедный Норри Картью».

— А какой он был, этот мистер Картью? — еле выговорил я.

— Офицерский стюард говорил мне, что он из очень знатной семьи, — ответил мой приятель, — и отец у него был баронетом.

— Я спрашиваю, каков он был из себя? — повторил я.

— Самый обыкновенный. Я бы по виду не догадался, кто он такой. Правда, я ведь его видел, только когда он был весь оборван и перемазан.

— Как же так! — воскликнул я. — Ах да, вспоминаю, он был болен все время, пока вы шли во Фриско…

— Может, болен, а может, просто не хотел, чтобы его видели, только никуда он из каюты не выходил, и стюард, который носил ему обед, говорил мне, что он почти ничего не ел. А во Фриско его отправили на берег тайком от всех. Говорят, дело было так. Его старший брат умер, и он оказался наследником, а перед этим он рассорился с семьей, и никто не знал, куда он делся. И вот, пока он трудился на торговом бриге, потерпел крушение на Мидуэе и уже складывал свои пожитки, готовясь пуститься в море на шлюпке, вдруг приходит наш корабль, он узнает, что стал богачом и его, того и гляди, выберут в парламент. Вот ему и не хотелось на людях показываться. Мы бы с вами на его месте тоже так поступили.

— Возможно, — ответил я. — Ну, а остальных-то вы сидели?

— Само собой, — ответил он, — и ничего дурного о них сказать не могу. Харди, например, много на своем веку повидал, знал и несчастья и удачу. Очень он мне нравился. Хороший

человек. Такой образованный, знал французский и на латыни изъяснялся, что твой туземец. И красив к тому же.

— Много они рассказывали о кораблекрушении? — спросил я.

— А чего там было рассказывать? — ответил матрос. — Об этом уж все в газетах написали. Харди больше рассказывал о том, как он водил знакомство с жокеями, с призовыми боксерами, актерами и прочей такой компанией… А вот и моя лошадь, так что, с вашего разрешения, я тут с вами попрощаюсь.

— Минуточку, — оказал я. — Мистер Сибрайт на борту?

— Нет, сэр, — ответил матрос, — он сейчас на берегу. Я сам отвозил его чемодан в отель.

На этом мы расстались, но мой новый знакомый тут же обогнал меня, восседая на коне (взятом из прокатной конюшни), который явно презирал своего всадника. Я пошел своей дорогой, и в голове моей теснились самые разные мысли. Мне казалось, что у меня в руках ключ к разгадке всех этих тайн. Я узнал настоящее имя Диксона, — его звали Картью. Я узнал, на какие деньги Бэллерс пытался купить бриг, — и это была часть наследства, полученного Картью. И к моей мысленной галерее картин, повествующих о судьбе «Летящего по ветру», прибавилась еще одна картина, пожалуй, наиболее драматичная. Я увидел палубу военного корабля у берегов затерянного в океане острова, офицеров и матросов, и среди них — человека, скрывавшего свое происхождение, пока он плавал на торговом бриге, избежавшего гибели в море и упавшего без чувств, когда он услышал свое собственное имя. Я не мог не вспомнить мой разговор с ним по телефону. Повидимому, у этого Диксона. Годдедааля или Картью совесть была сильно нечиста. Судя по лицу на фотографии, которую мы нашли на «Летящем по ветру», изображенный на ней человек вполне был способен на подобные бурные переживания, и я пришел к заключению, что Годдедааль (или Картью) — это разгадка всей тайны.

Одно было ясно: раз «Буря» здесь, я должен познакомиться и с Сибрайтом и с судовым врачом. Поэтому, распрощавшись с мистером Фаулером, я поспешил вернуться в Гонолулу и в тщетном ожидании просидел до вечера на прохладной веранде отеля. Уже пробило девять часов, когда мое терпение было наконец вознаграждено.

— Вот джентльмен, которого вы спрашивали, — сказал мне портье, указывая на молодого человека необычайно томной наружности, лениво игравшего тросточкой.

Признаться, я никак не ожидал увидеть такого изнеженного щеголя и несколько растерялся.

— Если не сшибаюсь, я имею удовольствие говорить с лейтенантом Сибрайтом, — сказал я, подходя к нему.

— О да, — ответил он. — Но, мне кажется, мы незнакомы.

— Я решился заговорить с вами именно для того, чтобы мы познакомились, — сказал я, нимало не смущаясь (на невежливость я всегда отвечаю невежливостью, пожалуй, это моя единственная воинственная черта). — Мы оба с вами имеем отношение к делу, которое меня живо интересует, и мне кажется, что я могу оказать некоторую услугу одному из ваших друзей, во всяком случае, сообщить ему кое-какие приятные новости.

Последнее я сказал, чтобы как-то успокоить свою совесть. Никакой услуги мистеру Картью я, разумеется, оказать не мог и не хотел, но твердо знал, что ему будет приятно услышать о том, что «Летящий по ветру» сожжен.

— Я… я вас не понимаю, — запинаясь, проговорил Сибрайт, — у меня нет никаких друзей в Гонолулу.

— Друг, о котором идет речь, находится в Англии, — ответил я. — Это мистер Картью, которого вы подобрали на острове Мидуэй. Моя фирма купила бриг. Я только что вернулся с

Мидуэя, и мне совершенно необходимо связаться с мистером Картью. Надеюсь, вы будете так любезны и сообщите мне его адрес.

Вы видите, что я быстро оставил всякую попытку заинтересовать этого надменного британца. Ему явно было не по себе от моей настойчивости. Я заключил, что, во-первых, он страшно боится, как бы я не навязался ему в знакомые, и что, во-вторых, он неумен, тщеславен, лишен всякой находчивости — улитка без домика — и постарается любой ценой положить конец нашему разговору, даже согласившись на мою просьбу. И я оказался прав. Минуту спустя он поспешно ретировался, вручив мне листок бумаги, на котором было нацарапано: «Дорсет, Столлбридж-ле-Картью, Норрис Картью».

Я одержал победу — поле боя и часть неприятельского обоза оказались в моей власти. Однако во время нашей беседы я испытывал такие же страдания, как мистер Сибрайт, и почувствовал, что у меня нет больше сил для продолжения военных действий. Я понял, что английский флот непобедим (во всяком случае, для меня), и решил впредь держаться от его флага на почтительном расстоянии. Я оставил всякую мысль о поисках доктора и отправился спать. Утром моя решимость не продолжать расследования только укрепилась после случайной встречи с Сибрайтом, который поклонился мне так надменно и сухо, что я счел за благо не заметить его приветствия и не отвечать на него.

Судите же сами, каково было мое удивление, когда через полчаса я получил записку от лейтенанта «Бури» с приглашением посетить корабль.

«Дорогой сэр! — начиналась записка. — Нас всех, разумеется, очень интересует судьба брига „Летящий по ветру", и едва только я упомянул, что имел удовольствие познакомиться с вами, как все мои товарищи единодушно выразили желание видеть вас своим гостем на нашем корабле. Мы были бы очень рады, если бы вы могли посетить нас сегодня вечером или, если вы заняты, пообедали бы с нами завтра пли сегодня». Далее следовало указание часа обеда и подпись: «Дж. Ласеллес Сибрайт» вместе с утверждением, что он остается искренне моим.

«Нет, мистер Ласеллес Сибрайт, — подумал я, — что вы не мой — это ясно, но не менее ясно, что вы Находитесь в подчинении у кого-то другого. Вы рассказали о нашей встрече, получили нахлобучку, написали под диктовку эту записку, и вот я приглашен на борт „Бури", однако не для того, чтобы знакомиться с членами ее экипажа и не для того, чтобы рассказывать о судьбе „Летящего по ветру", но для того, чтобы подвергнуться допросу со стороны человека, интересующегося Картью, и готов держать пари, что это доктор. И еще я готов держать пари, что если бы вы не дали мне вчера этого адреса, то вам не пришлось бы писать записку».

Я тут же ответил, что буду сегодня к обеду, и в назначенный час не слишком бравые на вид матросы «Норы Крейн» доставили меня в шлюпке к ощетиненному орудиями борту «Бури».

Офицеры военного корабля, казалось, были искрение рады мне. Мои сотрапезники, в отличие от Сибрайта, с мальчишеским интересом расспрашивали меня о подробностях нашего плавания. За столом только и разговоров было, что о «Летящем по ветру», о том, как он сел на мель, о том, как я нашел его, о течениях вокруг острова Мидуэй, о его лагуне, о дующих там ветрах. Несколько раз упоминалось имя Картью, причем самым естественным тоном. Случай с ним заставил вспомнить судьбу покойного графа Абердина, который умер помощником капитана на американской шхуне. Если я не узнал о Картью почти ничего нового, это объяснялось тем, что они сами почти ничего не знали, — их просто заинтересовала необыкновенная судьба этого человека и они сожалели о его долгой болезни. Я убедился, что этой темы не избегают и что офицеры «Бури» ничего не стараются скрыть от меня, так как им нечего скрывать.

Все, казалось, было совершенно естественным и нормальным, и, однако, доктор смущал меня. Это был высокий коренастый человек лет пятидесяти, с седеющими волосами, беспокойным ртом и кустистыми бровями. Он говорил редко, прерывая молчание только для того, чтобы отпустить веселую шутку, а его негромкий добродушный смех был необыкновенно

заразителен. Насколько я мог понять, он считался присяжным остряком кают-компании и в то же время пользовался всеобщим уважением.

Вскоре я убедился, что он исподтишка наблюдает за мной, и не преминул последовать его примеру. Если Картью симулировал свою болезнь — а все обстоятельства неопровержимо это доказывали, — то, значит, доктор был посвящен во все или, по крайней мере, во многое. Его суровое, волевое лицо все больше убеждало меня в этом. Человека с такими глазами и с таким ртом нельзя было заставить действовать вслепую или по чьей-то указке. С другой стороны, трудно было поверить, что он согласится потворствовать преступлению. Короче говоря, доктор, казалось, никак не подходил для роли, которую я отвел ему в моих теориях. Я был охвачен удивлением и любопытством.

После обеда, когда все собирались перейти в курительную, я, подчиняясь неожиданному порыву, отрезал себе все пути к отступлению: сославшись на легкое недомогание, я попросил разрешения посоветоваться с доктором.

— Я совершенно здоров, доктор Эрквард, — сказал я, как только мы остались наедине.

Он что-то промычал и устремил на меня внимательный взгляд своих серых глаз. Было ясно, что первым он говорить не собирается.

— Я хотел бы побеседовать с вами о «Летящем — по ветру» и о мистере Картью, — продолжал я. — Будем откровенны. Вы должны были этого ожидать. Я уверен, что вы знаете все, и, как человек проницательный, вероятно, догадались, что и мне известно многое. Так какова же наша позиция относительно друг друга и моя позиция по отношению к мистеру Картью?

— Я не совсем вас понимаю, — ответил он, помолчав, и после паузы добавил: — Мне неясна ваша цель. мистер Додд.

— То есть вы хотите сказать, с какой целью я навожу эти справки?

Он кивнул.

— Я думаю, мы просто говорим о разных вещах, — ответил я. — Моя цель очень проста: это то, ради чего я сюда приехал. Я заплатил за «Летящего по ветру» невероятно высокую цену, так как мистер Картью через своего агента торговался на аукционе до последнего. В результате я разорился. Но если я не нашел на бриге богатства, я нашел там недвусмысленные доказательства совершенного преступления. Поймите мое положение — я разорился из-за этого человека, которого никогда не видел. Может быть, я хочу отомстить или потребовать компенсации, и, я думаю, вы согласитесь, что у меня есть возможность добиться и того и другого.

Доктор ничего не ответил.

— Неужели вы не понимаете, — продолжал я, — какова моя позиция по отношению к мистеру Картью и с какой целью я обращаюсь к человеку, который, несомненно, посвящен в секрет, и спрашиваю его честно и прямо?

— Я должен попросить вас пояснить свою мысль, — сказал он.

— Вы не хотите облегчить мне дело, — возразил я, — но постарайтесь понять одно: моя совесть не слишком чувствительна, но все же она у меня есть. Преступления бывают разные, и некоторые их разновидности не вызывают у меня особого осуждения. Мистер Картью у меня в руках, и я не из тех, кто добровольно отказывается от преимущества, а кроме того, я любопытен. Но, с другой стороны, я не хотел бы причинять неприятности человеку несчастному или навлекать на него новые беды.

— Мне кажется, я вас понимаю. Предположим, я дам вам слово, что случившемуся есть оправдания, весьма значительные.

— Это значило бы для меня очень много, доктор, — ответил я.

— Скажу больше, — продолжал он. — Предположим, я был бы там или вы были бы там — неизвестно, как поступили бы мы сами после некоего события, и, возможно, мы поступили бы точно так же. А теперь попробуйте понять мою точку зрения. Я буду откровенен с вами и признаюсь, что мне известно все. Вы уже догадались, как я поступил. Я хочу просить вас сделать вывод из моих действий относительно тех фактов, которые были мне известны и которые я не имею ни оснований, ни права сообщить вам.

Не берусь передать исполненный глубокой убежденности тон, каким были сказаны эти слова. Тем, кто не слышал, как говорил доктор Эрквард, может показаться, что он морочил меня загадками, я же получил от него хороший урок и похвалу.

— Благодарю вас, — сказал я, — чувствую, что вы сказали гораздо больше, чем я имел право вас спрашивать, и ровно столько, сколько могли. Я принимаю это как знак доверия, которое постараюсь оправдать. Надеюсь, сэр, вы позволите мне считать вас своим другом.

Он уклонился от ответа, предложив мне присоединиться к остальному обществу, но, когда мы вошли в курительную, сумел смягчить свою резкость. Он с дружеской фамильярностью положил мне руку на плечо и весело сказал:

— Я прописал мистеру Додду стаканчик нашей мадеры.

Мне больше не пришлось встретиться с доктором Эрквардом, но он так ясно запечатлелся в моей памяти, что сейчас я словно опять вижу его перед собой. И нелегко было забыть его после того, что он мне сообщил. Придумать теорию, объясняющую все загадочные обстоятельства, связанные с «Летящим по ветру», было достаточно трудно, но придумать такую, которая объясняла бы, каким образом главное действующее лицо заслужило уважение или, по крайней мере, сочувствие человека, подобного доктору Эркварду, оказалось мне не под силу.

На этом кончились мои открытия. Я не узнал ничего нового, пока не узнал всего. Теперь моему читателю известны все факты. Окажется ли он более проницательным, чем я, или, подобно мне, признает, что не в силах найти им объяснения?

ГЛАВА XVIII

ПЫТЛИВЫЕ ВОПРОСЫ И УКЛОНЧИВЫЕ ОТВЕТЫ

Выше я довольно зло отозвался о Сан-Франциско (мои слова не следует понимать буквально: израильтяне вряд ли отзывались с похвалой о стране фараона!), и город прекрасно отомстил мне при моем возвращений. Никогда еще он не был так красив. Светило солнце, воздух был свеж и бодрящ, на лицах прохожих сияли улыбки, у всех в петлицах виднелись цветы. И, пока я шел по направлению к конторе, где теперь работал Джим, мое мрачное лицо казалось, вероятно, темным пятном на фоне общего веселья.

Контора, которую я искал, находилась в маленьком переулке и занимала старый, покосившийся дом, по фасаду которого тянулась надпись: «Типография Франклина Доджа», а снизу было приписано, судя по яркости букв, совсем недавно: «Здесь работают только белые».

В конторе, в пыльном закутке, за столом сидел Джим. В его наружности и одежде произошла разительная перемена — он казался больным; куда девались его прежняя энергия и работоспособность! Теперь он сидел, глядя на столбцы цифр счетной книги, лениво грыз перо, по временам испускал тяжелый вздох и ничего не делал. Очевидно, он был целиком поглощен какими-то тяжелыми мыслями. Он не заметил моего появления, и я некоторое время без помехи разглядывал его. Неожиданно меня охватило мучительнее раскаяние. Как я и предсказывал Нейрсу, я почувствовал, что сам себе противен. Я вернулся домой, сохранив свою честь, а мой больной друг был лишен необходимого отдыха, ухода, питания. И, как Фальстаф, я спросил себя, что такое честь, и, как Фальстаф, ответил себе — «воздух»!

— Джим! — окликнул я его наконец.

— Лауден! — задыхаясь, произнес он и вскочил на ноги весь дрожа.

Через мгновение я уже пожимал ему руку.

— Мой бедный друг! — сказал я.

— Слава богу, наконец-то ты вернулся! — всхлипывая, бормотал он и хлопал меня по плечу.

— У меня нет для тебя хороших новостей…

— Ты приехал. Лучшей новости мне не нужно, — ответил он. — Как мне тебя не хватало, Лауден!

— Я не мог сделать того, о чем ты мне писал, — сказал я, понизив голос. — Все деньги пошли кредиторам. Я не мог…

— Ш-ш-ш!.. — остановил меня Джим. — Я был сумасшедшим, когда писал это. Если бы мы решились на такое, я не мог бы взглянуть Мэйми в лицо. Ах, Лауден, какая она замечательная!

— Я рад, что ты ни о чем не жалеешь, — сказал я, — другого я от тебя и не ждал.

— Так, значит, «Летящий по ветру» оказался пустышкой? — продолжал он.

— Я не все понял в твоем письме, но это было мне ясно.

— Пустышка — это не то слово, — заметил я. — Кредиторы ни за что не поверят, какого дурака мы сваляли. И кстати, — поспешил я переменить тему, — как банкротство?

— Тебе очень повезло, что тебя здесь не было, — ответил Джим, покачивая головой, — тебе очень повезло, что ты не видел газет. В одной газете писали, что у меня водянка мозга, в другой — что я лягушка, которая затеяла помериться с Лонгхерстом и лопнула с натуги. Довольно жестоко, если подумать, что речь шла о человеке, у которого был медовый месяц. Я уж не говорю о том, что они писали о моей наружности, о моей одежде и как у меня по лицу градом катился пот. Но я поддерживал себя надеждой на «Летящего по ветру»… Как все это вышло, Лауден? Я что-то не понял.

«Не понял ты, как же…» — подумал я про себя, а вслух сказал:

— Видишь ли, нам обоим не повезло. Я выручил чуть больше, чем пошло на покрытие текущих расходов, а ты не сумел продержаться обещанных трех месяцев. Как это случилось?

— Ну, об этом мы поговорим попозже, — сказал Джим, вдруг засуетившись. — Мне надо браться за счета, а ты иди прямо к Мэйми. Она живет у Спиди. Она ожидает тебя с нетерпением — ведь она смотрит на тебя, как на любимого брата, Лауден.

Я был рад всякому предлогу, чтобы отложить наше объяснение и хотя бы лишний час не касаться истории «Летящего по ветру». Поэтому я немедленно последовал совету Джима. Миссис Спиди, которая еще переживала радость встречи с любимым супругом, приветствовала меня с энтузиазмом.

— До чего же прекрасный у вас вид, мистер Додд, милый вы человек! — объявила она любезно. — И как это коричневые красотки отпустили вас с островов-то? Уж я вижу, что у Спиди совесть нечиста! — добавила она игриво. — Он за ними приударял, верно?

Я — поспешил сообщить, что Спиди вел себя образцово.

— Ну, вы друг за друга горой стоите! — заключила миссис Спиди и проводила меня в скудно обставленную комнатушку, где Мэйми трудилась за пишущей машинкой.

Она обошлась со мной так ласково, что я был тронут. Дружески протянула мне обе руки, пододвинула стул и достала из шкафа жестянку моего любимого табака и пачку папиросной бумаги того сорта, каким я всегда пользовался.

— Видите, мистер Лауден, — воскликнула она, — ваш приезд не застал нас врасплох! Все это было куплено еще в день вашего отплытия.

Насколько я могу судить, она с самого начала задумала устроить мне приятную встречу, однако искренности, которая чувствовалась в ее любезных словах, я, как оказалось, был обязан капитану Нейрсу. Он — за что я навсегда останусь ему благодарен, — несмотря на

занятость, выбрал время навестить Мэйми и в самых лестных тонах рассказал ей о том, с какой энергией я обыскивал бриг. Однако Мэйми не упомянула о его посещении, пока я по ее требованию не описал ей наше плавание.

— Нет, капитан Нейрс рассказывал куда лучше! — воскликнула она, когда я наконец умолк. — От вас же я почерпнула только один новый факт — что вы так же скромны, как и мужественны.

Я с горячностью попытался ее разубедить.

— И не старайтесь, — заметила Мэйми, — я умею распознать героя, когда его вижу. А услышав о том, как вы работали дни и ночи, словно простой матрос, натирая на руках кровавые мозоли, и как вы сказали капитану: «Так держать!» (по-моему, он сказал именно это) — во время страшной бури, когда он сам был испуган, и как вы вели себя, когда вам грозил страшный мятеж (Нейрс из дружеских побуждений макал свою кисть в землетрясение и другие катаклизмы), и как вы все это делали, хотя бы частично, ради Джима и меня, — так вот, услышав все это, я почувствовала, что мы никогда не сможем выразить вам всю нашу благодарность и восхищение.

— Мэйми! — воскликнул я. — Не говорите о благодарности! Это слово лишнее между друзьями. Мы с Джимом делили богатство, теперь будем делить бедность. Мы сделали все, что было в наших силах, и больше не о чем говорить. Я постараюсь подыскать себе работу, чтобы вы с Джимом могли уехать куда-нибудь в леса и хорошенько отдохнуть: Джиму это совершенно необходимо.

— Джим не может взять ваши деньги, мистер Лауден, — сказала Мэйми.

— Как это не может? — возразил я. — Он их возьмет — ведь я же брал его деньги.

Вскоре после этого явился Джим и, не успев еще снять шляпу, уже заговорил со мной на проклятую тему.

— Ну вот, Лауден, — сказал он, — мы собрались все вместе, дневные труды окончены, у нас впереди целый вечер, так начинай же свой рассказ.

— Сперва поговорим о делах, — сказал я машинально, тщетно стараясь, в который уже раз, придумать хоть какую-нибудь правдоподобную историю. — Я хотел бы точно знать подробности нашего банкротства.

— Ну, это дело прошлое. Мы заплатили по семи центов за доллар, и это еще хорошо. Судебный исполнитель… — При этих словах лицо его исказилось, и он поспешил заговорить о другом. — Но это все уже позади, а мне хотелось бы узнать подробности истории с бригом. Я чего-то не понимаю, и мне кажется, что за всем этим что-то кроется.

— В самом бриге, во всяком случае, ничего не крылось, — сказал я, натянуто засмеявшись.

— Это-то я и хочу уяснить себе, — возразил Джим.

— Почему я не могу ничего узнать у тебя о банкротстве? Словно ты стараешься избежать этой темы, — заметил я, совершив непростительную ошибку.

— А ты словно стараешься избежать разговора о бриге, — сказал Джим.

Пути к отступлению были отрезаны, и по моей собственной вине.

— Мой милый, если тебе так не терпится — что ж, пожалуйста, — ответил я и начал веселым тоном излагать историю нашего плавания.

Я говорил с одушевлением, остроумно — подробно описал остров и бриг, изображал в лицах разговоры матросов и заявление кока, поддерживал напряжение… Роковое слово! Я так хорошо поддерживал напряжение, что оно так и не разрядилось, и, когда я умолк — написать «кончил» я не решаюсь, потому что никакого конца не было, — Джим и Мэйми уставились на меня в удивлении.

— Ну, а что же дальше? — спросил Джим.

— Это все, — ответил я.

— Но как ты это объясняешь? — спросил он.

— Никак, — ответил я.

В глазах Мэйми появилось зловещее выражение.

— Но, черт побери, за него же предлагали пятьдесят тысяч фунтов! — воскликнул Джим. — Тут что-то не так, Лауден. Получается какая-то чепуха… Я знаю, что вы с Нейрсом сделали все, что было в ваших силах, но, значит, вы были как-то обмануты. Опиум все еще спрятан на бриге, и я до него доберусь.

— На нем ничего нет, кроме старого дерева и железа, я же говорю тебе, — возразил я.

— Вот увидишь, — сказал Джим. — В следующий раз я отправлюсь сам и возьму с собой Мэйми. Лонгхерст не откажет мне в сумме, достаточной для того, чтобы зафрахтовать шхуну. Вот увидишь, когда я обыщу бриг…

— Но ты его не сможешь обыскать. Он сожжен!

— Сожжен? — воскликнула Мэйми, привстав со стула, на котором она до сих пор сидела, сохраняя позу спокойного внимания.

Наступило довольно долгое молчание.

— Извини, Лауден, — прервал его наконец Джим, — но какого дьявола вы его сожгли?

— Нейрс решил, что так будет лучше, — сказал я.

— Это, пожалуй, самое странное из всего, что мы слышали, — вставила Мэйми.

— Действительно, Лауден, это как-то неожиданно, — добавил Джим, — и как-то нелепо. Зачем тебе… Зачем Нейрсу понадобилось сжигать корабль?

— Не знаю. А какое это имеет значение? Мы же сняли с него все, что можно было снять.

— Ты ошибаешься! — воскликнул Джим. — Совершенно очевидно, что вы что-то проглядели.

— А почему вы были так уверены, что там ничего нет? — спросила Мэйми.

— Ну как я могу это объяснить! — воскликнул я. — Мы осмотрели все закоулки и щелки корабля и были совершенно уверены, что там больше ничего не спрятано. Других объяснений у меня нет.

— Я начинаю в этом убеждаться, — произнесла она многозначительным тоном.

Джим поспешил вмешаться:

— Я одного не понимаю, Лауден. По-моему, ты не оценил всей странности истории с бригом, — сказал он. — Я смотрю на нее как-то по-другому, чем ты.

— Какой смысл продолжать эти разговоры! — воскликнула Мэйми, неожиданно вставая. — Мистер Додд не собирается сказать нам, ни что он думает, ни что он знает!

— Мэйми! — ахнул Джим.

— Незачем тебе так считаться с ним, Джеймс, — он ведь с тобой не считается, — возразила его жена, — и, заметь, он этого не отрицает. А кроме того, он не в первый раз проявляет подобную сдержанность. Или ты забыл, что он знал адрес Диксона, но сообщил его тебе, только когда тот успел скрыться?

Джим умоляюще повернулся ко мне — мы уже все трое стояли.

— Лауден, — сказал он, — ты видишь, Мэйми чтото вообразила, и для этого есть некоторые основания. Ведь даже я, Лауден, несмотря на весь мой деловой опыт, ничего не могу понять. Ради бога, объяснись!

— Так мне и надо, — сказал я. — Мне следовало быть с тобой откровенным. Я должен был бы сразу сказать, что не имею права открыть тебе этого, и с самого начала попросить тебя

довериться мне. Все это я делаю теперь. Да, с бригом связаны еще некоторые обстоятельства, но они нас не касаются, и я обязан молчать — я дал честное слово. Поверь мне и прости меня!

— Наверное, я очень глупа, мистер Додд, — начала Мэйми со зловещей любезностью, — но мне казалось, что вы отправились в это плавание в качестве представителя моего мужа и на деньги моего мужа. Теперь вы говорите, что дали слово. Но мне казалось, что в первую очередь вы были связаны словом с Джеймсом. Вы говорите, что это нас не касается. Но мы разорены, мой муж болен, и нас не может не касаться обстоятельство, благодаря которому мы потеряли наши деньги и наш представитель вернулся к нам с пустыми руками. Вы просите, чтобы мы вам поверили, и, кажется, не понимаете, что мы задаем себе вопрос, не слишком ли мы верили вам в прошлом.

— Я просил верить мне не вас, а Джима, — ответил я, — он меня знает.

— Вы думаете, что вы можете вертеть Джеймсом, как хотите? Вы полагаетесь на его привязанность, не так ли? А со мной вы не желаете считаться?

— сказала Мэйми. — Пожалуй, день нашего брака был для вас несчастливым днем, потому что я, по крайней мере, не слепа. Команда исчезает. Бриг продается за бешеные деньги. Вы знаете адрес этого человека и скрываете его. Вы не находите того, за чем вас посылали, и все-таки сжигаете корабль. А теперь, когда мы просим объяснений, оказывается, что вы дали слово молчать. Но я такого слова не давала, я не собираюсь молча смотреть, как моего бедного, больного, разоренного мужа предает его чванный друг. Вам придется выслушать всю правду! Мистер Додд, вас купили, и вы продались.

— Мэйми, — сказал Джим, — довольно. Ты наносишь удар мне — и мне делаешь больно. В подобных вещах ты не разбираешься. Да ведь если бы не Лауден, я сегодня не смог бы смотреть тебе в глаза. Он спас мою честь.

— Я уже много раз слышала подобные разговоры, — сказала она. — Ты простосердечный дурачок, я тебя таким и люблю. Но меня так просто не обманешь, и я вижу все лицемерие этого человека. Он пришел сюда сегодня, заявляя, что будет искать работу… заявляя, что будет делиться с нами своими трудовыми заработками, пока ты не поправишься. Какое притворство! Я просто не могу сдержаться. Его заработки! Доля в его заработках! Как бы не так — эти гроши были бы твоей долей в «Летящем по ветру», а все остальное он украл у тебя, а ведь ты работал и трудился ради него, пока он нищенствовал в Париже. Но мы обойдемся без вашей милостыни! Слава богу, я сама могу работать для своего мужа. Вот видишь, что значит оказать одолжение джентльмену: он позволил тебе подобрать его, когда он нищенствовал, он сидел сложа руки и позволял тебе чистить его башмаки, а сам в благодарность смеялся над тобой! — Тут она повернулась ко мне: — Да, вы всегда смеялись над моим Джеймсом, вы всегда в глубине души считали его хуже себя, и вы это знаете! — Затем она продолжала, снова обращаясь к Джиму: — А теперь, когда он богат… — и тут же снова набросилась на меня: — Да, вы богаты. Попробуйте отрицать! Попробуйте поглядеть мне в глаза и сказать, что вы не богаты, что вы не присвоили наши деньги, деньги моего мужа!

Не знаю, до чего она могла бы договориться под влиянием гнева, но я долее не слушал. Сознание своей вины, уныние, предательское сочувствие к моей обвинительнице, невыразимая жалость к бедняге Джиму переполнили мою душу, и, сделав ему знак, словно испрашивая его разрешения, я покинул поле неравного боя.

Однако я еще не успел повернуть за угол, как позади меня раздался топот бегущих ног, и я услышал голос Джима, окликавшего меня. Джим догнал меня, чтобы передать мне письмо, которое уже давно ждало моего возвращения. Я взял письмо, словно во сне.

— Как все это тяжело! — сказал я.

— Не сердись на Мэйми, — сказал он умоляюще, — так уж она создана. Это все ее преданное сердце. А я, конечно, знаю, что ничего дурного ты не сделал. Мне известны твои

высокие принципы, но ты рассказывал как-то путано, Лауден, и можно было подумать… то есть… я хочу сказать…

— Ничего не говори, бедный мой Джим, — сказал я. — У тебя чудесная, любящая и преданная жена. Я только еще больше стал ее уважать. А мой рассказ звучал очень подозрительно, я сам это Знаю.

— Все пройдет, все забудется, — сказал он.

— Ну нет, — возразил я, вздыхая, — и не старайся оправдать меня и никогда не говори с ней обо мне. Разве только для того, чтобы обругать… А теперь скорее иди к ней. Прощай, лучший мой друг. Прощай и будь счастлив. Больше мы никогда не увидимся.

— Ах, Лауден, и подумать, что мы дожили до такого расставания! — воскликнул он.

Я не знал, что делать дальше: то ли покончить с собой, то ли напиться — и брел по улице, ничего не сознавая, охваченный невыразимым горем. В кармане у меня были деньги — я не знал, мои деньги или моих кредиторов. В глаза мне бросилась вывеска ресторанчика «Пудель». Я машинально вошел туда и сел за столик. Ко мне подошел официант, и, очевидно, я что-то ему заказал, потому что, когда я наконец пришел в себя, я уже ел суп. Рядом с тарелкой на белой скатерти лежало письмо с английской маркой и эдинбургским штемпелем. Суп и стакан вина пробудили в каком-то уголке моего отупевшего от горя мозга легкий проблеск любопытства, и, пока я ожидал следующего блюда (недоумевая, что я мог заказать), я вскрыл конверт и начал читать письмо, перевернувшее все мои дальнейшие планы.

«Дорогой сэр!

На меня возложен печальный долг сообщить вам о смерти вашего достопочтенного деда мистера Александра Лаудена, последовавшей 17-го числа сего месяца. В воскресенье он, как обычно, с утра отправился в церковь и по пути домой остановился на углу Принсис-стрит побеседовать со старым другом, хотя дул сильный восточный ветер. В тот же вечер у него начался острый бронхит. С самого начала доктор Маккомби предвидел роковой исход болезни, да и ваш дедушка понимал, что состояние его безнадежно. Он несколько раз повторил мне, что с ним теперь «кончено». «Да и то сказать, пора», — добавил он один раз с характерным для него раздражением. Приближение смерти не произвело в нем никаких перемен и только (я думаю, вам будет приятно это узнать) он, казалось, думал и говорил о вас с еще большей нежностью, чем обычно; называл вас «сынок моей Дженни», добавляя ласковые эпитеты. «Только он один мне и нравился из всей этой шатии-братии» — так он выразился, и вы будете рады услышать, что он особенно хвалил ту сыновнюю почтительность, которую вы всегда ему выказывали. Как вы можете заметить, приписка к завещанию, в которой он оставляет вам своего Молесворта и другие специальные труды, была сделана за день до его смерти, и, значит, он вспомнил о вас перед самым концом. Должен сказать, что, хотя он был трудным больным, ваш дядя и ваша кузина мисс Юфимия ухаживали за ним с величайшим терпением и преданностью. Я вложу в конверт копию его завещания, из которой вам станет ясно, что свое состояние он поделил поровну между мистером Эдамом и вами и что я должен вручить вам сумму, равную примерно семнадцати тысячам фунтов. Примите мои поздравления по поводу этого значительного прибавления к вашему состоянию; по получении ваших распоряжений я немедленно поступлю согласно вашим указаниям. Полагая, что вы можете пожелать отправиться в Англию, и не зная положения ваших дел, я высылаю также аккредитив на шестьсот фунтов. Будьте так любезны подписать приложенную к нему квитанцию и выслать ее мне, как только вам будет удобно.

Искренне ваш Резерфорд Грегг».

«Спасибо тебе, дедушка, — подумал я, — и спасибо дяде Эдаму, и моей кузине Юфимии, и мистеру Греггу!»

Я подумал о тусклой, серой жизни моего деда, которая теперь пришла к концу («да и то сказать, пора»), представил себе по-воскресному пустынные улицы Эдинбурга, где дует

сильный восточный ветер, вспомнил унылый дом, куда «Эки» вернулся, уже отмеченный печатью смерти, а потом постарался представить себе разбитного деревенского парня, каким, наверное, был когда-то мой дед, залихватски танцевавшего с девушками на зеленом лугу, и я спросил себя, действительно ли бедняга Эки добился в жизни успеха и был ли он в своем эдинбургском доме счастливее, чем в скромной деревенской хижине своего детства? В этой мысли было что-то утешительное для такого неудачника, как я.

Да, я называл себя неудачником, и в то же время какая-то другая часть моей души радовалась новообретенному богатству. Будущее казалось радужным: возможность поехать в Париж, сохранить тайну Картью, помочь Джиму, а кредиторы…

— Кредиторы, — повторил я вслух, и меня охватило отчаяние: все мои деньги принадлежали им.

Мой дед умер слишком рано, чтобы спасти меня.

Вероятно, в глубине души я человек решительный. В эту критическую минуту я почувствовал, что готов на все, кроме одного: что я готов сделать что угодно, уехать куда угодно, лишь бы не расставаться со своими деньгами. В худшем случае мне предстояло поселиться в какой-нибудь из тех благословенных стран, которые еще не присоединились к международной конвенции о выдаче уголовных преступников.

Закон о выдаче, друзья,

Не действует в Кальяо!

У меня в ушах звучали слова этой флибустьерской песенки, и я уже видел, как сижу, крепко держась за свое золото, в каком-нибудь притоне портового города Чили или Перу в обществе людей, сочинявших и распевавших подобные песни. Постоянные неудачи, разрыв с моим старым другом и неожиданный мыльный пузырь богатства, который тут же лопнул, ожесточили мою душу. В тогдашнем моем настроении я даже с наслаждением предвкушал, как буду пить омерзительный джин среди омерзительных собутыльников при свете соснового факела, как буду скитаться, зашив в пояс свое неправедное сокровище, как буду драться за него с ножом в руке, катаясь в смертельной схватке по глинобитному полу, как буду вечно спасаться от погони, меняя корабли, переезжая с острова на остров.

Однако, поразмыслив, я пришел к выводу, что есть и другой выход, не столь отчаянный. Оказавшись в безопасности в Кальяо, я смогу вступить в переговоры с кредиторами через посредство какого-нибудь ловкого агента, который уговорит их согласиться на легкие для меня условия. Тут я снова вспомнил, что, несмотря на все мои просьбы, Джим ничего не рассказал мне о нашем банкротстве. Он слишком торопился узнать все о «Летящем по ветру». Хоть это было очень неприятно, мне предстояло еще раз пойти к нему, чтобы выяснить свое положение.

Я ушел, не доев обеда, но полностью оплатив счет и дав официанту на чай золотую монету. Меня охватило какое-то безумное легкомыслие: я чувствовал, что должен хватать и тратить сколько смогу, — присвоение чужого и мотовство казались обязательными условиями уготованной мне судьбы. Я шел, посвистывая, набираясь наглости для предстоящей встречи с Мэйми, со всем светом, а может быть, в дальнейшем и с судьбой.

Перед самой дверью их дома я остановился, закурил сигару, чтобы придать себе больше уверенности, и развязно вступил в комнату, откуда недавно был изгнан с позором. Мой друг и его жена кончали свою скудную трапезу: обрезки вчерашней баранины, холодные лепешки, оставшиеся от завтрака, и жидкий кофе.

— Извините, миссис Пинкертон, — сказал я, — мне очень неприятно навязывать свое присутствие тем, кто с удовольствием без него обошелся бы, но у меня есть дело, которое необходимо немедленно обсудить.

— Я вам мешать не буду, — сказала Мэйми и величественно удалилась в соседнюю комнату.

Джим посмотрел ей вслед и печально покачал головой. Он выглядел совсем старым и больным.

— Что еще случилось? — спросил он.

— Ты, наверное, помнишь, что не ответил ни на один из моих вопросов, — сказал я.

— Каких вопросов? — запинаясь, пробормотал Джим.

— А тех, которые я задавал тебе. Если мои ответы на твои вопросы не удовлетворили Мэйми, то на мои ты не ответил совсем.

— Это ты о банкротстве? — сказал Джим.

Я кивнул, и он смущенно заерзал на стуле.

— Сказать по правде, мне очень стыдно, — начал он. — Я пытался как-то уклониться от ответа. Я позволил по отношению к тебе большую вольность, Лауден. Я с самого начала обманывал тебя, и теперь краснею, признаваясь в этом. А ты, не успев вернуться, сразу задал мне тот самый вопрос, которого я больше всего боялся. Почему мы так скоро обанкротились? Твое острое деловое чутье тебя не обмануло. Это-то и мучает меня и чуть не убило сегодня утром, когда Мэйми обошлась с тобой так сурово, а моя совесть все время твердила мне: «Это ты виноват!»

— Но что произошло, Джим? — спросил я.

— Да ничего нового, Лауден, — уныло сказал он. — Но я не знаю, где мне взять сил, чтобы посмотреть тебе прямо в лицо, после того, как я так подло тебя обманул. Я играл на бирже, — добавил он шепотом.

— И ты боялся рассказать мне об этом? — воскликнул я. — Ну какое это имело значение! Разве ты не понимаешь, что мы все равно были обречены? Впрочем, меня интересует совсем другое: я хочу точно знать свое положение. На это есть важные причины. Чист ли я? Существует ли документ, что мои кредиторы удовлетворены, и каким числом он помечен? Ты и представить себе не можешь, что от этого зависит!

— Вот оно, самое худшее, — сказал Джим, словно во сне. — Как мне ему об этом сказать?

— Я тебя не понимаю! — воскликнул я, и сердце мое сжалось от страха.

— Боюсь, что я недостаточно считался с тобой, Лауден, — сказал он, жалобно глядя на меня.

— Недостаточно считался? — переспросил я. — Каким образом? О чем ты говоришь?

— Я знаю, как это ранит твою щепетильную гордость, — сказал он. — Но что мне оставалось делать? Положение было безнадежным. Судебный исполнитель… — как всегда, эти слова застряли у него в горле, и он оборвал фразу. — Пошли всякие разговоры, репортеры уже взялись за меня, начались неприятности из-за мексиканских акций, и меня охватила такая паника, что я, наверное, потерял голову. А тебя не было, и я не устоял перед искушением.

Пока он ходил так вокруг да около, намекая на чтото ужасное, меня охватил мучительный страх: что он сделал? Как он недостаточно считался со мной в мое отсутствие?

— Джим, — сказал я, — объясни же наконец, в чем дело! Я не в силах больше выносить эту неизвестность!

— Ну, — сказал он, — я знаю, что это была большая вольность с моей стороны… Я официально заявил, что ты никакой мой не компаньон, а просто разорившийся художник, что к денежным делам и счетам я тебя почти не допускал. Я сказал, что никак тебе не мог объяснить, чье имущество — чье. Мне пришлось так сказать, потому что некоторые записи в счетных книгах…

— Ради всего святого перестань меня терзать! — вскричал я. — Скажи, в чем ты меня обвинил.

— Да в том, о чем я тебе говорю, — ответил Джим. — Ведь ты не был официально оформлен как мой компаньон, и я заявил, что ты просто мой клерк, а компаньоном я тебя называл, только чтобы польстить твоему самолюбию. И поэтому я записал тебя кредите ром — за твое жалованье и за деньги, которые ты мне одолжил. Ну, и…

Я еле устоял на ногах.

— Кредитором? — вскричал я. — Кредитором! Так, значит, я не банкрот?

— Нет, — сказал Джим. — Я знаю, это была большая вольность…

— Да какая там вольность! Ну-ка, прочти это письмо, — перебил я, кладя перед ним на стол послание мистера Грегга, — а потом зови сюда свою жену, выбрось к черту эту дрянь, — тут я схватил холодную баранину и швырнул ее в камин, — и пойдемте ужинать с шампанским. Правда, я уже ел, но в такой вечер я готов отужинать хоть десять раз. Да читай же письмо, плаксивый осел! Не думай — я не сошел с ума. Идите-ка сюда, Мэйми! — крикнул я, открывая дверь спальни. — Давайте мириться и расцелуйте как следует вашего мужа. А после ужина отправимся куда-нибудь танцевать, и я буду вальсировать с вами до зари.

— Да что все это значит? — воскликнул Джим.

— Это значит, что сегодня мы будем ужинать с шампанским, а завтра уедем в Вейпор-Велли или в Монтерей, — ответил я. — Мэйми, идите переоденьтесь, а ты, Джим, садись и пиши Франклину Доджу прощальное письмо. Мэйми, вы оказались правы, дорогая моя, — я все это время был богат, но только сам об атом не знал.

ГЛАВА XIX
НОВАЯ ВСТРЕЧА С МИСТЕРОМ БЭЛЛЕРСОМ

На этом кончилось увлекательное, но роковое приключение с «Летящим по ветру». Мы разорились и снова разбогатели, мы поссорились и помирились, и теперь оставалось только поблагодарить бога и открыть новую страницу книги жизни. Не могу сказать, чтобы Мэйми полностью вернула мне свое доверие, да я этого и не заслужил, ведь действительно я о многом умалчивал больше, чем положено другу и компаньону. Но она держалась безупречно, и всю неделю, которую я провел с ними, ни она, ни Джим ни о чем меня не расспрашивали. Мы поехали в Калистогу: ходили слухи, что там начинается бурная распродажа земельных участков, и Джим заявил мне, что ему будет приятно наблюдать деловую горячку, — так Наполеон на Святой Елене развлекался, читая военные труды. Сам он уже ни к чему не стремится, с финансовой деятельностью покончено, и он мечтает теперь о небольшой усадьбе в холмах, о кукурузном поле, двух-трех коровах и спокойном ожидании старости под зеленой сенью лесов.

— Вот погоди, мы выберемся на природу, и ты увидишь, что во мне энергии не больше, чем в замазке.

И два дня он действительно предавался отдыху. На третий я застал его за разговором с издателем местной газеты, и он признался, что подумывает, не купить ли ему типографию газеты.

— Ведь надо же человеку чем-нибудь заниматься, — сказал он умоляюще, — а если здесь начнется строительство, то сделка окажется очень выгодной.

На четвертый день он где-то пропадал до самого обеда, на пятый — мы совершили длинную прогулку по земельному участку, который он решил приобрести, а шестой был весь занят оформлением покупки. К Джиму уже успела вернуться вся его прошлая самоуверенность и энергия. В глазах его загорелся прежний боевой огонь, голос снова стал звучным и твердым. На седьмое утро мы официально оформили свои отношения как компаньоны — иначе Джим не соглашался брать мои деньги, — и вот, вновь связав себя, а вернее, свой кошелек с деловой карьерой неугомонного Джима, я вернулся один в Сан-Франциско, где поселился в отеле «Палас».

В тот же вечер я пригласил Нейрса пообедать со мной. Его загорелое лицо, его своеобразная речь живо вызвали в моей памяти дни, еще такие недавние и уже так далеко ушедшие в прошлое. Мне казалось, что сквозь музыку оркестра и позвякиванье посуды я слышу песню пенного прибоя и крики чаек на острове Мидуэй. Ссадины на наших руках еще не зажили, а мы сидели в роскошном зале ресторана, ели устриц и пили замороженное шампанское.

— Вспомните наши обеды на «Норе», капитан, — сказал я, — и сравните их с теперешним.

Он медленно обвел глазами зал.

— Это словно во сне. Так и кажется, что сейчас откроется люк, Джонсон завопит: «Восемь склянок!» — и — все исчезнет.

— Наоборот, исчезло прошлое, — сказал я, — все похоронено, забыто, и слава богу.

— Не будьте так в этом уверены, мистер Додд, — заметил Нейрс. — «Летящий по ветру» еще жарится на сковороде, а повара, если не ошибаюсь, зовут Бэллерс. Он пробовал кое-что у меня выведать еще в день нашего прибытия. Потрепанный человечек в судейской одежде. Я его сразу узнал по вашему описанию. Я позволил ему расспрашивать меня, пока не понял, к чему он клонит. Он знает многое, чего мы не знаем, большую часть того, что мы знаем, а об остальном догадывается. Кому-то вскоре придется плохо.

Я удивился, что мне это раньше не пришло в голову. Бэллерс был посвящен во многое, он виделся с Диксоном, он знал об исчезновении команды и должен был что-то заподозрить. А такой человек, как он, не мог не попытаться извлечь выгоду из своих подозрений.

И я оказался прав. На следующее утро, когда я еще не кончил одеваться, Бэллерс уже явился ко мне. Из любопытства я решил с ним поговорить, и он после довольно туманного вступления прямо предложил взять его в долю.

— А в чем, собственно? — осведомился я.

— Если вы простите несколько вульгарное выражение, то я позволю себе задать вам вопрос: вы что, ездили на Мидуэй для поправки здоровья?

— Очень возможно, — ответил я.

— Будьте уверены, мистер Додд, я никогда не позволил бы себе явиться к вам, если бы у меня не было на то серьезного основания. Навязчивость чужда моей натуре, но мы с вами, сэр, преследуем одну и ту же цель, и если мы объединим наши усилия, то я отдам в ваше распоряжение мое знание законов и мой значительный опыт в деликатных переговорах, подобных этим. Если вы не согласитесь, вы найдете во мне… — он запнулся, — весьма опасного соперника — к моему величайшему сожалению, разумеется.

— Вы, кажется, выучили свою речь наизусть? — спросил я любезно.

— Лучше хорошенько подумайте, — сказал он угрожающим тоном, который тут же сменился прежней приторной вкрадчивостью. — Уверяю вас, сэр, я пришел как друг. И мне кажется, вы недооцениваете того, что мне известно. С вашего разрешения я докажу вам, что хорошо знаю, какие убытки вы понесли, и знаю, что с тех пор вы разменяли лондонский чек на солидную сумму.

— И какое же заключение вы из этого делаете? — спросил я.

— Я знаю, от кого вы получили этот чек! — воскликнул он и тут же весь съежился, словно жалея, что позволил себе сказать лишнее.

— Ну и что же?

— Вы забываете, что я был доверенным агентом мистера Диксона, — пояснил он. — Вы знали его адрес, мистер Додд. Во всем Сан-Франциско он имел дело только с нами двоими. Я полагаю, что мои выводы очевидны, — вы видите, как я с вами честен и откровенен. Иначе я не представляю себе отношений с джентльменом, которому предлагаю деловое соглашение. Вы видите, мне известно многое, и, полагаю, такой умный человек, как вы, согласится, что,

будет лучше, если я узнаю все. Избавиться от меня вы уже не можете — я слишком тесно связан с тем, что случилось. А какой вред я могу причинить, я предоставляю вам догадаться самому. Но даже не заходя слишком далеко, мистер Додд, я могу сильно испортить вам жизнь. Вот, скажем, банкротство мистера Пинкертона… Нам с вами, сэр, известно — и вам лучше, чем мне, — какую значительную сумму вы истратили. А во все ли был посвящен мистер Пинкертон? Адрес был известен только вам, и вы его скрывали. Предположим, я свяжусь с мистером Пинкертоном…

— Послушайте, — перебил я, — связывайтесь с мистером Пинкертоном, пока (если вы простите несколько вульгарное выражение) не посинеете от натуги. Единственный человек, с которым я прошу вас в дальнейшем не связываться, — это я сам. Всего хорошего.

Бэллерсу не удалось скрыть свою ярость, разочарование и удивление. Я не сомневаюсь, что в коридоре у него случился очередной припадок пляски святого Витта.

Этот разговор произвел на меня гнетущее впечатление — слишком неприятно было снова выслушивать от этого мелкого шантажиста то, что я уже слышал от жены Джима. И, однако, больше всего я боялся не за себя. В поведении Бэллерса чувствовалась наглость отчаяния: казалось, меня старался забодать ягненок. Подобное поведение со стороны такого мелкого негодяя указывало на твердую решимость, большую нужду и сильное оружие. Я вспомнил неведомого Картью, и мне стало тяжело при мысли, что этот хорек идет по его следу.

Я навел справки, и оказалось, что Бэллерса совсем недавно лишили адвокатского звания за какие-то нечестные поступки. Эти сведения только усилили мое беспокойство: с одной стороны — мошенник, не имеющий ни гроша, лишенный возможности честно заработать себе на жизнь, публично опозоренный и, несомненно, затаивший зло против всех и вся, с другой — человек, замешанный в какие-то темные тайны, богатый, охваченный паникой, практически скрывающийся. Человек, который был готов заплатить пятьдесят тысяч долларов за останки «Летящего по ветру».

Незаметно я проникся сочувствием к гонимой жертве и весь день не находил себе места, раздумывая, что известно Бэллерсу, о чем он догадывается и как собирается нападать.

Кое-какие из мучивших меня вопросов остаются загадкой и по сей день. Ответы на другие я впоследствии нашел. Откуда он узнал имя Картью, мне по-прежнему неизвестно. Может быть, от какого-нибудь матроса с «Бури» или даже каким-нибудь образом через доктора Эркварта. Но случилось так, что я был совсем рядом, когда он узнал адрес Картью.

Как-то вечером, когда мне надо было убить час перед деловым свиданием, я спустился в сад отеля, где играл оркестр. От электрических фонарей там было светло, как днем, и я легко узнал Бэллерса, который поодаль разговаривал с каким-то человеком, чье лицо показалось мне знакомым. Однако я никак не мог вспомнить, кто это такой и где я его видел. Тогда я обратился к швейцару, и тот рассеял мое недоумение. Он сказал, что этот господин служил на английском крейсере и в Гонолулу, где стоял его корабль, получил длительный отпуск по болезни. И действительно, только штатский костюм да болезненная худоба помешали мне сразу узнать моего друга, лейтенанта Сибрайта, любезно пригласившего меня на борт «Бури».

Встреча Сибрайта и Бэллерса, по моему мнению, ни к чему хорошему привести не могла, и я решил подойти к ним. Но, очевидно, Бэллерс уже успел узнать все, что ему было нужно, — он почти немедленно юркнул в толпу, оставив лейтенанта одного. Подойдя к тому, я сказал:

— Вы знаете, с кем сейчас разговаривали, мистер Сибрайт?

— Нет, — ответил он, — я в первый раз видел этого человека. А в чем дело?

— Это довольно темная личность, — объяснил я. — Он юрист, которого недавно за неблаговидные поступки исключили из адвокатского сословия. Жаль, что я не предупредил вас вовремя. Надеюсь, вы ему ничего не рассказали о Картью?

Он покраснел до корней волос.

— Чертовски жаль, — сказал он. — Этот господин был очень вежлив, а мне хотелось поскорее от него отделаться. Ведь он попросил только адрес.

— И вы ему его сказали?

— Мне чертовски жаль, — повторил Сибрайт, — но я дал ему адрес.

— Господи! Что вы наделали! — И с этими словами я повернулся к нему спиной.

Я понимал, что положение становилось критическим — Бэллерс раздобыл интересовавший его адрес, и в самом ближайшем времени Картью предстояла новая встреча с ним. Я настолько был в этом убежден, что на следующее утро отправился в контору бывшего юриста. Какая-то старуха мыла крыльцо, на столбике которого уже не было прежней вывески.

— Адвокат Бэллерс? — переспросила старуха. — Он сегодня утром уехал в Нью-Йорк. Обратитесь к адвокату Дину, он живет на соседней улице.

Я не стал беспокоить адвоката Дина и медленно побрел домой, раздумывая о случившемся. Образ старухи, отмывающей эти оскверненные ступеньки, поразил мое воображение: казалось, вся вода и все мыло города не могли их очистить — слишком долго тут был приют грязных тайн и темных дел. А теперь рачительная хозяйка в образе судьи смахнула паутину, и жирный паук отправился искать новые жертвы в другом месте. Как я уже говорил, последнее время я незаметно для себя проникся симпатией к Картью, а теперь, когда ему грозила новая опасность, это чувство стало еще более горячим, и я начал искать способа помочь ему. Разыгрывался новый акт трагедии «Летящего по ветру». С самого начала история этого корабля была загадочна и необычна и обещала какую-то удивительную развязку, и я, заплатив так дорого за возможность ознакомиться с первой ее частью, имел все основания потратить еще немного, чтобы узнать, чем же она кончится. Почему бы не поехать вслед за Бэллерсом, чтобы держать его под наблюдением? Если мне не удастся его разыскать, — что же, я окажусь ближе к Парижу, только и всего. А если я сумею напасть на его след, то уж, наверное, смогу разрушить его планы, и, во всяком случае, мне удастся узнать много интересного.

Повинуясь этому настроению, я решил ехать в НьюЙорк и таким образом снова стал участником истории Картью и «Летящего по ветру». В тот же вечер я написал прощальное письмо Джиму и еще одно — доктору Эркварту, умоляя его предупредить Картью, а через десять дней уже гулял по палубе «Города Денвера». К этому времени я успел опомниться и считал, что еду в Париж или Фонтенбло, чтобы снова заняться искусством, и, вспоминая о Картью и Бэллерсе, только посмеивался над собственной горячностью. Первому я ничем не мог помочь, даже если бы хотел, второго все равно не сумел бы отыскать, даже если бы мое присутствие и могло оказать на него какое-нибудь сдерживающее влияние.

Но, несмотря на все рассуждения, оказалось, что мне не удалось покончить с этой историей. В первый же вечер за ужином я очутился рядом с человеком, которого знавал в Сан-Франциско. Из нашего разговора выяснилось, что он приехал в Нью-Йорк за два дня до меня и что «Город Денвер» был первым пароходом, отплывшим оттуда в Европу с момента его приезда. Если он приехал на два дня раньше меня, значит, он на один день опередил Бэллерса, и, едва ужин кончился, как я уже сидел в каюте помощника капитана.

— Бэллерс? — повторил он. — Среди пассажиров первого класса его, во всяком случае, нет. Может быть, у него билет второго класса? Списки пассажиров еще не готовы, но… вы сказали «Гарри Д. Бэллерс»? Да, он на пароходе. Вот его фамилия.

А на следующее утро я увидел Бэллерса на носовой палубе. Он сидел в шезлонге с книгой в руках, кутаясь в старенький коврик из меха пумы. Постороннему наблюдателю он мог бы показаться обедневшим, но вполне почтенным человеком. Я продолжал исподтишка наблюдать за ним. Он довольно много читал, иногда вставал и подходил к борту полюбоваться морем, иногда обменивался несколькими словами со своими соседями. А один раз, когда какой-то ребенок упал и начал плакать, он помог ему встать и постарался его утешить. В душе я

проклинал Бэллерса: книга, которую, по моему мнению, он вовсе не читал, море, к которому, я готов был поклясться, он испытывал полнейшее равнодушие, ребенок, которого, по моему глубокому убеждению, он предпочел бы просто выбросить за борт, — все это казалось мне аксессуарами театрального представления, и я не сомневался, что Бэллерс уже вынюхивает тайны своих соседей. Я не скрывал от себя, что чувствую к нему не только отвращение, но и презрение.

Он ни разу не посмотрел в мою сторону, и только вечером я узнал, что мое присутствие не осталось незамеченным.

Я стоял с сигарой у двери в машинное отделение (ночной воздух был очень прохладен), как вдруг в темноте рядом со мной кто-то сказал:

— Если не ошибаюсь, мистер Додд?

— Это вы, Бэллерс? — отозвался я.

— Разрешите задать вам один вопрос, сэр. Ваше присутствие на корабле никак не связано с нашей беседой? — сказал он. — Вы не собираетесь пересмотреть свое решение, мистер Додд?

— Нет, — ответил я и, заметив, что он медлит, добавил: — Спокойной ночи.

После чего он вздохнул и удалился.

На следующий день он снова сидел на палубе, закутавшись в коврик из меха пумы, читал свою книгу и с прежним постоянством глядел на море. Рядом не оказалось плачущих детей, но я заметил, что он то и дело оказывает мелкие услуги какой-то больной женщине. Ничто так не развивает подозрительности, как слежка: стоит человеку, за которым мы наблюдаем, высморкаться, как мы уже готовы обвинить его в черных замыслах. Я воспользовался первым удобным случаем, чтобы пройти на нос и поближе рассмотреть эту больную. Она оказалась бедной, пожилой и очень некрасивой. Я почувствовал угрызения совести, и мне захотелось как-то загладить несправедливость, которую я допустил по отношению к Бэллерсу. Поэтому, заметив, что он опять стоит у перил и смотрит на море, я подошел к нему и окликнул его:

— Вы, кажется, любите море? — сказал я.

— Страстно, мистер Додд, — ответил он. — Я не устаю им любоваться, сэр. Я в первый раз пересекаю океан, и, мне кажется, в мире нет ничего великолепнее. — Тут он процитировал строфу из стихотворения Байрона.

Хотя это самое стихотворение я учил в школе, но я родился слишком поздно (или слишком рано), чтобы любить Байрона, и звучные стихи, продекламированные с большим чувством, поразили меня.

— Так вы, значит, любите поэзию? — спросил я.

— Я обожаю чтение, — ответил он. — Одно время у меня была небольшая, но хорошо подобранная библиотека, хотя потом я лишился ее. Но все же мне удалось сохранить несколько томиков, которые были верными спутниками моих странствий.

— Это один из них? — спросил я, указывая на книгу, которую он держал.

— Нет, сэр, — ответил он, показывая мне перевод на английский язык «Страданий молодого Вертера». — Этот роман недавно попал мне в руки. Я получил от него большое удовольствие, хотя он и безнравствен.

— Как безнравствен?! — воскликнул я, по обыкновению негодуя на подобное смешение искусства и морали.

— Право же, сэр, вы не станете этого отрицать, если он вам знаком, — ответил Бэллерс. — В нем описывается преступная страсть, хотя изображена она весьма трогательно. Подобную книгу невозможно предложить порядочной женщине. О чем можно только пожалеть. Не знаю, как вы смотрите на это произведение, но на мой взгляд — я говорю об описании чувств — автор далеко превосходит даже таких знаменитых писателей, как Вальтер Скотт, Диккенс, Теккерей или Готторн, которые, по-моему, не описывали любовь столь возвышенно.

— Ваше мнение совпадает с общепринятым, — сказал я.

— Неужели, сэр? — воскликнул он с искренним волнением. — Значит, это известная книга? А кто такой Гете? Он был известным писателем? У него есть и другие произведения?

Таков был мой первый разговор с Бэллерсом, за которым последовало много других, и в каждом проявлялись все те же его симпатичные и антипатичные черты. Его любовь к литературе была глубокой и искренней, его чувствительность, хотя и казалась наивной и довольно смешной, отнюдь не была притворной. Я дивился моему собственному наивному удивлению. Я знал, что Гомер любил вздремнуть, что Цезарь составил сборник анекдотов, что Шелли делал бумажные кораблики, а Вордсворт носил зеленые очки, — так как же я, мог ожидать, что характер Бэллерса окажется созданным из одного материала и что он во всем будет подлецом?

Поскольку я презирал его ремесло, я думал, что буду презирать и самого человека. И вдруг оказалось, что он мне нравится. Я искренне жалел его. Он был очень нервным, очень чувствительным, робким, но обладал по-своему поэтической натурой. Храбрости он был лишен вовсе, его наглость порождалась отчаянием, на подлости его толкала нужда. Он принадлежал к тем людям, которые готовы совершить убийство, лишь бы не признаться в краже почтовой марки. Я был уверен, что предстоящий разговор с Картью терзает его, как кошмар; мне казалось, что я замечаю, когда он думает об этом свидании, — тогда по его лицу пробегала мучительная судорога. И все же у него ни на секунду не появлялось желания отказаться от своего намерения — нужда гналась за ним по пятам, голод (его старый знакомый) держал его за горло. Иной раз я не мог решить, презираю я его или восхищаюсь этой робкой и героической готовностью совершить подлость. Образ, возникший у меня после того, как он ко мне приходил, был вполне справедлив. Меня действительно боднул ягненок. Человек, которого я сейчас изучал, больше всего заслуживал названия взбунтовавшейся овцы.

Надо сказать, он прожил тяжелую жизнь. Он родился в штате Нью-Йорк; его отец был фермером и, разорившись, отправился на Запад. Ростовщик-нотариус, который разорил этих бедняков, кажется, почувствовал в конце концов некоторое раскаяние: выгнав отца на улицу, он предложил взять на воспитание одного из сыновей, и ему отдали Гарри, пятого ребенка в семье и к тому же очень болезненного. Мальчик начал помогать своему «благодетелю» в конторе, набрался кое-каких сведений, читал запоем, участвовал в собраниях Христианского союза молодых людей и в юности мог послужить образчиком для героя какого-нибудь нравоучительного рассказа.

Но, на беду, он влюбился в дочь своей квартирной хозяйки (он показал мне ее фотографию, судя по которой она была высока, довольно красива, вульгарна, глупа, зла и, как показали дальнейшие события, распутна). Когда ей нечего было делать, она кокетничала с болезненным и робким жильцом и всячески помыкала им, а он по уши влюбился в нее, мечтал о ней днем и видел ее во сне ночью. Он весь отдавался работе, желая стать достойным своей возлюбленной, и даже превзошел своего «благодетеля» в крючкотворстве. Он стал старшим клерком и в тот же вечер сделал предложение, но его только высмеяли. Однако не прошло и года, как «благодетель», чувствуя приближение старости, взял его в компаньоны. Он снова предложил своей красавице руку и сердце. На этот раз его предложение было принято. Но не прошло и двух лет, как жена сбежала от него со щеголем-коммивояжером, предоставив мужу расплачиваться с ее долгами. Судя по всему, именно долги, а вовсе не чары коммивояжера побудили ее бросить мужа, который к тому же ей надоел. Коммивояжер был для нее только средством. Бэллерс не выдержал такого удара. Его компаньон к тому времени уже умер, и он должен был один вести дело, а на это у него не было сил. Долги жены съели весь его капитал, он обанкротился и с тех пор переезжал из города в город, берясь за все более и более сомнительные дела. Следует помнить, что его учителем был ростовщикнотариус в маленьком городке и что он привык смотреть на темные сделки как на основу всякой коммерции; не удивительно, что в омуте больших городов он окончательно пошел ко дну.

— Вам что-нибудь известно о дальнейшей судьбе вашей жены? — спросил я.

Он смутился.

— Боюсь, вы будете дурно обо мне думать, — сказал он.

— Вы помирились? — спросил я.

— Нет, сэр, настолько-то я себя уважаю, — ответил он. — И, во всяком случае, она сама этого не пожелала бы. Кажется, она питает ко мне глубокую неприязнь, хотя я всегда старался быть хорошим мужем.

— Так, значит, вы все-таки поддерживаете с ней какие-то отношения? — спросил я.

— Судите сами, мистер Додд, — ответил он, — в нашем мире жить нелегко, я это знаю по своему опыту, но насколько же труднее приходится женщине! Пусть она даже сама виновата в своей судьбе.

— Короче говоря, вы даете ей деньги? — спросил я.

— Не могу отрицать. Я помогаю ей по мере сил, — признался он. — Это камень на моей шее. Но я думаю, что она благодарна мне. Вот судите сами.

Он достал письмо, написанное корявым, малограмотным почерком, однако на прекрасной розовой бумаге с монограммой. Оно показалось мне глупым и, если не считать нескольких приторно-льстивых фраз, бессердечным и корыстным.

Жена Бэллерса писала, что долго болела (чему я не поверил); утверждала, что все присланные деньги пришлось уплатить по счету доктора (вместо «доктора» я взял на себя смелость подставить слова «портнихи» и «виноторговца»), и просила прибавки (которой я от всей души пожелал ей не получить).

— По-моему, она искренне мне благодарна? — спросил он с каким-то страхом, когда я вернул ему письмо.

— Да, кажется, — ответил я. — А вы обязаны ей помогать?

— О, нет, сэр, что вы! Я развелся с ней, — объяснил он. — В подобных вопросах я очень щепетилен и развелся с ней немедленно же.

— А какую жизнь она ведет сейчас? — осведомился я.

— Не стану вводить вас в заблуждение, мистер Додд, я не знаю. Я не желаю ничего знать. Так, помоему, более достойно. Меня весьма сурово порицали, — закончил он со вздохом.

Как вы, вероятно, замечаете, у меня завязалась бесславная дружба с человеком, чьи планы я собирался разрушить. Меня по рукам и по ногам связали жалость к нему, восхищение, с, которым он ко мне относился, и то искреннее удовольствие, которое доставляло ему мое общество. Честность заставляет меня признаться, что известную роль сыграл мой собственный, не всегда уместный интерес ко всем сторонам жизни и человеческого характера.

По правде говоря, мы проводили вместе чуть ли не целые дни, и я бывал на носовой палубе гораздо чаще, чем на прогулочной палубе первого класса. И в то же время я ни на минуту не забывал, что Бэллерс — бесчестный крючкотвор, собирающийся в недалеком будущем заняться грязным шантажом. Сперва я убеждал себя, что наше знакомство — это ловкий прием и что тем самым я помогаю Картью. Я убеждал себя, но не был так глуп, чтобы поверить своим доводам даже тогда. Эти обстоятельства позволили мне полностью проявить два главных моих качества — беспомощность и любовь ко всяческим промедлениям и отсрочкам. И в результате я предпринял ряд действий, настолько нелепых, что теперь краснею, вспоминая о них.

В Ливерпуль мы прибыли днем, когда проливной дождь хлестал по его грязным улицам. У меня не было никаких особых планов, но мне не хотелось дать ускользнуть моему мошеннику, и кончилось тем, что я поехал в ту же гостиницу, что и он, пообедал с ним, отправился с ним

гулять под дождем и вместе с ним сидел на галерке, наслаждаясь весьма древней пьесой «Бывший каторжник».

Бэллерс был в театре чуть ли не в первый раз в жизни (он считал такие развлечения греховными), и его наивные замечания приводили меня в восторг.

Рассказывая о том, какое удовольствие извлекал я из общества бывшего адвоката, и, пожалуй, преувеличивая это удовольствие, я стараюсь как-то оправдать себя. А в оправданиях я нуждаюсь: ведь я лег спать, так ни разу и не поговорив с ним о Картью, хотя мы и условились отправиться на другой день в Честер.

В Честере мы осмотрели собор, прошлись по парапету старинных стен, поговорили о Шекспире — и условились назавтра отправиться куда-то еще. Я забыл (и, по правде говоря, рад этому), сколько времени продолжалась наша поездка. Во всяком случае, мы побывали в Стратфорде, Уорике, Ковентри, Глостере, Бристоле и Бате. Всюду мы вели беседы об исторических событиях, связанных с этими местами, я делал наброски в своем альбоме, а Бэллерс цитировал стихи и списывал интересные эпитафии с могильных плит. Кто усомнился бы в том, что мы обыкновенные американцы, путешествующие с образовательными целями? Кто догадался бы, что один из нас — шантажист, робко подбирающийся к месту, где живет его жертва, а Другой — беспомощный сыщик-любитель, ожидающий развития событий?

Пожалуй, бесполезно будет указывать, что я все еще не мог изыскать способа защитить Картью, и тщетно ждал какого-нибудь случая, который помог бы мне в этом. Но ничего не произошло, если не считать двух пустячных событий, которые помогли мне окончательно разобраться в характере Бэллерса. Первое из них случилось в Глостере, куда мы приехали в воскресенье. Я предложил Бэллерсу пойти в собор послушать службу, но, к моему удивлению, выяснилось, что он не то баптист, не то методист, и, оставив меня, он отправился искать молельню своих братьев по вере.

Когда мы встретились за обедом, я начал поддразнивать его, и он нахмурился.

— Можете не скрывать вашего мнения, мистер Додд, — сказал он вдруг. — Если не ошибаюсь, вы, к моему величайшему сожалению, считаете меня лицемером.

Этот неожиданный выпад несколько смутил меня.

— Вы знаете, что я думаю о вашем ремесле, — ответил я растерянно и поэтому грубо.

— Извините, если я позволю себе задать вам вопрос, — продолжал он, — но скажите: если вы считаете, что я веду жизнь неправильную, то, по-вашему, я не должен заботиться о спасении своей души? Раз вы думаете, что я заблуждаюсь в одном, вы хотели бы, чтобы я заблуждался во всем? А ведь вы знаете, сэр, что церковь — это прибежище грешника.

— И вы отправились просить благословения божьего для дела, которым теперь занимаетесь? — спросил я зло.

Он весь задергался, выражение его лица изменилось, глаза гневно засверкали.

— Я скажу вам, о чем я молился! — вскричал он. — Я молился о несчастном человеке и о бедной женщине, которой он старается помочь.

Признаюсь, я не нашелся, что ответить.

Второе из упомянутых происшествий случилось в Бристоле, где Бэллерс куда-то исчез на несколько часов. Когда мы снова с ним увиделись, язык у него заплетался, ноги не слушались, а спина была белая от штукатурки. Я давно уже подозревал его в склонности к крепким напиткам, и все же меня охватила глубокая жалость. На долю этого слабого человека выпало слишком много испытаний — несчастный брак, нервная болезнь, неприятная внешность, нищета и, наконец, скверная привычка, которая сделала его рабом алкоголя.

Не отрицаю, что наше длительное совместное путешествие объяснялось взаимной трусостью. Каждый из нас боялся расстаться с другим, каждый боялся начать откровенный разговор, да и не знал, что сказать. Если не считать моих запальчивых слов в Глостере, мы ни

разу не касались темы, которая интересовала нас больше всего. В наших разговорах мы ни разу не упомянули Картью, Столлбридж-ле-Картью, Столлбридж-Минстер (эта станция, как мы узнали — каждый в отдельности, — была ближайшей от вышеупомянутого поместья) и даже названия графства Дорсетшир. Но все это время мы понемногу, кружным путем, приближались к месту нашего назначения, и наконец, уже не помню как, мы вышли из последнего вагона местного поезда на пустынную платформу Столлбридж-Минстера.

Это старинный, тесно застроенный город, где крытые черепицей домики и обнесенные высокими стенами сады кажутся совсем маленькими из-за соседства огромного собора. С любого места главной улицы, которая разделяет городок пополам, можно видеть поля и рощицы, лежащие за обоими ее концами, а боковые улочки, словно шлюзы, впускают в город потоки зеленой травы. Пчелы и птицы кажутся главными обитателями города, в каждом саду стоят ряды ульев, карнизы каждого дома облеплены ласточкиными гнездами, а над шпилями собора весь день кружат тучи птиц.

Городок был основан римлянами, и я, стоя в тот день у низенького окна гостиницы, совсем не был бы удивлен, если бы вдруг увидел на улице центуриона, шагающего во главе отряда усталых легионеров.

Короче говоря, Столлбридж-Минстер — один из тех городков, которые Англия, словно нарочно, сохраняет на радость и поучение американскому путешественнику, а тот отыскивает их благодаря какому-то удивительному, прямо собачьему инстинкту и, восхитившись ими, покидает с не меньшей радостью.

Но у меня было совсем другое настроение. Я потратил зря несколько недель и ничего не добился, не сегодня-завтра предстояло решительное сражение, а у меня не было ни плана, ни союзников; я взял на себя роль непрошеного защитника и сыщика-любителя; я бросал деньги на ветер и вел себя позорно. Все это время я убеждал себя, что мне надо наконец объясниться с Бэллерсом, что мне давно уже следовало это сделать и, уж во всяком случае, теперь откладывать больше нельзя. Мне следовало поговорить с ним, когда он предложил поехать в Столлбридж-Минстер; мне следовало поговорить с ним в поезде; мне следовало поговорить с ним сейчас же, вот здесь, на ступеньках гостиницы, едва только отъехал извозчик. Тут я повернулся к Бэллерсу. Он как-то побледнел и весь съежился, слова замерли у меня на губах, и я вдруг предложил, чтобы мы пошли осмотреть собор.

Пока мы бродили по собору, полил дождь, напоминавший тропический ливень. Сверкали молнии, грохотал гром, из всех водосточных труб хлестали водопады, и когда мы наконец добрались до гостиницы, то были мокры насквозь. Потом мы долго сидели в общем зале, прислушиваясь к монотонному шуму дождя. В течение двух часов я говорил на самые разнообразные темы, лишь бы поддержать разговор. В течение двух часов я уговаривал себя исполнить свой долг — и откладывал его исполнение еще на одну минуту. Чтобы как-то подбодриться, я за обедом заказал шампанского. Оно оказалось отвратительным, так что я не допил даже и первого бокала, но Бэллерс, не отличавшийся большой разборчивостью и в этом отношении, с удовольствием докончил бутылку. Несомненно, вино ударило ему в голову. Несомненно, он заметил, что я весь день смущался и колебался. Несомненно, он сознавал, что наступает кризис и что в этот вечер, если я не захочу стать его союзником, я открыто объявлю себя его врагом.

Но, как бы то ни было, после обеда он куда-то исчез. Произошло это так. Когда мы кончили есть, я, твердо решив приступить к решительному объяснению, поднялся к себе в номер за табаком (я надеялся, что трубка поможет мне успокоить нервы), а когда вернулся, Бэллерса в столовой уже не было. Официант сообщил мне, что он ушел из гостиницы.

Дождь по-прежнему лил как из ведра, улицы были совсем пустынными. Ночь выдалась темная, безветренная, и мокрые мостовые отражали огни фонарей и свет окон. Из трактира напротив доносились звуки арфы и унылый голос, распевавший популярные матросские песни.

Куда мог деваться Бэллерс? Скорее всего он отправился в этот музыкальный трактир. Других развлечений Столлбридж-Минстер в дождливый вечер не предлагал: здесь было уныло, как в загоне для овец.

Снова я мысленно перебрал аргументы и доводы, которые собирался пустить в ход (во время нашей поездки я проделывал это каждый раз, когда оставался один), и снова они показывались мне неубедительными.

Затем я стал рассматривать гравюры, висевшие на стенах, затем начал листать железнодорожный справочник, но, узнав, с каким поездом я смогу быстрее всего покинуть Столлбридж и сколько времени мне понадобится для того, чтобы добраться до Парижа, лениво отложил его в сторону. Альбом, рекламирующий различные отели, окончательно вверг меня в уныние, а когда дело дошло до местной газеты, я чуть не расплакался.

И тут меня вдруг охватила тревога. А что, если Бэллерс обвел меня вокруг пальца? Что, если он катит теперь по дороге в Столлбридж-ле-Картью? А может быть уже добрался туда и как раз в эту минуту излагает свои требования бледному как смерть хозяину дома, подкрепляя их угрозами. Человек порывистый, вероятно, бросился бы за ним в погоню, но, каков бы я ни был, порывистым меня назвать нельзя. Я сразу нашел три серьезные причины, по которым мне не следовало этого делать. Во-первых, я не знал точно, куда отправился Бэллерс. Во-вторых, меня вовсе не привлекала перспектива ехать по темным дорогам в такой поздний час, да еще под проливным дождем. В-третьих, я не имел ни малейшего представления ни о том, как я смогу попасть к Картью, ни о том, что скажу ему, если он согласится меня принять. «Короче говоря, — сказал я себе, — более нелепое положение трудно придумать. Ты сам виноват, что очутился в таком месте, где ничего сделать не можешь. В Сан-Франциско ты мог бы оказаться куда полезнее. В Париже ты чувствовал бы себя заметно счастливее. Но раз уж по божьей немилости ты находишься в Столлбридж-Минстере, то ложись-ка ты спать, все равно ничего умнее не придумаешь».

Когда я поднимался в номер, меня вдруг осенило, что я давно мог бы уже кое-что предпринять и что теперь уже поздно: я мог бы написать Картью, изложив все факты, описав Бэллерса, и предоставить ему самому защищаться или бежать, пока еще было время. Моему самоуважению был нанесен последний удар, и я бросился на кровать, испытывая отчаянное недовольство собой.

Не знаю, который был час, когда меня разбудил Бэллерс, вошедший ко мне в номер со свечой. Я сразу увидел, что перед этим он, вероятно, сильно напился, потому что был с ног до головы облеплен грязью, но теперь он казался совсем трезвым и, как легко было заметить, с трудом сдерживал волнение. Он весь дрожал, и несколько раз в течение нашего разговора по его щекам начинали катиться слезы.

— Простите меня, сэр, за такое несвоевременное посещение, — сказал он. — Я не — оправдываюсь. Мне нет оправдания. Я сам виноват и наказан за это. Я пришел к вам просить у вас помощи, а не то, боюсь, я сойду с ума.

— Да что случилось? — спросил я.

— Меня ограбили, — сказал он. — Но я сам виноват и поделом наказан.

— Господи! — воскликнул я. — Да кто же мог вас ограбить в таком городке?

— Не знаю, — ответил он, — не знаю. Я лежал без чувств в канаве. Это — унизительное признание, сэр. Могу только сказать в свое оправдание, что вы сами по доброте душевной могли отчасти стать этому причиной. Я не привык к шипучим винам.

— А что у вас были за деньги? Может быть, их удастся проследить? — спросил я.

— Это были английские соверены. Я очень выгодно обменял на них в Нью-Йорке свои доллары, — ответил он и вдруг застонал: — О господи, как мне пришлось трудиться, чтобы скопить их!

— Да, золотые монеты проследить трудно. Это не банкноты, — сказал я.

— Надо, конечно, обратиться в полицию, но надежды мало.

— Никакой, — сказал Бэллерс. — Вся моя надежда только на вас, мистер Додд. Я мог бы просить вас дать мне взаймы на крайне выгодных для вас условиях, но я предпочитаю воззвать к вашей человечности. Мы познакомились с вами при необычных обстоятельствах. Но теперь между нами установились отношения, которые почти можно назвать дружескими. Побуждаемый искренней симпатией, я рассказал вам о себе то, мистер Додд, чего никому не рассказывал, и мне кажется… я надеюсь… я почти уверен, что вы слушали меня с сочувствием. Вот почему я пришел к вам так непозволительно поздно. Поставьте себя на мое место: могу ли я спать, могу ли я даже подумать о сне, когда меня терзает такое отчаяние? Но ведь со мной рядом друг — так я посмел подумать о вас. И я бросился к вам, как утопающий хватается за соломинку. Право, я не преувеличиваю. Наоборот. У меня нет слов, чтобы полностью описать, что я чувствую. И подумайте, сэр, как легко вам вернуть мне надежду, а может быть, и рассудок. Небольшой заем, который будет возвращен вам с превеликой благодарностью. Пятисот долларов мне хватит с избытком. — Он уставился на меня горящими глазами. — Хватит и четырехсот долларов. И, на худой конец, мистер Додд, я попробую обойтись двумястами.

— А потом вы расплатитесь со мной деньгами Картью? — заметил я. — Весьма обязан. Теперь выслушайте меня. Я готов отвезти вас в Ливерпуль, оплатить ваш проезд до Сан-Франциско и вручить капитану пятьдесят долларов для передачи вам в Нью-Йорке.

Он слушал меня как завороженный. Выражение его лица было напряженным и хитрым. Я не сомневался, что он думает только о том, как бы меня обмануть.

— Но что я буду делать во Фриско? — спросил он. — Я больше не юрист, я не знаю никакого ремесла. У меня нет сил выполнять черную работу. Я не могу просить милостыню… А веды вы знаете, что я не один, что мне надо думать и о других.

— Я напишу Пинкертону, — ответил я. — Он, наверное, сумеет подыскать вам какую-нибудь подходящую работу, а пока, в течение первых трех месяцев со дня вашего приезда, он будет каждый месяц первого и пятнадцатого числа выплачивать вам лично двадцать пять долларов.

— Мистер Додд, я не могу поверить, что вы не шутите, — сказал он. — Неужели вы забыли, как обстоит дело? Ведь речь идет о здешних магнатах. Я слышал, как о них говорили сегодня в трактире. Одно их недвижимое имущество оценивается в несколько миллионов долларов. Их дом — местная достопримечательность. А вы хотите подкупить меня какими-то жалкими сотнями!

— Я не хочу вас подкупить, мистер Бэллерс. Я оказываю вам одолжение, — ответил я. — Я не собираюсь способствовать вашим отвратительным намерениям, но тем не менее я вовсе не хочу, чтобы вы умерли от голода.

— Ну, так дайте мне сто долларов, и покончим с этим.

— Либо вы примете мое предложение, либо нам больше говорить не о чем, — сказал я.

— Берегитесь! — воскликнул он. — Вы делаете глупость. Вы приобретаете врага без всякой для вас пользы… — Тут его тон снова изменился: — Семьдесят долларов… Только семьдесят, мистер Додд! Ну пожалейте меня, у вас же доброе сердце! Не отнимайте у меня последнюю надежду! Вспомните, в каком положении я, подумайте о моей несчастной жене!

— Вам самому следовало бы подумать о ней раньше, — ответил я. — Я сказал все и хочу спать.

— Это ваше последнее слово, сэр? Подумайте, прошу вас. Взвесьте все: мои несчастья, опасность, которая вам угрожает. Берегитесь… Пожалейте меня… Взвесьте все хорошенько,

прежде чем вы дадите мне окончательный ответ! — И он полуумоляющим-полуугрожающим жестом протянул ко мне руки.

— Это мое последнее слово, — сказал я.

Он вдруг страшно изменился в лице. Его охватила ярость. Весь дергаясь, он заговорил, уже не сдерживая своего бешенства:

— Позвольте, я выскажу вам все, что о вас думаю, — начал он с притворным хладнокровием. — Когда я буду святым на небесах, вы будете вопить в аду, тоскуя о капле воды, и я не сжалюсь над вами. Ваше последнее слово! Вы знаете, кто вы? Вы шпион! Лицемерный друг! Самодовольный предатель!.. Я вас презираю и плюю на вас! Я сведу счеты и с ним и с вами. Я чую кровь и пойду по следу! На коленях поползу, с голоду умру, но не сойду с него. Я вас затравлю, затравлю! Будь я силен, я сейчас же вырвал бы ваше сердце, вырвал бы… вырвал! Будьте прокляты! По-вашему, я слаб? Я искусаю вас, загрызу, покрою позором…

Тут в мой номер вбежали привлеченные шумом хозяин гостиницы и коридорные в халатах и ночных колпаках.

— Отведите его к нему в номер, — сказал я, — он просто пьян.

Но, говоря это, я не верил своим словам. Несколько минут назад я сделал еще одно открытие относительно характера мистера Бэллерса, который я изучал столько времени: я понял, что бедняга не в своем уме!

ГЛАВА XX
СТОЛЛБРИДЖ-ЛЕ-КАРТЬЮ

Когда я проснулся, оказалось, что Бэллерс скрылся из гостиницы, не заплатив по счету. Мне незачем было спрашивать, куда он отправился, я знал это слишком хорошо. Другого выхода не оставалось — я должен был последовать за ним. И вот часов в десять утра я нанял экипаж и поехал в Столлбридж-ле-Картью.

Долина реки скоро осталась позади, и мы поднялись на вершину меловой гряды, где паслись стада овец, а в небесах звенели бесчисленные жаворонки. Это был приятный, но не слишком интересный пейзаж, так что мои мысли вскоре обратились ко вчерашнему бурному разговору. Бэллерс рисовался мне теперь в другом облике. Я представил себе, как он неукротимо стремится к своей опасной цели, и ни страх, ни доводы рассудка не заставят его отступить ни на шаг. Прежде он мне казался хорьком, теперь я увидел в нем бешеного волка. Теперь он не станет подбираться к добыче, а кинется на нее. Кинется, рыча и брызгая ядовитой слюной. И если на его пути встанет даже Великая китайская стена, он попробует сокрушить ее голыми руками.

Но вот дорога спустилась с холмов в долину реки Столл, и мы поехали среди огороженных полей, в тени густых, росших по обочинам деревьев.

Возница сказал мне, что мы едем теперь по поместью Картью. Через некоторое время слева из-за деревьев поднялась зубчатая стена, а затем я увидел и весь дом. Он стоял в небольшой лощине среди густого парка, и, должен признаться, мне не понравились огромные деревья и непроходимые заросли лавров и рододендронов, окружавшие его. Несмотря на то, что здание это было расположено в низине и окружено деревьями, оно казалось внушительным, как собор. Когда мы начали огибать ограду парка, я заметил позади господского дома многочисленные службы. Слева виднелось небольшое декоративное озеро, где плавали лебеди. Справа, словно цветной витраж, пестрел старомодный цветник.

На фасаде дома я насчитал более шестидесяти окон. Он был увенчан строгим фронтоном, а вдоль нижнего этажа тянулась большая терраса.

От массивных ворот к дому вела широкая подъездная аллея, частично вымощенная гравием, частично выложенная дерном. По бокам ее шли тройные пешеходные аллеи.

Нельзя было без удивления смотреть на это здание, возникшее благодаря труду стольких поколений, стоившее стольких тонн золота и — содержавшееся в порядке целым отрядом ревностных слуг. И в то же время о присутствии этих слуг можно было догадаться только по совершенным плодам их работы. Все поместье производило впечатление такой же чистоты и аккуратности, как крохотный палисадник какого-нибудь городского садовода-любителя, но я нигде не заметил запоздавшего садовника, торопливо доканчивающего какую-нибудь клумбу, и не услышал никаких звуков, говоривших о труде. Тишину нарушали только звонкий птичий щебет да мычание коров, и даже деревушка, ютившаяся у ворот парка, казалось, почтительно затаила дыхание, словно шаловливый ребенок, вдруг попавший в приемную короля.

— «Герб Картью», маленькая, очень уютная гостиница, показалась мне придатком и аванпостом поместья. Стены были украшены гравированными портретами давно скончавшихся Картью: Филдинг Картью, главный уголовный судья города Лондона; генерал-майор Джон Картью в мундире, завершающий какую-то военную операцию; достопочтенный Бейли Картью, член парламента от Столлбриджа, размахивающий, стоя у стола, каким-то документом; Синглтон Картью, эсквайр, изображенный на фоне коровьего стада (без сомнения, по желанию своих арендаторов, которые преподнесли ему это произведение искусства), и преподобный архидиакон Картью, доктор богословия, доктор прав, магистр искусств, чопорно и неловко гладящий по головке маленького ребенка. Если память мне не изменяет, в этом почтенном заведении других картин не было. Я без всякого удивления узнал, что хозяин гостиницы в свое время был дворецким в замке, а хозяйка — горничной миледи и что буфет гостиницы служит своеобразным клубом бывших слуг. То абсолютное влияние, которое семейство Картью распространяло на столь значительную область, произвело на меня угнетающее впечатление, но, когда из подписей к гравюрам мне стало ясно, что история этого рода более чем скромна, к неприязни, которую я чувствовал, примешалось некоторое недоумение.

«Главный уголовный судья» — должность, несомненно, значительная, но я подумал, что на протяжении стольких поколений кто-нибудь из Картью мог бы всетаки занять пост и более значительный. Военные в их роду не дослужились выше генерал-майора, священники ограничивались скромным архидиаконством, и, хотя достопочтенный Бейли, казалось, пробрался в Тайный совет, было неясно, отличился ли он там чем-нибудь. Такие огромные возможности, такой долгий срок — и такие скромные достижения! Я почувствовал глубокую уверенность, что род этот не блещет ни умом, ни энергией.

Я скоро понял, что приехать в деревушку и не посетить «замок» значило бы нанести кровную обиду всем ее обитателям. Всякий посетитель был обязан покормить лебедей, поглядеть павлинов и картины Рафаэля (эти заурядные люди владели, однако, двумя подлинными полотнами Рафаэля), рискуя жизнью, ознакомиться со знаменитой породой скота, носившей название «картьючилингам», и сходить на поклонение к отцу знаменитого Донибристла, который не раз выигрывал скачки.

Я был не настолько глуп, чтобы воспротивиться обычаю, а кроме того, я услышал две новости, после которых мое равнодушие сменилось горячим желанием осмотреть поместье.

Во-первых, оказалось, что мистер Норрис «уехал путешествовать», а во-вторых, я узнал, что незадолго до меня какой-то посетитель уже осматривал местные достопримечательности. Догадываясь, кто это был, я решил разузнать, что он делал и что видел. Судьба мне благоприятствовала — меня поручили заботам того же помощника садовника, который водил по поместью моего предшественника.

— Да, сэр, — сказал он, — это действительно был американец. По виду персона не слишком важная, но очень вежливый.

Вежливость этого человека, казалось, действительно была незаурядной: он пришел в восторг от картьючилингамов, восхищенно ахал перед всем, что ему показывали, и чуть ли не пал ниц, узрев отца Донибристла.

— Он сказал мне, сэр, — продолжал польщенный помощник садовника, — что ему часто приходилось читать об английских замках, но наш был первый, который он увидел своими глазами. Когда он вышел на большую аллею, у него прямо дух захватило. «Поистине королевские владения!» — сказал он. Ну, и понятно, что поместье его интересовало, — ведь, по его словам, мистер Картью оказал ему в Штатах большую услугу. А он, кажется, человек обязательный и очень любит цветы.

Я выслушал этот рассказ с огромным изумлением. Сомневаться не приходилось — речь шла о Бэллерсе. А ведь всего несколько часов назад мне казалось, что передо мной сумасшедший, на которого следует надеть смирительную рубашку! Он остался без гроша в чужой стране, он ничего не ел со вчерашнего дня, отсутствие Норриса должно было привести его в отчаяние — и вдруг я слышу, что он ходил по поместью, восхищаясь видами, нюхая цветы и отпуская напыщенные фразы! Сила его характера поразила и испугала меня.

— Это очень странно, — сказал я своему проводнику. — Я сам имел удовольствие познакомиться с мистером Картью, и, насколько мне известно, никого из его друзей-американцев в Англии сейчас нет. Кто же это мог быть? Да неужели… Но нет, это невозможно! У него не хватило бы наглости. Скажите, его фамилия не Бэллерс?

— Его фамилии я не слышал, сэр. А вы знаете о нем что-нибудь скверное? — спросил помощник садовника.

— Да как сказать… — ответил я. — Во всяком случае, это не тот человек, которого Картью хотел бы видеть здесь в свое отсутствие.

— Господи боже ты мой! — воскликнул садовник. — А он так приятно разговаривал. Я еще подумал, что он, наверное, школьный учитель. Может, сэр, вы будете так любезны поговорить с мистером Денменом? Я ведь послал его к мистеру Денмену, когда он осмотрел поместье. Мистер Денмен — наш дворецкий, сэр, — пояснил он.

Это предложение меня тем более обрадовало, что давало возможность без всякого ущерба для моего достоинства побыстрее удалиться из общества картьючилингамов, и мы направились прямо через лужайку к заднему крыльцу замка.

Лужайка была окружена живой изгородью из тисов, за которой находился сад. Когда мы пересекали ее, мой проводник вдруг задержал меня.

— Высокородная леди Энн Картью, — торжественно прошептал он.

Поглядев через его плечо, я увидел старую даму, которая, опираясь на палку, довольно быстро ковыляла по садовой дорожке. В юности она, вероятно, была поразительной красавицей, и даже легкая хромота не нарушала впечатления почти грозного достоинства, которым дышал весь ее облик. Лицо ее было очень печально, а глаза, устремленные прямо вперед, казалось, созерцали грядущие несчастья.

— У нее очень грустный вид, — сказал я, когда она скрылась за поворотом и мы пошли дальше.

— Она все горюет, сэр, — ответил помощник садовника. — Мистер Картью… то есть, я хочу сказать, старый хозяин… умер всего год назад; лорд Тиллибоди, брат ее милости скончался два месяца спустя, а потом случилась эта беда с молодым джентльменом. Погиб на охоте, сэр. А он был любимцем ее милости. Мистера Норриса она куда меньше любила.

— Да, я слышал, — ответил я, как мне кажется, умело вызывая его на дальнейший рассказ и в то же время создавая впечатление, что я близкий друг семьи. — Очень, очень печально. А эта перемена — возвращение бедняги Картью и все остальное — не исправила дела?

— Ну нет, сэр! — ответил он. — Нам кажется, стало еще хуже.

— Очень, очень печально, — повторил я.

— Когда мистер Норрис приехал, она вроде бы обрадовалась ему, и мы все были очень довольны, ведь мы его все любим, сэр. Да только это скоро кончилось. В тот же самый вечер

был у них какой-то разговор, и все стало как прежде, только еще хуже. И на следующее утро мистер Норрис снова уехал путешествовать. «Денмен, — сказал он мистеру Денмену, — Денмен, я сюда никогда не вернусь», — и пожал ему руку. Конечно, человеку чужому я бы ничего этого рассказывать не стал, сэр, — добавил мой собеседник, очевидно, испугавшись, что наговорил лишнего.

И действительно, я узнал от него очень много — гораздо больше, чем было известно ему самому. В бурный вечер своего возвращения Картью рассказал о том, что с ним случилось, и старую даму мучило не только ее горе: среди картин, встававших перед ее мысленным взором, когда она шла мимо меня по тропинке, были и остров Мидуэй и бриг «Летящий по ветру».

Мистер Денмен кисло выслушал меня и сообщил мне, что Бэллерс уже ушел.

— Ушел? — воскликнул я. — Так зачем же он приходил? Уж, во всяком случае, не для того, чтобы осмотреть дом!

— Не вижу, что другое могло привести его сюда, — ответил дворецкий.

— Поверьте, вы ошибаетесь, — сказал я, — и он, очевидно, получил то, что ему было нужно. Кстати, а где сейчас мистер Картью? Мне очень жаль, что я не застал его тут.

— Он путешествует, сэр, — ответил дворецкий сухо.

— Браво! — вскричал я. — Ведь я расставил вам ловушку, мистер Денмен, но теперь вижу, что вы ничего не сказали этому наглому субъекту.

— Разумеется, сэр, — ответил дворецкий.

Я пожал ему руку — как и мистер Норрис, — однако без особого восторга: ведь мне не удалось узнать адрес, а раз Бэллерс покинул поместье, значит, он адрес узнал, иначе я застал бы его тут.

Я сумел избежать осмотра поместья и скотного двора, но осмотреть дом мне все-таки пришлось.

Старушка с серебряными волосами, с серебристым голосом и целым кладезем совершенно ненужных мне сведении долго водила меня по картинной галерее, концертному залу, парадной столовой, большой гостиной, индийской комнате, театру и всем остальным интересным уголкам этого громадного дома. Только одна комната оказалась для меня запретной — малая гостиная, куда удалилась леди Энн. Я на мгновение остановился около этой двери и улыбнулся про себя: ведь только она отделяла меня от тайны «Летящего по ветру»!

Но все время, пока я бродил по лабиринту комнат, я думал о Бэллерсе. Я не сомневался, что он раздобыл адрес, однако я твердо знал, что прямые расспросы ему не помогли. Следовательно, помогла какая-то хитрость, какая-то счастливая случайность. И, если мне не поможет такая же случайность или такая же хитрость, я ничего не смогу сделать; хорек выследит свою добычу, огромные дубы будут срублены, полотна Рафаэля пойдут с молотка, в доме поселится какой-нибудь разбогатевший биржевик, и от всего этого величия скоро останется только смутное воспоминание.

Как странно, что столь важные дела, столь древний замок и столь знатный и бесцветный род могли пойти прахом и дальнейшая их судьба зависела от находчивости, осторожности и хитрости бывшего студента Латинского квартала!

Чтобы помешать их гибели, я должен узнать адрес, как узнал его Бэллерс.

«Случайность или хитрость, хитрость или случайность», — продолжал я твердить про себя, когда возвращался в деревушку по большой аллее, иногда оглядываясь на кирпичный фасад и озаренные солнцем окна дома. Но как подчинить себе случайность? Какую придумать хитрость?

Размышляя над этим, я незаметно дошел до дверей деревенской гостиницы и там, согласно моему обычаю со всеми поддерживать хорошие, отношения, немедленно прогнал свою задумчивость и вежливо принял приглашение пообедать с хозяином в малом зале. Я был

единственным постояльцем гостиницы. И вот я сел за стол с мистером Хиггсом, бывшим дворецким, миссис Хиггс, бывшей горничнбй, и мисс Агнес Хиггс, их лохматой маленькой дочкой, на которую не возлагал никаких надежд (но, как показали дальнейшие события, ошибся). Разговор шел только о господском доме и о господах. Мм успели отведать ростбифа, йоркширского пудинга, сладкого пирога и сыра, а эта тема по-прежнему оставалась неиссякаемой. Я узнал множество сведений о четырех поколениях Картью, но ни одно из этих сведений меня не заинтересовало. И, только когда мистер Генри уже погиб во время охоты, когда я выслушал подробнейшее описание его смерти и торжественных похорон, на которых присутствовали чуть ли не все жители погруженного в скорбь графства, мне наконец удалось вывести на сцену моего близкого друга — мистера Норриса. При упоминании этого имени бывший дворецкий заговорил дипломатическим тоном, а бывшая горничная — нежным. Насколько я мог понять, мистер Норрис Нартью был единственным представителем этого бесцветного рода, который совершал хоть какиенибудь достойные упоминания поступки. Но, к сожалению, все они сводились к тому, что он вел беспутную жизнь, вызывавшую сожаление у тех, кто его любил. На свое несчастье, он был вылитым портретом достопочтенного Бейли, одного из светочей этого ничем не примечательного семейства, и поэтому чуть ли не с колыбели ему предсказывали блестящую карьеру. Однако едва он вышел из пеленок, как выяснилось, что он недостоин носить имя Картью: он выказывал несомненный вкус к низменным удовольствиям и скверному обществу — ему еще не было одиннадцати лет, когда он уже отправлялся собирать птичьи яйца вместе с младшим грумом, а когда ему исполнилось двадцать, то, не заботясь о достоинстве своей семьи, он начал все чаще отправляться в длинные пешие прогулки, делая зарисовки пейзажей и панибратствуя с завсегдатаями придорожных гостиниц.

Мне сообщили, что он начисто лишен гордости, что он готов сесть за стол с кем угодно — последнее было сказано таким тоном, который ясно давал мне понять, что своим знакомством с мистером Норрисом я был обязан именно этой его прискорбной неразборчивости.

К несчастью, мистер Норрис был не только эксцентричен, но и любил кутнуть. В университете он прославился двоими долгами, а затем был исключен из него за какую-то весьма вольную проделку.

— Он всегда был большой шутник, — заметила миссис Хиггс.

— Да уж! — согласился ее супруг.

Однако настоящие неприятности начались после того, как он поступил на дипломатическую службу.

— Он просто как с цепи сорвался, — сказал бывший дворецкий, мрачно смакуя эту мысль.

— Он наделал бог знает каких долгов, — сказала бывшая горничная, — и при всем при том такого прекрасного молодого человека поискать.

— Когда мистер Картью узнал обо всем, началось бог весть что, — продолжал мистер Хиггс. — Я так все помню, словно это случилось вчера. Когда ее милость вышла из столовой, хозяин позвонил. Я пошел туда сам, думая, что надо подавать кофе, и вдруг вижу: мистер Картью стоит у стола. «Хиггс, — говорит он, тыкая тростью (у него как раз разыгралась подагра), — прикажите немедленно заложить двуколку для этого господина, который опозорил себя». А мистер Норрис ничего не сказал. Он сидел, опустив голову, будто рассматривал узор на тарелке. А я так удивился, что еле на ногах устоял, — закончил мистер Хиггс.

— Он совершил что-то очень скверное? — спросил я.

— Ничего подобного, мистер Додели! — вскричала хозяйка (таков был ее вариант моей фамилии). — Бедняжка за всю свою жизнь ничего по-настоящему скверного не делал. С ним поступили несправедливо. Потому что он не был любимчиком.

— Миссис Хиггс, миссис Хиггс! — предостерегающе воскликнул дворецкий.

— Ну, и что тут такого? — возразила его супруга, встряхивая кудряшками. — Об этом всем в доме было известно, мистер Хиггс!

Выслушивая все эти факты и мнения, я отнюдь не забывал о семилетней дочери дома. Она была не очень привлекательна, но, к счастью, уже достигла корыстного семилетнего возраста, когда — монета в полкроны кажется больше блюдечка и редкостнейшей диковинкой. Я быстро снискал ее благоволение, опустив в копилку шиллинг и подарив ей золотой американский доллар, который оказался у меня в кармане. Она объявила, что я очень хороший дяденька, и получила нагоняй от своего папеньки за то, что начала проводить сравнение между мной и своим родным дядей Уильямом, весьма для последнего нелестное.

Едва мы кончили обедать, как мисс Агнес вскарабкалась ко мне на колени вместе с альбомом марок — подарком дяди Уильяма. Надо сказать, я терпеть не могу старые марки, но, решив, что в этот день я, видимо, обречен любоваться всякими достопримечательностями, подавил зевок и принялся прилежно рассматривать предложенную моему вниманию коллекцию. Я думаю, что ее начал сам дядя Уильям, а потом ему надоело — альбом, к моему большому изумлению, был почти весь заполнен. Я уныло разглядывал английские марки, русские марки с красным сердцем, старинные неразборчивые Турн-и-Таксис, давно вышедшие из употребления треугольные марки мыса Доброй Надежды, марки Лебединой реки с лебедем и гвианские марки с парусным кораблем. Иногда я начинал клевать носом, и, вероятно, в одну из этих минут, задремав, уронил альбом на пол, и из него высыпалось довольно большое количество марок, предназначенных для обмена.

И тут, против всех ожиданий, мне на помощь пришла счастливая случайность, на которую я уже перестал надеяться. Собирая рассыпавшиеся марки, я с удивлением заметил среди них множество французских марок ценой в пять су. Значит, кто-то регулярно присылает марки в Столлбридж-ле-Картью, решил я. А вдруг это Норрис? На штампе одной из марок я разобрал букву «Ш», на второй к ней прибавилась «а». Остальная часть штампа была совершенно неразборчивой. Если вы вспомните, что названия четверти французских городов начинаются с «Шато», вы поймете, что толк от моего открытия был невелик, и я немедленно присвоил марку, на которой штамп был наиболее ясен, с тем чтобы показать ее на почте и уточнить название города. Однако негодная девчонка заметила мой маневр.

— Ты гадкий дяденька, ты уклал мою малку! — закричала она и, прежде чем я успел что-нибудь возразить, выхватила ее из моего кармана и зажала в кулачке.

Я оказался в чрезвычайно ложном положении, и, наверное, миссис Хиггс сжалилась надо мной, потому что она поспешила прийти мне на помощь. Если мистера Додели интересуют марки, сказала она (скорее всего решив, что я помешан на них), ему надо бы посмотреть альбом мистера Денмена. Мистер Денмен собирает марки уже сорок лет, и, говорят, его коллекция стоит больших денег.

— Агнес, — продолжала она, — будь хорошей девочкой, сбегай в замок, скажи мистеру Денмену, что у нас в гостях настоящий знаток, и попроси его прислать к нам с кем-нибудь свой альбом.

— И те марки, которые он хочет обменять, — добавил я, не растерявшись. — У меня в бумажнике, кажется, есть кое-какие интересные экземпляры, и, может быть, мы с ним поменяемся.

Полчаса спустя в гостиницу явился мистер Денмен собственной персоной, неся под мышкой толстенный альбом.

— Ах, сэр! — вскричал он. — Когда я услышал, что вы филателист, я бросил все дела! У меня есть поговорка, мистер Додели: те, кто коллекционирует марки, всегда друзья.

Не знаю, насколько это наблюдение верно, но, во всяком случае, тот, кто пытается выдать себя за филателиста, не имея для этого никаких оснований, попадает в трудное положение.

— А-а! Второй выпуск, — говорил я, быстро прочитав надпись рядом с маркой. — Да, да, розовая… нет… я хотел сказать, палевая — самая интересная на этой странице. Хотя, как вы говорите, вот эта желтенькая — настоящая редкость.

Мой обман, конечно, был бы открыт, если бы я из чувства самозащиты не напоил мистера Денмена его любимым напитком — портвейном, настолько прекрасным, что он, несомненно, не мог дозреть в погребе «Герба Картью», а был перенесен туда под покровом ночи из подвалов господского дома. Каждый раз, когда мне грозило разоблачение и особенно когда он задавал какой-нибудь коварный вопрос, я торопился снова наполнить его стакан, и к тому времени, когда мы дошли до марок, предназначенных для — обмена, почтенный мистер Денмен был в таком состоянии, которое обезвреживает даже самого рьяного филателиста. Нет, он совсем не был пьян — по-моему, для этого у него не хватало энергии и живости. Однако глаза его остекленели, и, хотя он продолжал разглагольствовать, ему было решительно все равно, слушаю я его или нет.

Среди марок мистера Денмена, предназначенных для обмена, как и среди марок маленькой Агнес, можно было подметить ту же странность, а именно избыток заурядных французских марок ценой в пять су. Я осторожно разложил их перед собой и, подобрав все необходимые буквы, составил название города, которое меня так интересовало: Шайи-ан-Бьер, городок вблизи Барбизона, самое подходящее место для человека, который скрывается, самое подходящее место для мистера Норриса, который совершал длинные экскурсии, рисуя пейзажи, самое подходящее место для Годдедааля, который забыл на борту «Летящего по ветру» свой мастихин. Как странно, я кружил по Англии с Бэллерсом, а человек, которого мы искали, все это время жил там, куда влекли меня мои помыслы.

Я не знаю, показывал ли мистер Денмен свой альбом Бэллерсу и сумел ли Бэллерс по стертому штампу разобрать то, что его интересовало, но теперь это не имело значения. Я тоже узнал все, что мне было нужно.

Мой интерес к маркам испарился самым беззастенчивым образом, я немедленно распрощался с удивленные Денменом и, приказав закладывать лошадь, принялся изучать расписание поездов и пароходов.

ГЛАВА XXI
ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Я добрался до Барбизона в два часа дня, когда улицы его кажутся вымершими: все прилежные труженики уже где-то пишут свои эскизы, все бездельники уже отправились гулять в лес или около реки. Гостиница тоже была пуста.

Однако я с большой радостью увидел в общем зале одного из моих прежних приятелей. Судя по его городскому костюму, он собирался уехать, и действительно рядом с ним на полу лежал портплед.

— Стеннис! — воскликнул я. — Вот уж с кем не ожидал здесь встретиться!

— Еще немного — и мы бы не встретились, — ответил он. — Мы уже слишком стары, и для нас в Барбизоне нет места. Я пробыл здесь неделю, и оказалось, что я никому не известен. Только Фараон узнал меня, ну и, конечно, супруги Сирон и бессмертный Бодмер.

— И никто не уцелел? — осведомился я.

— От нашей геологической эпохи? Никто, — ответил он. — Полное безлюдье, словно на развалинах древнего Вавилона.

— А какие кочевники разбивают теперь шатры среди руин? — спросил я.

— Молодежь, Додд, молодежь. Цветущая, самодовольная молодежь. Пакость невообразимая. И подумать, что мы сами были такими! И как это Сирон не выгонял нас с позором из своего заведения!

— Ну, может, мы были не так уж плохи, — попробовал я возразить.

— Не буду разбивать ваши иллюзии, — ответил Стеннис, — но должен сказать, что единственная терпимая личность здесь — это один англичанин.

Его последние слова напомнили мне о цели, ради которой я сюда приехал и о которой эта приятная встреча заставила меня забыть.

— А кто он? — спросил я. — Расскажите.

— Терпимая личность? — переспросил он. — Ну, очень приятный человек. Довольно замкнутый, скучноватый и вежливый, но очень-очень приятный. И к тому же он истый британец, простодушный британец. Боюсь, это будет действовать на ваши заатлантические нервы. Хотя, впрочем, вы должны отлично поладить. Он большой поклонник одной из (простите меня!) самых неприятных черт вашей великой республики. Он выписывает и внимательно прочитывает множество американских газет. Я же вас предупредил, что он человек простодушный.

— А какие именно газеты? — воскликнул я.

— Выходящие в Сан-Франциско, — ответил Стеннис. — Дважды в неделю он получает их целую кипу и прочитывает от первой до последней строчки. Это одна из его слабостей. А другой его недостаток — сказочное богатство. Он снял прежнюю мастерскую Массона — помните, на перекрестке? — обставил ее, не считаясь ни с какими расходами, и живет там, окруженный тонкими винами и предметами искусства. Когда современная молодежь отправляется в Пещеру Разбойников варить пунш — они ведь проделывают все, что проделывали мы, отвратительные обезьяны (я прежде никогда не замечал, до чего сильна в человеке склонность следовать установившимся традициям)… — так вот, когда они отправляются в Пещеру Разбойников, этот Мэдден отправляется туда же с корзиной шампанского. Я попробовал объяснить ему, что он совершает ошибку и что пунш гораздо вкуснее, но он считает, что, с точки зрения этих молодчиков, шампанское куда шикарнее, и, наверное, так оно и есть. Он человек очень добрый, очень меланхоличный и довольно беспомощный. Ах да, у него есть еще третья слабость, о которой я чуть не забыл. Он малюет. Он никогда не учился живописи. Ему уже за тридцать лет, и все-таки он пишет картины.

— Ну и как? — спросил я.

— Весьма неплохо, мне кажется, — ответил Стеннис. — Это-то и неприятно. Судите сами. Вот одна из них.

Я оглянулся. Я хорошо помнил эту комнату еще с прежних времен: столы, расставленные в форме буквы «П», большой буфет, разбитый рояль и картины на стенах. Среди них были мои старые знакомые: «Ромео и Джульетта», «Вид Антверпена с реки», «Корабли в замерзшей гавани» и огромный охотник, трубящий в огромный рог, — но к ним прибавилось несколько новых — дары следовавших за нами поколений художников — совершенно такие же в смысле качества. На одну-то из этих последних и указывал Стеннис. Выполнена она была чрезвычайно неровно, некоторые места поражали удачным колоритом, другие были более чем посредственны. Однако мое внимание привлек сам пейзаж, а не искусство его воплощения. На первом плане тянулась полоса кустарника и песка, усеянного обломками. За ней простиралась многоцветная лагуна, окруженная белой стеной прибоя. Дальше виднелась синяя полоса океана. На небе не было ни облачка, и я словно услышал грохот валов, разбивающихся о риф, ибо передо мной был остров Мидуэй, изображенный с того самого места, где я в первый раз сошел на сушу с капитаном и где я побывал вторично в день нашего отплытия. Я несколько минут рассматривал картину, и вдруг мое внимание привлекло пятнышко на линии горизонта. Всмотревшись внимательнее, я понял, что это дымок парохода.

— Да, — заметил я, обращаясь к Стеннису, — в картине что-то есть. А какое место на ней изображено?

— Так, фантазия, — ответил он. — Вот это мне и нравится. У большинства современных художников фантазии не больше, чем у гусеницы.

— Вы говорите, его фамилия Мэдден? — продолжал я свои расспросы.

— Да, — ответил Стеннис.

— А он много путешествовал?

— Не имею ни малейшего представления. Я уже говорил, он человек замкнутый. Он чаще всего молчит, курит, посмеивается чужим шуткам, а иногда и сам пробует шутить. Но интересным собеседником его не назовешь. Нет, — добавил Стеннис, — он вам все-таки не понравится, Додд. Вы не любите скучных собутыльников.

— У него большие золотистые усы, похожие на слоновьи клыки? — спросил я, вспоминая фотографию Годдедааля.

— Конечно, нет. С чего вы это взяли?

— А он пишет много писем? — продолжал я.

— Не знаю, — ответил Стеннис. — Что это на вас нашло? Я прежде никогда не замечал в вас такого любопытства.

— Дело в том, что я, кажется, знаком с этим человеком, — ответил я. — Кажется, он именно тот, кого я ищу.

К гостинице подъехал экипаж, заказанный Стеннисом, и мы распрощались.

До обеда я бродил по полям. Мне никого не хотелось видеть, и я пытался разобраться во множестве одолевавших меня чувств. Очень скоро мне предстояла встреча с человеком, чей голос я когда-то слышал, кто в течение стольких дней наполнял мою жизнь интересом и тревогой, о ком я думал столько бессонных ночей. Еще немного — и я наконец узнаю тайну подмены корабельной команды.

Солнце начало клониться к западу, но с каждой минутой, которая приближала нашу встречу, я все больше терял мужество. Я шел так медленно, что, когда вошел в обеденный зал, все постояльцы уже сидели за столом и в комнате стоял оглушительный многоголосый говор. Я сел на свободное место и вскоре обнаружил, что напротив меня сидит Мэдден. Это был высокий, хорошо сложенный человек с серебряными нитями в темных волосах. Карие глаза смотрели ласково, добродушная улыбка открывала превосходные зубы. Одежда, голос, манеры выдавали в нем англичанина, выделяя его среди всех, сидевших за этим столом. В то же время он, по-видимому, чувствовал себя здесь как дома и пользовался несомненной симпатией шумной молодежи, которая его окружала. У него был странный серебристый смешок, звучавший как-то нервно и плохо вязавшийся с его высокой фигурой и мужественным, грустным лицом. Весь обед этот смешок раздавался постоянно, точно звон треугольника в каком-нибудь произведении новейших французских композиторов; Мэдден, казалось, поддерживал общее веселье не столько шутками, сколько сочувственной манерой держаться. Казалось, он принимает участие в застольных развлечениях не потому, что у него хорошее настроение, а потому, что, по доброте душевной, не любит мешать удовольствию других, Такую же грустную улыбчивость и умение стушевываться я замечал у отставных военных.

Я боялся глядеть на него, так как мой взгляд мог выдать снедавшее меня волнение; однако судьба была на моей стороне, и не успели еще убрать со стола суп как мы познакомились самым естественным образом Я отхлебнул глоток местного вина, вкус которого давно уже успел забыть, и, не удержавшись, воскликнул:

— Фу, какая гадость!

— Не правда ли? — заметил Мэдден и добавил: — Разрешите налить вам моего вина. Здесь его называю! «шамбертэн», хотя это вовсе не шамбертэн, но пить его можно, чего не скажешь обо всех остальных напитках которые тут подаются.

Я принял его предложение — я был рад любому предлогу завязать с ним знакомство.

— Ваша фамилия, кажется, Мэдден? — сказал я. — Мне рассказывал о вас мой старый приятель Стеннис. Я еще застал его здесь сегодня утром.

— Очень жаль, что он уехал, — заметил он. — Среди этой молодежи я чувствую себя настоящим дедушкой.

— Моя фамилия Додд, — продолжал я.

— Я знаю, — ответил он, — мне сказала мадам Сирон.

— Я довольно долго жил в Сан-Франциско, — пояснил я.

— Компаньон фирмы «Пинкертон и Додд», если не ошибаюсь? — сказал он.

— Именно, — ответил я.

Мы не смотрели друг на друга, но я заметил, что он нервно катает хлебные шарики.

— Мне нравится эта ваша картина, — сказал я. — Передний план тяжеловат, зато лагуна сделана превосходно.

— Кому же это знать, как не вам, — сказал он.

— Да, — ответил я, — я могу судить достаточно точно… об этой картине.

Наступило долгое молчание.

— Вы, кажется, знаете некоего Бэллерса? — начал он.

— Так, значит, — воскликнул я, — вы получили письмо от доктора Эркварта?

— Сегодня утром, — ответил он.

— Ну, Бэллерс может и подождать, — сказал я. — Это длинная история и довольно глупая, но, мне кажется, нам есть о чем поговорить друг с другом. Но не лучше ли отложить разговор, пока мы не останемся одни?

— Вы правы, — ответил он. — Конечно, этим юнцам не до нас, но нам будет удобнее у меня в мастерской. Ваше здоровье, Додд!

И мы чокнулись с ним через стол.

Вот так странно состоялось наше, знакомство в компании тридцати с лишним художников и напудренных дам в халатах — великан Сирон передавал тарелки над нашими головами, а его шумные сыновья вбегали с новыми блюдами.

— Еще один вопрос, — сказал я. — Вы узнали мой голос?

— Ваш голос? — повторил он удивленно. — А как я мог его узнать? Я никогда его не слышал. Мы ведь с вами не встречались?

— И все же до этой нашей встречи мы с вами один раз разговаривали, — сказал я. — Я задал вам вопрос, на который вы не ответили и который я с тех пор по очень веским причинам неоднократно задавал сам себе.

— Так, значит, тогда звонили мне вы? — воскликнул он, вдруг бледнея.

Я кивнул.

— И вам, — продолжал он, — я обязан своими бессонными ночами? Эти раздавшиеся в трубке тихие слова с тех пор свистели у меня в ушах, как ветер в замочной скважине. Кто это мог быть? Что это могло означать? Мне кажется, они причинили мне больше терзаний, чем… — Он умолк и нахмурился. — Хотя терзаться я должен был бы совсем из-за другого, — добавил он и медленно допил свое вино.

— Видимо, мы оба были обречены судьбой сводить друг друга с ума загадками. Иной раз мне казалось, что у меня вот-вот голова расколется.

Картью испустил свой странный смешок.

— Однако есть люди, которым пришлось хуже, чем нам, — заметил он, — они и вовсе ничего не понимают.

— Кто это? — спросил я.

— Судовладельцы, — ответил он.

— Ну конечно же! — воскликнул я. — Мне это и в голову не приходило. Как же они это объяснили?

— Никак, — ответил Картью. — Случившееся объяснению не поддавалось. Они все были люди небогатые, организовавшие небольшой синдикат. Один из них теперь ездит в карете, и о нем говорят, что он превосходный делец и еще станет финансовым воротилой. Другой на полученную прибыль купил себе небольшую виллу. Но все они совсем сбиты с толку и, когда встречаются, боятся смотреть друг другу в глаза, как авгуры.

Как только обед кончился, Картью повел меня к себе. Старую мастерскую Массона совсем нельзя было узнать. На стенах висели гобелены, несколько хороших гравюр, а также изумительные картины, принадлежавшие кисти Руссо, Коро, Уистлера и даже Тициана. В комнате стояли удобные английские кресла, несколько американских качалок и дорогой письменный стол. На буфете выстроились бутылки и сифон с содовой водой, а в углу за портьерой я увидел раскладную кровать и большую ванну. Такая комната в Барбизоне поражала пришельца не меньше, чем чудеса пещеры графа Монте-Кристо.

— Ну, — сказал мой хозяин, — здесь нам никто не помешает. Садитесь и, если вам не трудно, расскажите мне всю вашу историю.

Я выполнил его просьбу, начав с того дня, когда Джим показал мне заметку в «Дейли Оксидентел», и закончив эпизодом с марками и почтовым штампом Шайи.

Мой рассказ занял много времени, а Картью к тому же перебивал меня, расспрашивая о подробностях. Словом, прежде чем я кончил, большие часы в углу комнаты уже успели пробить полночь.

— А теперь, — сказал мой хозяин, — пришла моя очередь рассказать вам свою историю, хотя мне это крайне тяжело, так как она отвратительна. Сам не знаю, как я еще могу спать. Я уже рассказывал ее однажды, мистер Додд.

— Леди Энн? — спросил я.

— Вы угадали, — ответил он. — И, по правде говоря, дал клятву никому ее больше не рассказывать. Но вам я не имею права отказать. Вы за нее дорого заплатили, и я могу только надеяться, что, добившись своего, вы не разочаруетесь!

С этими словами он начал свой рассказ, а когда он его закончил, на дворе уже был ясный день, в деревне пели петухи, и крестьяне направлялись в поля.

ГЛАВА XXII
ЧЕЛОВЕК, ЖИВУЩИЙ НА ПОСОБИЕ

Синглтон Картью, отец Норриса, был человек толстый, слабовольный, чувствительный, как музыкант, глупый, как баран, и добросовестный, как дрессированная собака. Он с большой серьезностью относился к своему положению: огромные комнаты и безмолвные слуги казались ему принадлежностью какого-то религиозного ритуала, в котором он занимал место смертного бога. Как все глупые люди, он не терпел глупости в других и, как все тщеславные, боялся, что его тщеславие может быть замечено. И в том и в другом отношении Норрис постоянно раздражал и оскорблял его. Он считал своего сына дураком и подозревал, что тот придерживается о нем такого же мнения. История их отношений очень проста: они встречались редко и ссорились часто. Для его матери, гордой и честолюбивой женщины, уже успевшей разочароваться в своем муже и старшем сыне, Норрис был только новым разочарованием.

Однако недостатки молодого Картью были не особенно серьезными. Он рос застенчивым, уступчивым, малоэнергичным.

Он совсем не был честолюбив, всякой деятельности предпочитал роль постороннего зрителя и скептически наблюдал, как его отец торжественно переливает из пустого в порожнее, мать самозабвенно гоняется за мотыльками, которые зовутся светскими успехами, а брат в поте лица занимается тем, что называют развлечениями. Картью пришел к

убеждению, что его родные тратят свою жизнь на скучные пустяки. Он родился разочарованным, и карьера, открывавшаяся перед ним благодаря его происхождению, была ему совсем не по душе. Он любил жизнь на открытом воздухе, всему предпочитал одиночество и в то же время легко завязывал приятельские отношения со случайными встречными. Но больше всего его влекла живопись. С детства он не уставал любоваться прекрасными картинами в галерее Столлбриджа. Хотя, судя по этому собранию, его предки интересовались искусством, Норрис, пожалуй, был первым в роду, кто захотел сделать искусство своим призванием. Он с детства мечтал стать художником, но родители решительно воспротивились этому, и он уступил без всякой борьбы. Когда настало время поступать в Оксфорд, он попробовал спорить. Науки его не интересуют, объяснил он, ему хочется стать художником. Эти слова настолько потрясли его отца, что Норрис поспешил уступить. «Это ведь было не так уж важно, — сказал он, — а мне не хотелось дразнить старика».

И вот он покорно отправился в Оксфорд и скоро стал там центром небольшого кружка убежденных бездельников. Завистливые первокурсники пытались подражать полному отсутствию всякого старания и страха, которое у него было совершенно естественным. «Все пустяки» — было его девизом, и он следовал ему даже во время бесед с профессорами. Хотя он всегда был вежлив, это полное равнодушие производило впечатление беззастенчивой наглости, и в конце концов на втором году обучения он был исключен из университета.

Ни с кем из Картью еще никогда не случалось ничего подобного, и отец Норриса не собирался смотреть на это сквозь пальцы. Он давно уже имел привычку пророчить своему второму сыну бесславную и позорную жизнь. И теперь его прежние пророчества стали для него источником утешения. Он то и дело повторял: «Я же говорил!» — и уже не сомневался, что его сын кончит виселицей или каторгой. Незначительные долги, которые Норрис сделал в университете, в глазах его отца превратились в неслыханное мотовство, грозившее семье чуть ли не полным разорением.

— По-моему, это несправедливо, сэр, — сказал Норрис. — Я жил в университете так, как вы мне советовали. Мне жаль, что меня исключили, и вы имеете право бранить меня за это, но вот попрекать меня долгами вы права не имеете.

Нетрудно представить, какое впечатление могли произвести эти слова на очень глупого человека, имевшего к тому же некоторые основания для своего гнева.

Выслушав несколько яростных тирад своего отца, Норрис наконец сказал:

— Знаете что, сэр? Из этого ничего не выйдет. Лучше позвольте мне заняться живописью. Это единственное, что меня хоть сколько-нибудь интересует. Ничем другим я все равно заниматься не буду.

— Вы явились ко мне опозоренным, сударь, и я думал, у вас хватит стыда не повторять больше эти глупости!

На этом разговор закончился, и Норрис вскоре был послан за границу изучать иностранные языки. Это обошлось его отцу недешево, потому что Норрис наделал новых долгов и не обратил никакого внимания на совершенно справедливое негодование отца, который их заплатил. В оксфордской истории с ним поступили несправедливо, и он со злопамятством и упрямством, удивительными в человеке, столь покладистом и слабовольном, не считал нужным ограничивать себя в расходах. Он швырял деньгами направо и налево, позволял своим слугам обкрадывать себя и, когда окончательно запутывался в долгах, извещал об этом отца с хладнокровием, которое приводило того в бешенство. Наконец ему выделили определенный капитал, устроили на дипломатическую службу и заявили, что на помощь отца он больше рассчитывать не должен.

Когда Норрису исполнилось двадцать пять лет, он уже истратил все свои деньги, наделал множество долгов и в конце концов, как многие слабовольные, меланхоличные люди, пристрастился к азартным играм. Австрийский полковник (тот самый, который впоследствии

повесился в Монте-Карло) преподал ему хороший урок — за двадцать два часа Норрис потерял все, что у него оставалось, и многое сверх того. Его отец опять спас честь своего рода — на этот раз действительно ценой значительной суммы, но теперь поставил Норрису гораздо более жесткие условия. Ему было предложено отправиться в Новый Южный Уэльс, где нотариусу в Сиднее поручалось раз в три месяца выплачивать ему семьдесят пять фунтов. Писать домой ему запрещалось. Если по той или иной причине он в день выплаты не явится к нотариусу, то будет сочтен мертвым, и высылка денег будет прекращена. Если он посмеет вернуться в Европу, во всех крупных газетах будет помещено заявление, что его семья от него отрекается.

Пожалуй, его отца больше всего раздражали неизменная вежливость и спокойствие, не покидавшие Норриса в самый разгар семейной бури. Он ждал неприятностей и, когда они наступили, встретил их равнодушно. Безмолвно выслушав все упреки, он взял деньги и в точности выполнил все, что от него требовалось: сел на корабль и отправился в Сидней. Есть люди, которые в двадцать пять лет остаются еще детьми. Таков был Норрис. Через восемнадцать дней после того, как он приехал в Австралию, он истратил все деньги, на которые ему предстояло жить три месяца, и с легкомысленной надеждой на возможности, которые открываются перед приезжими в молодой стране, начал ходить по конторам, предлагая свои услуги. Всюду его встречал отказ, и в конце концов его попросили освободить квартиру, которую он снимал. Он еще носил свой щегольской летний костюм, но оказался на улице без гроша в кармане, как самый последний бродяга.

Тогда он решил обратиться за помощью к нотариусу, который выплачивал ему деньги.

— Прошу вас запомнить, мистер Картью, что я не могу тратить мое время на пустяки, — сказал нотариус. — Можете не описывать мне своего положения. Люди, живущие на пособие своих родных, для меня не такая уж редкость. В подобных случаях я действую по определенной системе. Сейчас я вам дам фунт. Вот он. В любой день, когда вы решите зайти, мой клерк выдаст вам авансом шиллинг. По субботам, поскольку моя контора в воскресенье закрыта, он будет давать вам два шиллинга. Условия мои таковы: вы не будете обращаться лично ко мне, а только к моему клерку, вы не будете являться сюда пьяным, и вы будете немедленно уходить, как только распишетесь в получении шиллинга. Всего хорошего.

— Вероятно, я должен вас поблагодарить, — сказал Картью. — Я в столь отчаянном положении, что не могу отказаться даже от такого нищенского пособия.

— Нищенского? — улыбнулся нотариус. — В нашем городе человек, у которого в кармане имеется шиллинг, не считается нищим. У меня на руках есть еще один молодой человек, который вот уже шесть лет беспробудно пьет на такое пособие.

И он занялся своими бумагами. В течение многих месяцев улыбающееся лицо нотариуса стояло перед глазами Картью. «Этот трехминутный разговор, — пояснил он, — научил меня большему, чем все мои прежние занятия. Это была сама жизнь. И я подумал: неужели я дошел до того, что завидую этому старому сухарю?»

В течение следующих трех недель Норрис, небритый и исхудавший, каждое утро появлялся в конторе нотариуса. Ночью он спал на скамье в парке, днем лежал там на траве в обществе других бездомных бродяг. Каждое утро его будили лучи солнца, встающего за маяком. Он поднимался на ноги и смотрел, как меняются краски в восточной части неба, смотрел на еще не проснувшийся город, смотрел на кишащий кораблями порт, где начиналась утренняя работа. Его собратья по ночлегу продолжали лежать на своих скамьях и на траве, стараясь урвать лишний часок сна, а Картью бродил по дорожкам парка, проклиная свою былую лень и глупость. Днем в парке появлялись няньки с детьми, а потом — нарядно одетая публика, а Картью и остальная «шваль» (это было его собственное горькое выражение), покусывая травинки, угрюмо поглядывали на проходящую мимо пеструю вереницу. Потом наступал вечер, потом ночь, и все начиналось сначала. Иногда ночью раздавались крики о помощи.

— Вы можете этому не поверить, — сказал Картью, — но я дошел до такого состояния, когда меня уже ничто не трогало. Как-то раз меня разбудил крик женщины. Она звала на помощь. А я только повернулся на другой бок и снова заснул… Да, странное место этот парк, где весь день гуляют нарядные дамы со своими детьми, а ночью грабят прохожих, хотя кругом горят огни большого города и слышится шум экипажей, в которых гости возвращаются с губернаторского бала.

Единственным развлечением Норриса в те дни были разговоры с другими бродягами. Ему пришлось выслушать много скучных, много странных и много страшных историй.

Пошли дожди, и он был вынужден каждый день тратить четыре пенса за право переночевать в ночлежке, лишая себя завтрака. Как-то утром, голодный и мокрый, он сидел на скамье в парке, как вдруг услышал громкий собачий визг. Оглянувшись, он увидел, что неподалеку несколько хулиганов развлекаются, мучая какого-то пса. И Норрис, остававшийся равнодушным к крикам людей, попавших в беду, не выдержал страданий ни в чем не повинного животного. Он бросился на хулиганов, раскидал их во все стороны, схватил собаку и, прислонившись к дереву, приготовился отразить нападение. Их было шестеро, но, как это часто случается, жестокость в них сочеталась с трусостью, и они предпочли удалиться, осыпая его ругательствами. На соседней скамье сидел безработный приказчик, веселый рыжий человечек, по фамилии Хемстед. Сам он не рискнул вмешаться, однако поспешил принести Картью свои поздравления и предостеречь его, что в следующий раз подобное вмешательство может окончиться для него плохо.

— В этом парке попадаются такие субъекты, с которыми лучше не связываться, — сказал он.

— Ну, я и сам ничуть не лучше, — ответил Картью.

Хемстед рассмеялся и сказал, что человека из хорошей семьи сразу видно.

— Это не имеет никакого значения, я ведь безработный, — сказал Картью, усаживаясь на скамью рядом со своим новым знакомым.

— Я и сам давно без места, — сказал Хемстед.

— Все равно мне до вас далеко, — заметил Картью. — Моя беда в том, что у меня места никогда и не было.

— Значит, ремесла вы не знаете никакого? — спросил Хемстед.

— Я умею тратить деньги, — ответил Картью, — разбираюсь в лошадях и немножко в мореходстве. Но я не член профсоюза, а то, наверное, меня взяли бы на какой-нибудь корабль.

— Жалость-то какая! — сочувственно вздохнул его собеседник. — А в конную полицию пробовали устроиться?

— Пробовал, и мне указали на дверь — не подошел по здоровью.

— Ну, а как насчет железных дорог? — осведомился Хемстед.

— А вы-то их пробовали? — в свою очередь, спросил Картью.

— Нет, это не для меня. Я не собираюсь заниматься черной работой, — гордо ответил бывший приказчик. — Но, если не быть особенно разборчивым, там почти наверняка можно устроиться.

— Ну-ка, объясните мне, куда идти! — воскликнул Картью, вскакивая на ноги.

Дожди шли не переставая, реки выходили из берегов, и на железных дорогах требовались рабочие руки, но «безработные» предпочитали просить милостыню или грабить, так что землекоп, даже совсем неопытный, мог рассчитывать на хороший заработок. Поэтому в тот же вечер после скучной поездки, во время которой пришлось сделать пересадку, потому что дорогу размыло, Норрис оказался на грязном, поврежденном участке пути за Южным Клифтоном и впервые в жизни попробовал заняться физическим трудом.

Дождь не прекращался несколько недель. Начались оползни, и целый склон горы обрушился в море — лавина глины, камней и вырванных с корнем деревьев засыпала утесы, пляж и даже прибрежные рифы. Обвал уносил целые дома и разбивал их, как орехи. Из соседних домов, которым угрожала та же судьба, жильцы поспешно перебирались в другое место, и дома стояли запертые, покинутые. Днем и ночью в лагере землекопов горели костры, днем и ночью измученным землекопам работающей смены подавался горячий кофе, днем и ночью инженер участка совершал обход за обходом, ободряя своих рабочих, днем и ночью стучал телеграф, сообщая страшные новости и задавая тревожные вопросы. По размываемой линии редко-редко проходили поезда; они двигались медленно, поминутно давая гудки, и останавливались перед опасным местом, словно живые существа, чувствующие, что им грозит гибель. Начальник участка поспешно оглядывал линию и хриплым голосом кричал машинисту, что можно ехать. Землекопы, затаив дыхание, следили за тем, как поезд медленно проползал мимо, а когда опасное место оставалось позади, коротко кричали «ура», глядя вслед набиравшему ход поезду.

Одну такую сцену Картью запомнил на всю жизнь.

С моря дул сильный ветер. В пятистах футах под насыпью огромные валы долбили отвесное подножие горы. Неподалеку от берега маленькая шхуна подавала сигналы бедствия — там кто-то стрелял из дробовика, — словно в такое время можно было рассчитывать на помощь. Тут Картью отвернулся, потому что раздался пронзительный гудок и из-за дождевой завесы показался окутанный дымом паровоз. Сам инженер, побледнев, подал сигнал машинисту. Поезд полз черепашьим ходом, но вся гора содрогалась и, казалось, клонилась к морю: землекопы инстинктивно уцепились за деревья и кустарники — тщетная предосторожность, столь же тщетная, как выстрелы несчастных моряков внизу. Но и на этот раз их страхи оказались напрасными, поезд прошел благополучно, и Норрис, переведя дыхание, снова посмотрел на шхуну. Она, уже скрылась в волнах.

Так в тяжелой и опасной работе проходили дни и ночи. Картью устал от бессонницы, ему смертельно надоел кофе, его руки, размягченные сыростью, были натерты до крови, и в то же время он чувствовал себя необыкновенно спокойным и здоровым. Жизнь на открытом воздухе, физический труд, необходимость зарабатывать на пропитание оказались чудесным лекарством от скептицизма, разъедавшего его душу. Он хорошо знал, какая перед ним стоит задача: требовалось сделать так, чтобы поезд прошел их участок благополучно, и не было времени спрашивать, нужно ли это. Картью — бездельник, мот, безвольный дилетант — заслужил всеобщие похвалы и получил повышение. Особенно его хвалил инженер и ставил в пример другим. Как-то раз Норрис услышал, что он сказал: «У меня есть новый рабочий, городской щеголь. Он один стоит двоих». Эти слова прозвучали в ушах Картью, как музыка, и с этой минуты тяжелая плебейская работа не просто интересовала его — он ею гордился.

Горячка еще продолжалась, когда подошел день выплаты пособия. Норрис был к этому времени произведен в старшие рабочие: он решал, когда останавливать и когда пропускать поезда на опасном откосе вблизи Северного Клифтона. Эта ответственность одновременно пугала его и приводила в восторг. Мысль о семидесяти пяти фунтах, которые он вскоре должен будет получить в конторе нотариуса, и о том, что в этот день он обязан быть в Сиднее, смущала и тревожила его. Наконец он решился; выбрал свободную минуту, отправился в клифтонскую гостиницу, потребовал лист бумаги, перо и чернила и написал нотариусу, объясняя, что получил хорошее место, которое может потерять, если поедет в Сидней, и просил считать это письмо доказательством его присутствия в Новом Южном Уэльсе, с тем чтобы он мог получить причитающиеся ему деньги в день следующей выплаты.

Со следующей почтой пришел ответ. Нотариус не только согласился на его просьбу, но и был очень любезен. «Хотя ваша просьба и противоречит полученным мной инструкциям, я готов взять на себя всю ответственность и поступить согласно вашему желанию. Должен

признаться, что ваше поведение меня приятно разочаровало. Мой опыт показывает, что от молодых людей в вашем положении редко можно ожидать чего-либо подобного».

Дожди кончились, и временные работники были уволены. Однако Норриса инженер оставил, приняв его на постоянную работу. Теперь он стал полноправным землекопом и жил в палатке среди скал, окруженный глухим лесом, вдалеке от всякого жилья. Когда он и его товарищи сидели у вечернего костра, тишина нарушалась только шумом проходящих мимо поездов да криками ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ.

Чудесная погода, легкая, однообразная работа, долгие часы ленивой болтовни у лагерного костра, длинные бессонные ночи, когда, бродя по залитому лунным светом лесу, он вспоминал свою прежнюю глупую и бесполезную жизнь, полная оторванность от города, так что всякую случайно попавшую к ним газету прочитывали от первой до последней строчки, включая даже объявления, — таково было его новое существование, которое скоро ему надоело. Он с глубоким сожалением вспоминал усталость, яростную спешку, напряжение, костры, ночную кружку кофе — всю грубую, забрызганную грязью поэзию первых недель его работы на железной дороге. И вот примерно в середине октября он отказался от места и распрощался с палаточным лагерем на отроге Лысой горы. В своем рабочем костюме, с узлом за спиной и накопившимся жалованьем в кармане он второй раз очутился в Сиднее и шел по улицам, испытывая удовольствие, смешанное с растерянностью, словно человек, вернувшийся из долгого путешествия. Он смотрел на прохожих, как завороженный, и, забыв про голод, забыв о том, что ему надо подыскать себе жилье, бродил среди толпы, точно щепка, уносимая течением. Наконец он пришел в парк и, прогуливаясь по дорожкам, стал вспоминать страдания и мучительный стыд, который испытывал здесь, и с жадным любопытством вглядывался в своих преемников. На одной из скамеек он заметил Хемстеда, все такого же веселого и бодрого, и заговорил с ним, как со старым другом.

— Вы дали мне хороший совет, — сказал он. — Эта железная дорога сделала из меня человека. Надеюсь, вам тоже повезло?

— Ну нет, — ответил бывший приказчик. — Сейчас в торговле затишье, и для человека, вроде меня, нет подходящего места. — Тут он показал Норрису свои рекомендации — от бакалейщика в Вуллумуллу, от владельца скобяной лавки и от хозяина бильярдной.

— Да, — объяснил он, — я хотел стать маркером. Но разочаровался: ночная работа губит здоровье. Нет уж, я ничьим рабом не буду! — заключил он.

Памятуя правило, что тот, кто слишком горд, чтобы быть рабом, обычно без смущения принимает доброхотные даяния, Картью протянул ему соверен, а сам, почувствовав острый голод, отправился по направлению к ресторану «Париж», Когда он добрался это этой части города, по улицам как раз расходились из суда адвокаты в париках и мантиях, и Картью, поправляя на плече узел, остановился, чтобы полюбоваться на них и вспомнить прошлое.

— Черт возьми, — раздался позади него голос, — да это мистер Картью!

Обернувшись, он увидел перед собой красивого загорелого, но, пожалуй, слишком полного юношу, одетого в щегольской костюм с бутоньеркой, которая стоила целый соверен. Это был Том Хэдден (весь Сидней называл его Томми), унаследовавший довольно большое состояние, но не имевший права им распоряжаться, так как его благоразумный отец назначил ему нескольких опекунов. Норрис познакомился с ним в первые дни своего пребывания в Сиднее на его прощальном ужине и даже проводил Томми до кишевшей тараканами шхуны, на которой он должен был отправиться в шестимесячное плавание к островам Тихого океана. Дело в том, что ежегодного дохода мистеру Хэддену хватало на три месяца роскошной жизни в Сиднее, а остальные девять он вынужден был проводить в длительных вояжах.

Томми всего неделю назад вернулся в Сидней и уже успел обзавестись шестью новыми костюмами. Однако этот простодушный малый так радостно приветствовал одетого в рабочую блузу Картью, у которого за спиной болтался узелок, словно перед ним был герцог.

— Пойдемте выпьем вместе, — предложил он.

— По правде говоря, я собирался пообедать в «Париже», — заметил Картью, — мне давно уже не приходилось есть как следует.

— Чудесный план! — воскликнул Хэдден. — Я позавтракал только полчаса назад, но мы возьмем — отдельный кабинет, и я еще чего-нибудь погрызу. Вчера я здорово кутнул, а сегодня без конца встречаюсь с приятелями.

Вскоре они уже сидели за столиком в отдельном кабинете на втором этаже модного ресторана, отдавая должное искусству лучшего повара Сиднея.

Странное сходство их положения внушило им взаимную симпатию, и они принялись рассказывать друг другу о себе. Картью описал свои страдания в парке и работу на железной дороге. Хэдден поведал о том, как покупал копру в Южных Морях, юмористически обрисовав жизнь на коралловых островах. Насколько мог понять Картью, профессия землекопа была куда доходнее. Но, с другой стороны, груз шхуны Хэддена состоял в основном из пива и хереса для его личного потребления.

— У меня было и шампанское, но сначала я его хранил на случай болезни, а потом решил, что вряд ли заболею, и стал выпивать по бутылке каждое воскресенье. Спал все утро, потом завтракал с шампанским, ложился в гамак и читал «Средние века» Хэлема. Вы читали эту книгу? Я всегда беру с собой на острова что-нибудь солидное. По правде говоря, я не слишком стеснялся в расходах, но, если немножко экономить или если бы у меня нашелся компаньон, можно было бы хорошо заработать. Я пользуюсь влиянием среди местных жителей. Я теперь считаюсь одним из вождей, и в хижине совета для меня отведено особое место. И моя партия очень сильна. Правда, мне приходится подкармливать моих сторонников консервированной лососиной, а это обходится дорого. Впрочем, при всяком удобном случае я стараюсь достать для них осьминога. Это их любимое блюдо, хотя я сам осьминогов не люблю. А вы как? То же самое и с акульим мясом. Я все пытаюсь им втолковать, что раз копра сейчас стоит дешево, они должны нести убытки наравне со мной. Я считаю своей святой обязанностью просвещать их, но вот политической экономии они никак не понимают.

Тут Картью воспользовался случаем и задал вопрос, который давно вертелся у него на языке.

— Да, кстати, о политической экономии, — сказал он. — Вы сказали, что если бы у вас был компаньон, то прибыль увеличилась бы. Каким это образом?

— Я сейчас вам докажу с помощью цифр! — воскликнул Хэдден и, вооружившись карандашом, стал творить чудеса на обороте меню.

Насколько я мог понять, Томми всегда носился со всевозможными проектами. Стоило ему услышать о какой-нибудь спекуляции, и он готов был исписывать цифрами целые страницы. Данные для своих расчетов он черпал из собственного воображения, полагаясь к тому же на довольно скверную память. Короче говоря, он казался карикатурой на Пинкертона. Если Джим был дельцом-романтиком, то Томми был дельцом-сказочником.

— Ну, и как по-вашему, во что это обойдется? — спросил он, например, о какой-то закупке.

— Не имею ни малейшего представления, — ответил Картью.

— Десяти фунтов хватит с избытком, — торжествующе заявил Томми.

— Ну, это чепуха, — сказал Картью, — не меньше пятидесяти.

— Да вы же сами мне только что сказали, что не имеете об этом ни малейшего представления! — возопил Томми. — Как я могу производить расчеты, когда вы говорите то одно, то другое? Будьте же серьезны.

Однако он согласился увеличить предполагаемую цифру до двадцати, но через несколько минут, когда выяснилось, что в подобном случае операция окажется убыточной, снова снизил ее уже до пяти фунтов, заявив:

— Я же говорил вам, что это чепуха. Уж если браться за дело, то браться как следует.

Хотя многое в рассуждениях Томми казалось Картью нелогичным и неясным, постепенно он увлекся. Перед его глазами вырастал великолепный дворец, правда, лишенный фундамента. Медведь еще гулял по лесу, но из шкуры его уже был изготовлен великолепный ковер. Картью через несколько дней получит в свое распоряжение полтораста фунтов. У Хеддена уже есть пятьсот. Так почему бы им не подобрать себе еще двух-трех компаньонов, не зафрахтовать какую-нибудь старую шхуну и не отправиться торговать на острова? Картью — опытный яхтсмен, а Хэдден, как он заявил, «умеет работать вполне прилично». Торговля в Южных Морях — дело, несомненно, выгодное, а то зачем бы столько шхун отправлялось туда из года в год? А раз у них будет собственная шхуна, значит, они получат еще бо́льшую прибыль.

— И, во всяком случае, своего мы не потеряем! — вскричал Хэдден. — Купите себе два-три костюма. С этого, конечно, надо начать. Потом возьмем извозчика и поедем в «Богатую невесту».

— Я обойдусь тем костюмом, который на мне, — сказал Норрис.

— Да неужто? — вскричал Хэдден. — Должен сказать, я вами восхищаюсь. Вы настоящий мудрец-философ.

— Просто мне надо экономить, — ответил Картью. — Если мы решили взяться за это дело, мне нужны будут все мои деньги, все до последнего гроша.

— Решили ли мы взяться за это дело? — просиял Томми. — Вот вы сами увидите. Только одно условие, Картью: контракты будем заключать на ваше имя. Ведь у меня есть капитал. А вам в случае неудачи терять все равно нечего.

— Но мне казалось, мы сейчас только установили, что это дело совсем безопасное, — заметил Картью.

— Ну, совсем безопасных дел не бывает, — ответил мудрый Томми. — Даже букмекеры и те разоряются.

Трактир с садом, носивший название «Богатая невеста», был куплен на деньги, которые его владелец, капитан Босток, накопил за время длинной, бурной и отчасти исторической карьеры среди островов. Всюду, от архипелага Тонго до островов Адмиралтейства, он знал всех влиятельных людей и умел врать на любом местном диалекте.

На его глазах сандаловое дерево и пальмовое масло уступили место копре, да и сам он стал пионером коммерции — первым торговцем, который привез человеческие зубы на острова Гилберта. Во времена сэра Артура Гордона его чуть было не приговорили к смерти на Фиджи, и если он имел привычку молиться, то, несомненно, не забывал поминать сэра Артура. На Новой Ирландии он был семь раз ранен копьями (его помощник был убит) во время знаменитой резни на бриге «Веселый Роджер», однако коварные дикари ничего не добились своим предательством, и Босток заполучил на свой корабль семьдесят пять рабочих, из которых от ран и увечий скончалось не более десяти человек. Он также принимал участие в милой шутке, которая стоила жизни епископу Паттерсону, — когда самозваный епископ сходил на берег, молился и благословлял туземцев. Босток, наряженный в женскую ночную рубашку (среди их товаров были и рубашки), стоял справа от него и в нужную минуту басил «аминь!». В компании «надежных ребят» он больше всего любил рассказывать именно эту историю («двести рабочих за горстку аминей!»), а ее следствие — гибель настоящего епископа — казалось ему чрезвычайно смешным обстоятельством.

Все это Картью узнал, пока они ехали в извозчичьей карете.

— Зачем нам понадобилось ехать к этому старому негодяю? — спросил он в изумлении.

— Погодите судить, пока вы с ним не познакомитесь, — ответил Томми. — Этот человек знает всех и вся.

Когда они сошли с извозчика перед крыльцом «Богатой невесты», Хэдден вдруг с интересом уставился на своего возницу — коренастого, краснолицего, голубоглазого толстяка лет под сорок, который чем-то походил на моряка.

— Ваше лицо мне знакомо, — сказал он. — Я ездил с вами и прежде?

— Много раз, мистер Хэдден, — ответил извозчик. — Когда вы в прошлый раз вернулись с островов, я возил вас на ипподром.

— Вот и отлично! Слезайте с козел и пойдемте выпьем, — оказал Томми, направляясь к калитке, которая вела в сад при трактире.

Гостей встретил сам капитан Восток. Это был медлительный старик с кислым лицом и рыбьими глазами. Он небрежно поздоровался с Томми и (как они вскоре вспомнили) подмигнул извозчику, который подмигнул ему в ответ.

— Бутылку пива для извозчика на тот стол, — сказал Томми. — А вот на этот — что угодно, от виски до шампанского. И присоединяйтесь к нам. Разрешите познакомить вас с моим другом мистером Картью. Я пришел по делу. Билли. Я хочу посоветоваться с вами, как с другом. Я решил самостоятельно заняться торговлей на островах.

Несомненно, капитан был настоящим кладезем полезных сведений, но ему не удалось доказать это. Не успевал он открыть рот, как Хэдден обрушивался на него с возражениями и всяческими поправками. Он задавал вопрос необычайной длины, а едва капитан пытался ответить, тут же перебивал его, высмеивал его советы, а иногда разражался негодующими тирадами.

— Извините меня, — сказал он один раз, — я джентльмен, мистер Картью, — джентльмен, и мы не собираемся заниматься подобными делами. Разве вы не видите, с кем разговариваете? Так почему вы не скажете чего-нибудь дельного? Неужто вы не можете дать нам полезного указания, каким товаром лучше заниматься?

— Нет, не могу, — возразил капитан Босток. — Какие там указания, когда вы мне не даете говорить. Я торговал джином и ружьями.

— А, идите вы к черту со своим джином и ружьями! — вскричал Хэдден. — В ваше время это, конечно, было неплохо. Но теперь вы старик, и условия переменились. Вот я сейчас скажу вам, Билл Босток, чем выгодно заниматься теперь. — И он тараторил еще минут десять без передышки.

Картью не мог удержаться от улыбки. Он уже перестал относиться серьезно к их предприятию, так как Томми оказался малонадежным компаньоном. Но в то же время эта беседа ему очень нравилась, чего нельзя было сказать о капитане Востоке.

— И чего вы только не знаете! — саркастически заметил старый капитан, когда Томми умолк, чтобы перевести дух.

— Уж во всяком случае побольше вас, — возразил Том. — Да и как может быть иначе? Вы не получили никакого образования. Вы всю жизнь торчали либо в море, либо на островах, — так какой же полезный совет вы можете дать человеку вроде меня?

— Ваше здоровье, Томми, — ответил Босток, поднимая свой стакан. — Из вас выйдет первоклассное жаркое на Новых Гебридах.

— Вот теперь выговорите дело! — воскликнул Том, очевидно, не совсем уяснив сомнительную сущность этого комплимента. — Ну, слушайте внимательно. У нас есть деньги и предприимчивость. И я человек опытный. А нужна нам дешевая хорошая шхуна, хороший капитан и рекомендация какой-нибудь фирме, чтобы она открыла нам кредит.

— Вот что, — ответил капитан Босток. — Я видел, как людей вроде вас жарили и съедали, а потом отплевывались. Некоторые были жестковатыми, а некоторые — совсем безвкусными, — добавил он угрюмо.

— То есть что вы хотите этим сказать? — вскричал Том.

— А то, что не желаю с вами связываться, — ответил Босток, — мне это ни к чему. Ей-богу, мне жалко того людоеда, который сожрет ваши мозги! Рекомендую вам купить дешевый хороший гроб и нанять хорошего могильщика. А может, какая-нибудь фирма отпустит вам гроб в кредит. Посмотрите лучше на своего приятеля. У него вроде есть голова на плечах — он все время над вами смеется.

Весьма возможно, что мистер Босток говорил так не со зла и что все его замечания представлялись ему милыми шутками, но, как бы то ни было, Хэддену они пришлись не по вкусу. Он вскочил, и, вероятно, совещание пришло бы к концу, если бы в этот момент не раздался новый голос.

Извозчик все это время сидел к ним спиной, покуривая глиняную трубку и, очевидно, внимательно прислушиваясь к разглагольствованиям Томми, потому что он вдруг повернулся и произнес следующие странные слова:

— Извините меня, господа. Если вы купите шхуну, которая мне по вкусу, я раздобуду вам кредит.

Наступила долгая пауза.

— То есть как это? — еле выдохнул Томми.

— Ну-ка, Билли, скажи им, кто я такой, — обратился извозчик к капитану.

— А ты не боишься, Джо? — осведомился Босток.

— Ну, уж это мое дело, — возразил извозчик.

— Господа, — сказал Босток, торжественно поднимаясь на ноги. — Позвольте представить вам мистера Уикса, капитана «Милой Грейс».

— Да, господа, вот кто я такой, — сказал извозчик. — Вы знаете, что у меня были неприятности, и я не отрицаю, что нанес удар, да только где мне было взять свидетелей, что меня на это вынудили? Поэтому я сменил фамилию и стал извозчиком. И вот уже три года никто ни о чем не догадывается.

— Прошу прощения, — сказал Картью, чуть ли не в первый раз вступая в беседу, — я здесь человек новый. В чем вас обвиняли?

— В убийстве, — ответил капитан Уикс. — И я не отрицаю, что нанес удар, и не отрицаю, что боялся суда, — а то почему бы я был сейчас здесь? Он пробовал поднять мятеж. Вот вы Билли спросите, он знает, как все было.

Картью глубоко вздохнул. У него было странное, но приятное ощущение, что он все глубже погружается в поток жизни.

— Ну, — сказал он, — вы собирались предложить нам…

— Я собирался предложить вот что, — подхватил капитан. — Я слышал, что говорил мистер Хэдден. Помоему, он говорил дело. Некоторые его мысли мне очень понравились. Я думаю, мы с ним поладим. Кроме того, вы оба джентльмены, и мне это нравится. А потом, мне надоело возиться с лошадьми. Я хочу снова взяться за настоящую работу. Предлагаю я вам вот что: у меня есть кое-какие деньги, которые я могу вложить в дело, — фунтов сто. Кроме того, моя прежняя фирма даст мне кредит, да еще обрадуется. От меня они никогда убытков не терпели и знают, чего я стою как суперкарго. И, наконец, вам нужен хороший капитан, а я десять лет командовал шхунами. Спросите Билли, какой я капитан.

— Лучше не найти, — сказал Билли.

— Но послушайте, — вскричал Хэдден, — как вы все это устроите? Вы можете разъезжать на козлах, и никто вас ни о чем не спросит, но, если возьметесь командовать шхуной, вас тут же сцапают.

— Я постараюсь поменьше показываться на людях, — ответил Уикс, — и возьму другое имя.

— А как же судовые документы? Какое другое имя? — спросил Томми, совсем сбитый с толку.

— Пока еще не знаю, — ответил капитан ухмыляясь. — Посмотрю, какое имя будет в моем новом дипломе, то я и возьму. Ну, если мне не удастся купить диплом, чего, впрочем, никогда еще не бывало, то старик Керкап одолжит мне свой. Он сейчас уже не плавает, а завел себе ферму около Бонди.

— Мне казалось, что вы имеете в виду какую-то определенную шхуну, — сказал Картью.

— Так оно и есть, — ответил капитан Уикс. — Настоящая красавица. Шхуна «Мечта». В жизни не видел таких линий. А уж ход — просто обомлеешь! Как она меня обогнала около острова Четверга — делала по два узла на каждый мой один! А ведь «Милая Грейс» была кораблем, каким можно гордиться. Я просто волосы на себе рвал. И с тех пор «Мечта» стала моей мечтой. Тогда она была частной яхтой. Хозяином ее был Грант Сендерсон. Сумасшедший богач, который заболел в конце концов лихорадкой и умер. Капитан привез его тело в Сидней и уволился. Оказалось, что Грант Сендерсон оставил десятка два завещаний и десятка два вдовиц. Эти вдовицы подали друг на друга в суд, и, пока шло разбирательство, «Мечта» стояла на якоре у мыса Глиб и потихоньку гнила. Но теперь процесс закончился — судьи, наверное, в орлянку разыграли, какая вдова правильная, — и «Мечта» назначена к продаже. Ее можно купить по дешевке, потому что она долго стояла без дела и гнила.

— А какое у нее водоизмещение?

— Для нас в самый раз будет — сто девяносто, почти двести, — ответил капитан. — Нам втроем с ней не справиться. Придется взять здесь еще матроса, хоть и жаль тратить деньги. На островах туземцы служат чуть не даром. И еще нам будет нужен кок. С матросами-новичками я справлюсь, но нет ничего хуже пуститься в плавание с новичком-коком. У меня на примете есть один — гаваец, с которым я уже плавал. Зовут его Амалу, стряпает — пальчики оближешь, а кроме того, всегда приятнее иметь дело с туземцами: командуй им как хочешь, а он даже и не знает, какие у него есть права.

С той секунды, когда в разговор вмешался капитан Уикс, Картью снова поверил, что их планы могут осуществиться. Какой бы проступок ни совершил этот человек в прошлом, он явно был добродушен и хорошо знал свое ремесло. Раз он одобрил их предприятие, вкладывал в него свои деньги, отдавал в их распоряжение весь свой опыт и обещал обеспечить им кредит, то Картью готов был продолжать начатое. Хэдден же был на седьмом небе. Они с Востоком выпили шампанского и помирились. Тост следовал за тостом. Единодушно было решено после покупки переименовать шхуну в «Богатую невесту». И еще не совсем смерклось, как уже возникла новая «Компания островной торговли «Богатая невеста».

Три дня спустя Картью, все еще в рабочем костюме, отправился к нотариусу, получил свои полтораста фунтов и довольно робко попросил еще раз сделать ему снисхождение.

— У меня есть возможность, — сказал он, — заняться выгодным делом. Завтра к вечеру я, вероятно, стану собственником части корабля.

— Опасная собственность, мистер Картью, — заметил нотариус.

— Нет, если собственники сами будут плавать на ней и в случае крушения отправятся вместе с ней на дно, — был ответ.

— Пожалуй, вы действительно можете так кое-что заработать, — заметил нотариус. — Но разве вы моряк? Я думал, вы были на дипломатической службе.

— Я старый яхтсмен, — сказал Норрис, — и постараюсь еще чему-нибудь научиться. В Австралии на дипломатию не проживешь. Но я хотел предупредить вас вот о чем: в день следующей выплаты я не могу быть в Сиднее — мы отправляемся в шестимесячное плавание среди островов.

— Мне очень жаль, мистер Картью, но об этом не может быть и речи, — ответил нотариус.

— Но ведь в прошлый раз вы согласились, — сказал Картью.

— Тогда дело обстояло иначе, — возразил нотариус, — тогда я знал, что вы находитесь в Новом Южном Уэльсе, и все же я отступил от данных мне инструкций. На этот раз, по вашим собственным словам, вы собираетесь нарушить условие. Предупреждаю вас: если вы приведете свое намерение в исполнение и я получу тому доказательства (я считаю наш разговор конфиденциальным и выводов из него делать не буду), мне придется, выполнить свой долг. Либо вы явитесь сюда в день выплаты, либо пособие вам будет прекращено.

— Это, по-моему, очень жестоко и довольно глупо, — заметил Картью.

— Я тут ни при чем, мне были даны определенные инструкции, — ответил нотариус.

— И вы так толкуете эти инструкции, что лишаете меня возможности честно зарабатывать на жизнь, — настаивал Картью.

— Будем откровенны, — сказал нотариус. — В данных мне инструкциях ничего не говорилось о том, как вы должны зарабатывать на жизнь. Насколько я могу судить, моим клиентам это совершенно безразлично. Насколько я могу судить, они хотят только одного: чтобы вы не покидали Нового Южного Уэльса. Из этого я делаю определенный вывод, мистер Картью… я делаю определенный вывод.

— Не понимаю, — пожал плечами Норрис.

— Я хочу оказать только, что, по моему мнению, основанному на веских фактах, ваши родные не желают больше вас видеть, — объяснил нотариус. — Весьма вероятно, что это очень несправедливо, но такое у меня создалось впечатление. За это, насколько я понимаю, мне и платят. И у меня нет иного выбора. Я обязан выполнить свой долг.

— Не хочу вас обманывать, — сказал Норрис, густо краснея, — ваша догадка совершенно правильна. Мои родные не желают меня больше видеть. Но ведь я еду не в Англию, я еду на острова Тихого океана.

— Да, но ведь я не знаю, куда вы едете, — возразил нотариус, не поднимая глаз и втыкая карандаш в промокашку.

— Прошу прощения, мне кажется, я имел удовольствие сообщить вам об этом.

— Боюсь, мистер Картью, что я не могу принять ваше сообщение к сведению, — последовал медленный ответ.

— Я не привык, чтобы в моем слове сомневались! — вскричал Норрис.

— Тише, тише, я не разрешаю повышать голос в моей конторе, — сказал нотариус, — но, если вы заговорили об этом, — а вы, кажется, неглупый молодой человек — подумайте, что мне о вас известно? Ваши родные отреклись от вас и платят деньги, чтобы держать вас подальше от себя. Что вы сделали? Не знаю. Но разве вы не понимаете, как глуп я был бы, если бы поставил свою репутацию в зависимость от слова джентльмена, о котором мне известно только то, что мне известно о вас? Наш разговор очень неприятен. Зачем же его затягивать? Напишите домой, добейтесь того, чтобы мне дали другие инструкции, и я буду поступать по-другому. Но только на этом условии.

— Мне очень пригодились бы триста фунтов в год, — сказал Норрис, — но я не могу платить требуемую цену. Боюсь, я больше не буду иметь удовольствия видеться с вами.

— Как угодно, — сказал нотариус. — Если в следующий день выплаты вас здесь не будет, вы больше ничего не получите. И я хочу вас предостеречь — из самых лучших побуждений, —

что через шесть месяцев вы явитесь сюда просить о помощи, а я обязан буду указать вам на дверь.

— Всего хорошего, — сказал Норрис.

— Желаю вам того же, мистер Картью, — отозвался нотариус и, позвонив клерку, попросил его проводить молодого человека.

Вот почему Норрис до отплытия больше не виделся с нотариусом. Все это время он был поглощен деловыми хлопотами, и шхуна уже вышла в открытое море, когда Хэдден подошел к нему и показал объявление в газете, над которой дремал в тени камбуза.

«Мистера Норриса Картью, — гласило объявление, — просят незамедлительно зайти в контору мистера… где его ожидает важное известие».

— Этому известию придется подождать еще шесть месяцев, — сказал Норрис с притворным равнодушием.

На самом же деле ему очень хотелось узнать, в чем здесь дело.

ГЛАВА XXIII
ПЛАВАНИЕ «БОГАТОЙ НЕВЕСТЫ»

Утром 26 ноября из Сиднейского порта вышла шхуна «Богатая невеста». Ее собственник Норрис Картью находился на борту в качестве помощника капитана, имя которого официально было Уильям Керкап. Коком был гаваец Джозеф Амалу. Команду составляли два матроса — Томас Хэдден и Ричард Хемстед (последний был взят на корабль отчасти из-за своего покладистого характера, а отчасти из-за того, что он обладал некоторыми познаниями в плотницком деле).

«Богатая невеста» шла к островам Южных Морей — сперва на остров Бутаритари в группе Гилберта. Однако в порту считали, что ее владелец путешествует ради удовольствия. Какой-нибудь приятель покойного Гранта Сендерсона узнал бы в этой шхуне преображенную «Мечту», утратившую теперь свое прежнее название. А агент Ллойда, будь он приглашен для ее осмотра, нашел бы много поводов для критических замечаний.

За три года бездействия «Мечта» сильно пострадала и поэтому была продана за гроши, но у трех ее новых хозяев не хватало денег на основательный ремонт. Правда, часть снастей была заменена новыми, а остальные починены. Используя все запасы, штопая и сшивая, шхуну удалось обеспечить достаточным количеством парусов. Старые мачты еще продолжали держаться, хотя сами, вероятно, немало этому дивились.

— У меня не хватает духу проверить их, — не раз замечал капитан Уикс, измеряя взглядом мачты или поглаживая их основания.

И «гнилой, как наш фок» стало любимой поговоркой команды.

Дальнейшие события показали, что шхуна была, вероятно, крепче, чем можно было подумать на первый взгляд, но тогда никто этого не знал наверное, так же как никто, за исключением капитана, не имел ясного представления об опасностях предстоящего плавания. Но капитан отдавал себе в них полный отчет и не скрывал своего мнения. И, хотя он был человек удивительной храбрости и не привык отступать перед опасностями, он потребовал, чтобы на шхуну был взят вельбот.

— Выбирайте, — сказал он, — либо новый рангоут, либо вельбот. А так я отказываюсь выйти в море.

Его компаньоны были вынуждены согласиться, после чего их маленький капитал разом уменьшился на тридцать шесть фунтов.

Все четверо трудились не покладая рук почти полтора месяца. О капитане Уиксе, разумеется, не было ни слуху ни духу, но им помогал какой-то человек с густой рыжей бородой, которую, спускаясь в трюм, он обычно снимал. Голосом и характером он удивительно напоминал капитана Уикса.

Что касается капитана Керкапа, он явился на шхуну в самую последнюю минуту и оказался мужественным морским волком с огромной седой бородой. Пока шхуна выходила из гавани, все зеваки на берегу могли любоваться, как эта белоснежная борода развевается по ветру. Но, едва «Богатая невеста» прошла последний маяк, капитан спустился к себе в каюту и через пять секунд уже вышел на палубу чисто выбритым. Вот какое количество хитроумных приемов и обманов понадобилось для того, чтобы в море мог выйти ветхий корабль под командой капитана, которого разыскивало правосудие. Возможно, даже эти уловки не помогли бы, если бы не репутация Хэддена: на это плавание смотрели снисходительно, как на очередную эксцентричную затею Томми. А кроме того, прежде шхуна была яхтой, и к ней по-прежнему относились как к яхте, которой положено пускаться в рискованные предприятия.

Странный вид имела эта шхуна: высокие мачты были обезображены залатанными парусами, обшитая красным деревом каюта превращена в склад, и вдоль всех ее стен тянулись грубо сколоченные полки. И жизнь, которую они вели на этом странном корабле, была не менее странной. Один Амалу помещался в кубрике, остальные расположились в каютах, спали на атласных диванах и усаживались в курительном салоне за скудную трапезу, состоящую из скверной солонины и не менее скверного картофеля. Хемстед ворчал. Томми иногда не выдерживал и разнообразил меню банкой наугад вскрытых консервов или бутылкой своего хереса. Однако Хемстед ворчал по привычке, Томми возмущался лишь на несколько минут, и за всем этим скрывалась общая готовность безропотно мириться с такого рода трудностями.

Ведь, кроме лука и картофеля, на «Богатой невесте» почти не было собственных запасов продовольствия. В ее трюме хранились полученные в кредит товары стоимостью в две тысячи фунтов — вся надежда ее команды, и, когда они ели что-нибудь, кроме картошки с луком, они поедали свою будущую прибыль.

Хотя на шхуне не соблюдалось никакой субординации, на отсутствие дисциплины пожаловаться было нельзя. Уикс был единственным моряком на борту и поэтому пользовался большим авторитетом, а кроме того, он оказался таким добродушным и веселым человеком, что его слушались просто из симпатии. Картью старался изо всех сил, отчасти потому, что ему нравились его обязанности, отчасти потому, что ему нравился его капитан. Амалу был трудолюбив и исполнителен, и даже Хемстед и Хэдден работали с охотой. Томми заведовал складом и целыми днями возился в трюме или в бывшей кают-компании, и, когда он появлялся на палубе, никто уже не мог бы узнать в нем сиднейского щеголя. Кончив работу, он зачерпывал ведро морской воды, переодевался и устраивался на палубе с большой кипой сиднейского «Геральда» или с томом «Истории цивилизации» Бокля — научным трудом, выбранным для этого плавания. Заметив, что он берет Бокля, его товарищи обменивались веселыми улыбками, ибо Бокль неизменно усыплял Тома, а когда он просыпался, его почти всегда охватывало желание выпить хересу. Эта зависимость была настолько четкой, что «стаканчик Бокля» или «бутылка цивилизации» стали ходячими выражениями на борту «Богатой невесты».

Хемстед производил необходимые починки, и дела у него хватало. На шхуне буквально не было живого места: лампы текли, обшивка текла; дверные ручки оставались в руках, панели отставали от стен, помпа не откачивала воду, а испорченная ванна в каюте чуть было не затопила весь корабль.

Уикс утверждал, что от гвоздей давно ничего не осталось и шхуна держится только на ржавчине. «Не смеши меня так, Томми, — любил он повторять, — а то как бы от моего хохота ахтерштевень не переломился!». И, когда Хемстед бродил по шхуне со своими инструментами, что-то подправляя, что-то подштопывая, Уикс непременно начинал над ним подшучивать: «Если бы ты занимался каким-нибудь полезным делом, я бы мог это понять, но какой толк чинить снаружи, когда внутри все равно одна гниль?». И, несомненно, эти постоянные шутки успокаивали новоявленных моряков, которые невозмутимо занимались своими делами в обстоятельствах, напугавших бы даже адмирала Нельсона.

Погода с самого начала была великолепная, а ветер ровный и постоянный. Шхуна летела как на крыльях. «Наша „Богатая невеста" совсем старуха, а болезней у нее столько, что и подумать страшно, — говорил капитан, берясь за карту, на которой он откладывал пройденный путь, — но она уйдет от любой другой шхуны в этой части Тихого океана».

Они мыли палубы, сменяли друг друга у штурвала, выполняли остальные свои обязанности, а по вечерам, особенно если Томми решал достать «бутылку цивилизации», болтали и пели. Амалу прекрасно исполнял гавайские песни, а Хемстед недурно играл на банджо, напевая приятным дрожащим тенорком австралийские песни.

Я знаю, чем кончилось это плавание, и, наверное, поэтому, когда я думаю о нем, меня охватывает чувство глубокой жалости и ощущение таинственности. Построенная для удовлетворения прихоти богатого негодяя шхуна, где жалкие остатки былой роскоши странно сочетались с ее новым назначением, летящая по просторам океана в сменяющейся красоте восходов и закатов; ее команда, так странно подобранная, предпочитающая шутки и остроты серьезному разговору; Бокль Хэддена — единственная книга на борту, которую некому было читать и тем более понимать, а единственный признак каких-то духовных интересов — кисти и карандаш Картью, с помощью которых он коротал свободные часы… и все это время они мчались навстречу страшной трагедии.

Через двадцать восемь дней после выхода из Сиднея, в канун рождества, они подошли к острову Бутаритари и всю ночь крейсировали у входа в лагуну, определяя свое положение по рыбачьим кострам на рифе и силуэтам пальм на фоне затянутого облаками неба. Когда рассвело, они подняли было сигнал, требуя лоцмана, но, очевидно, рыбаки ночью заметили их огни, потому что к ним уже приближалась лодка. Она пронеслась по лагуне, кренясь при особенно сильных порывах ветра так, что, казалось, должна была вот-вот опрокинуться, с блеском сделала поворот оверштаг, остановилась у самого их борта, и к ним на палубу поднялся изможденного вида человек в пижаме.

— Доброе утро, капитан! — сказал он. — Я было принял вас за крейсер — такие у вас высокие мачты и чистые палубы! Поздравляю вас и вашу команду с рождеством и желаю вам счастливого Нового года! — С этими словами он покачнулся и устоял на ногах только потому, что успел уцепиться за ванты.

— Да какой же вы лоцман! — воскликнул Уикс, меряя его неприязненным взглядом. — Ни за что не поверю, что вы проводили корабли через этот проход!

— А вот проводил, — возразил лоцман, — я капитан Доббс, и, когда я становлюсь к штурвалу, шкипер может отправляться в свою каюту и бриться.

— Но вы же пьяны! — воскликнул Уикс.

— Пьян? — повторил Доббс. — Мало же вы на своем веку повидали, если называете меня пьяным. Я еще только начал. Будь сейчас вечер, я бы ничего не сказал. Вечером я, точно, бываю под мухой, но пока трезвее меня не найдешь человека во всем этом океане.

— Ничего не выйдет, — сказал Уикс, — я не могу доверить вам свою шхуну.

— Ну и ладно, — ответил Доббс, — оставайтесь, где находитесь. А то попробуйте провести ее через проход сами, как капитан «Лесли». Пожалел заплатить мне двадцать долларов и утопил товару на двадцать тысяч вместе с новенькой шхуной: распорол ей все днище, так что она затонула в четыре минуты и лежит теперь на глубине в двадцать саженей со всем своим грузом.

— С каким еще грузом? — воскликнул Уикс. — И что это за «Лесли»?

— Шхуна Коуэна и Компания, из Фриско, — объяснил лоцман. — А ждали ее здесь — не могли дождаться. У нас там гамбургский барк грузится, вон его мачты, и еще два корабля должны прийти из Германии — один через месяц, а другой через три, и мистер Топлес, агент Коуэна и Компания, из-за всего этого свалился с желтухой. Да и то сказать — товаров нет,

копру, того и гляди, перехватят, а ему надо подготовить ее тысячу двести тонн. Если у вас есть копра, капитан, можете сделать хорошее дело. Топлес заплатит наличными по самой высокой цене. Вот что бывает, когда отказываются от лоцмана.

— Погодите минутку, капитан Доббс, мне надо поговорить со своим помощником, — сказал капитан, и глаза его заблестели.

— Сколько угодно, — ответил лоцман, — только угостили бы вы меня стаканчиком для поднятия бодрости. Всегда следует проявлять гостеприимство, а то у вашей шхуны будет скверная репутация.

— Поговорим об этом на досуге, — ответил Уикс и, отведя Картью в сторону, прошептал: — Тут дело пахнет большими деньгами. Мы можем двадцать лет проплавать, прежде чем нам выпадет второй такой случай. А вдруг сюда сегодня вечером придет еще один корабль и перебьет сделку? Все ведь возможно. Но, с другой стороны, можно ли довериться Доббсу? Он пьян как сапожник, а мы ведь даже не застрахованы.

— Ну, скажем, вы подниметесь с ним на мачту, и пусть он указывает фарватер, — предложил Картью. — Если он не будет слишком уклоняться от карты и не свалится в море, пожалуй, стоит рискнуть.

— В таких делах без риска не обойдешься, — ответил капитан. — Становитесь сами за штурвал и держите ухо востро. Если будут два разных распоряжения, слушайтесь меня, а не его. Кока пошлите на фок, а остальных двоих — на грот. И скажите, чтобы они не зевали.

Подозвав лоцмана, он поднялся с ним на рею, и вскоре послышалась желанная команда:

— Паруса спускать! Бросай якорь!

Таким образом, первый рейс «Богатой невесты» оказался необыкновенно удачным. Она доставила товаров на две тысячи фунтов именно туда, где они были нужнее всего, и капитан Уикс (вернее, капитан Керкап) доказал, что он умеет извлечь все выгоды из положения.

Почти два дня он сидел у Топлеса на веранде, почти два дня его компаньоны следили за ним из соседнего кабака, и еще не сгустились сумерки второго дня, как враг сдался. Уикс ввалился в «Сан-Суси» (так именовался кабак), лицо у него совсем почернело, налитые кровью глаза почти заплыли, но в них горел веселый огонек.

— Пошли ребята, — оказал он и, когда они углубились в пальмовую рощу, добавил голосом, который трудно было узнать: — У меня на руках все двадцать четыре очка (очевидно, намекая на почтенную игру в криббедж).

— Это вы о чем? — спросил Томми.

— Я продал наш груз, — ответил Уикс. — Вернее, часть его, потому что я оставил нам всю консервированную говядину, а также половину муки и сухарей. Теперь у нас хватит запасов еще на четыре месяца.

— Ого! — воскликнул Хемстед.

— За сколько вы его продали? — еле выговорил Картью, заражаясь волнением капитана.

— Дайте мне рассказать по порядку! — воскликнул Уикс, расстегивая ворот рубашки. — Если я выложу все сразу, меня удар хватит. Я ж не только продал, а еще зафрахтовался сходить во Фриско и обратно. На собственных моих условиях! Я сперва ему наврал, что мне нужна копра. Я ведь знал, что это ему придется не по нутру. И чуть он начинал спорить, я опять заговаривал о копре, и он поджимал хвост… Так что мы все получили наличными, если не считать двух небольших чеков на Фриско. На чем мы покончили? Так вот, нам это плавание, включая две тысячи кредита, обошлось пока в две тысячи семьсот с лишком. Мы все это уже вернули. За тридцать дней плавания мы успели оплатить шхуну и груз! Неплохо, а? Но это не все. Мы можем поделить между собой тысячу триста фунтов чистой прибыли. Я нагрел его на четыре тысячи!

Несколько мгновений его компаньоны тупо глядели на капитана, испытывая только недоверчивое изумление. Первым понял, что произошло, Томми.

— Эй, вы, — сказал он жестким, деловым тоном, — пошли назад в «Сан-Суси», я должен напиться.

— Мальчики, я с вами не пойду, — серьезно ответил капитан, — мне сейчас пить нельзя. Если я выпью хоть одну кружку пива, боюсь, меня удар хватит. Я и так еле на ногах держусь.

— Ну, так троекратное «ура» в честь нашего капитана! — предложил Томми.

Однако Уикс предостерегающе поднял трясущуюся руку.

— Не надо, мальчики, — сказал он, — пожалейте Топлеса: если я в таком состоянии, то с ним-то сейчас что делается! Если он услышит, как мы здесь кричим, то может ноги протянуть.

Однако Топлес отнесся к своему поражению по-хорошему, зато матросы с потерпевшего крушение «Лесли» приняли все случившееся близко к сердцу. При встрече с членами команды «Богатой невесты» они зло на них поглядывали и выкрикивали ругательства. Раза два дело чуть было не дошло до драки.

Однако такие пустяки не могли уменьшить радость компаньонов от удачной сделки. Пять дней шхуна стояла в лагуне, пока туземные работники Топлеса разгружали ее и подвозили балласт. Кроме Томми и капитана, все были совершенно свободны, и время шло, как приятный сон. Вечерами они обсуждали свою удачу, а днем бродили по узкому острову, любуясь видами.

Первого января «Богатая невеста» подняла якорь и взяла курс на Сан-Франциско. Погода обещала быть все такой же хорошей. Благодаря попутному ветру ход шхуны превзошел самые смелые ожидания, а команда была тем более счастлива, что бремя и без того небольшой работы еще уменьшилось с появлением нового члена экипажа — боцмана с «Лесли». Он поссорился со своим капитаном, успел растратить жалованье в кабаках Бутаритари и, решив, что пора сменить обстановку, предложил свои услуги капитану «Богатой невесты». Это был уроженец северной Ирландии, человек грубоватый, громогласный, не лишенный чувства юмора, очень темпераментный и к тому же отличный моряк. Однако его настроение сильно отличалось от настроения его новых товарищей. Они заключили выгодную сделку, а он потерял место; кроме того, ему очень не нравилась провизия, а состояние шхуны приводило его в ужас. В первый день плавания заело дверь одной из кают, и Мак (как они его называли), нажав на нее плечом, к своему удивлению, сорвал ее с петель.

— Господи, — сказал он, — шхуна-то совсем гнилая!

— Что правда, то правда, — отозвался капитан Уикс.

На следующий день Уикс заметил, что новый матрос стоит, задрав голову.

— Не советую глядеть на мачты, — сказал капитан, — а то недолго хлопнуться без чувств и свалиться за борт.

Мак повернулся к капитану и бросил на него растерянный взгляд.

— Да вон там фок совсем прогнил. Если стукнуть как следует кулаком, то насквозь пройдет.

— Может быть, если стукнуть лбом, так и вся голова пролезет, — сказал Уикс. — Но какой смысл смотреть на то, чего нельзя исправить?

— И зачем меня только понесло сюда?.. — задумчиво протянул Мак.

— Ну, ведь я никогда не говорил, что шхуна у нас крепкая, — ответил капитан, — я говорил только, что она кого хочешь обгонит. А кроме того, может, это место и не очень гнилое? Ну-ка, брось лот, это тебя утешит.

— Да, такого капитана, как вы, поискать, — заметил Мак.

И с этих пор он больше ничего не говорил о состоянии шхуны, за исключением тех случаев, когда Томми решал распить еще одну бутылку.

— За торговлю старьем! — говорил Мак, поднимая свой стакан.

Он часто упоминал о своей вспыльчивости. «Я человек вспыльчивый», — говорил он не без гордости.

Однако проявилась эта вспыльчивость только один раз. Он вдруг набросился на Хемстеда, свалил его с ног ударом кулака, потом поднял его на ноги и еще раз ударил, прежде чем кто-нибудь успел вмешаться.

— А ну, брось его! — рявкнул Уикс, вскакивая на ноги. — Я драк не потерплю!

Мак вежливо повернулся к капитану.

— Я просто хотел научить его хорошему тону, — объяснил он. — Он обозвал меня ирландцем.

— Ах, так? — сказал Уикс. — Ну, тогда дело другое. А ты, дурак, думай, что говоришь! У тебя не хватает силенок, чтобы так обзывать человека.

— Я его не обзывал, — огрызнулся Хемстед, брызгая слюной и кровью, — только сказал, что он ирландец.

— Хватит об этом! — отрезал Уикс.

— Но ведь вы же ирландец? — спросил Картью у Мака несколько минут спустя.

— Ну и что же? — ответил тот. — Только я никому не позволю себя так обзывать. Да вот вы, например, — щеголь-чистоплюй. Разве нет? А попробуй я назови вас так — вы разделаетесь со мной по-свойски.

Двадцать восьмого января, когда шхуна находилась на 27±20 северной широты и 177± западной долготы, неожиданно с запада задул несильный, но порывистый ветер с дождем. Капитан, обрадованный возможностью идти прямо по ветру, поставил все паруса. У штурвала стоял Томми, и, так как до смены оставалось полчаса (было половина восьмого утра), капитан решил, что сменять его не стоит.

Удары ветра были сильными, но слишком короткими, чтобы их можно было назвать шквалами. Кораблю не грозила никакая опасность, и даже за сомнительные мачты беспокоиться не приходилось. Вся команда была на палубе, ожидая завтрака. Над камбузом вился дымок, приятно пахло кофе, и у всех было хорошее настроение, потому что шхуна неслась прямо на восток со скоростью в девять узлов. И тут гнилой парус фокмачты неожиданно лопнул вдоль и поперек. Могло показаться, что гневный архангел мечом начертал на нем изображение креста. Матросы кинулись к вантам, чтобы закрепить бьющиеся обрывки паруса, но этот внезапный шум и тревога заставили Томми Хэддена потерять голову. С тех пор он много раз объяснял, как это случилось, но о его объяснениях достаточно сказать, что все они были не похожи друг на друга и ни одно нельзя счесть удовлетворительным. Как бы то ни было, гик перелетел с одного борта на другой, оборвал ванты, переломил грот-мачту примерно в трех футах над палубой и сбросил ее за борт.

Почти минуту подгнившая фок-мачта мужественно сопротивлялась напору ветра, а затем тоже полетела за борт, и, когда матросы очистили палубу, оказалось, что от всего рангоута и такелажа, благодаря которым они так весело неслись по волнам, остались два торчащих обломка.

Лишиться мачт в этих пустынных просторах, где редко ходят корабли, — значит почти наверняка погибнуть. Уж лучше кораблю сразу перевернуться и пойти ко дну — по крайней мере мучения команды будут недолгими. Но что может быть страшнее бесконечных месяцев, когда люди, прикованные к беспомощному корпусу, тщетно всматриваются в пустынный горизонт и считают шаги невидимой смерти! Единственная надежда — шлюпки. Но какая это слабая надежда!

«Богатая невеста» осталась без мачт и парусов в тысяче миль от ближайшей суши — Гавайских островов. И людей, решивших добираться туда на шлюпке, ожидали всяческие невзгоды, а быть может, смерть или потеря рассудка…

Завтракать село очень унылое общество. Но капитан поспешил подбодрить всех улыбкой.

— Ну, вот что, ребята, — сказал он, допивая кружку горячего кофе. — На «Богатую невесту» нам больше рассчитывать нечего. Хорошо одно: мы успели выжать из нее все, что могли, и выжали немало. Теперь, если мы снова решим заняться торговлей, то сможем приискать хорошее суденышко. И еще одно: у нас есть прекрасный крепкий вельбот, и вы знаете, кому вы этим обязаны. Нам надо спасти шесть человек и неплохие деньжата. Вопрос в том, куда нам направиться.

— До Гаваев не меньше двух тысяч миль, по-моему, — заметил Мак.

— Пожалуй, будет поменьше, — возразил капитан. — Хотя… тоже немало — тысяча с лишком.

— Я знавал человека, который однажды проплыл полторы тысячи миль в шлюпке и был этим сыт по горло. Он добрался до Маркизских островов и с тех пор отказывался взойти на корабль или в лодку, — говорил, что скорее застрелится.

— Бывает, — отозвался Уикс. — Я слышал, как одна шлюпка доплыла до Гавайских островов примерно с того же места, где мы сейчас находимся. Когда они завидели сушу, то словно все с ума посходили. Там как раз рифы и такой прибой, что никакая шлюпка пройти не может. И канаки им кричали со своих рыбачьих лодок, что там не пройти, а они знай себе правят к берегу, в самую-то эту кашу. Ну, и все утонули, кроме одного. Нет уж, господь избавь от плавания на шлюпках! — угрюмо закончил капитан.

Этот тон был так не похож на его обычную бодрость, что Картью сказал:

— Знаете, капитан, вы что-то другое задумали. Нука, выкладывайте.

— И то правда, — признался Уикс. — Понимаете, здесь повсюду разбросаны маленькие коралловые острова, вроде как оспины на карте. Ну, так я подчитал о них в справочнике, и вот что оказывается: мы сейчас в сорока милях от острова Мидуэй, или по-другому он называется «Брукс». А там расположена угольная станция Тихоокеанской почтовой компании.

— Ничего там такого нет, — сказал Мак. — Я ведь служил на почтовых пароходах.

— Ну ладно, — ответил Уикс, — вот тебе справочник. Прочти-ка, что говорит Хойт. Вслух читай, чтобы все слышали.

Как известно читателю, ложные сведения, приводимые Хойтом, звучали очень убедительно. Всякое недоверие рассеялось, и сердца команды преисполнились надежды. Все уже мысленно видели, как их вельбот подходит к красивому островку, где виднеется пристань, угольные склады, сады и белый домик смотрителя, над которым развевается американский флаг. Там они проведут несколько спокойных недель, а потом отправятся на родину на почтовом пароходе, романтично избежав гибели в морских волнах и в то же время сохранив все свои деньги, так что домой они поплывут в каютах первого класса. Завтрак, начавшийся столь уныло, закончился почти весело, и все немедленно принялись готовить вельбот.

Тали были снесены за борт вместе с мачтами, и спустить вельбот на воду оказалось делом нелегким. Сперва в него были сложены необходимые припасы, в частности деньги в металлическом сундучке, который был крепко привязан к задней скамье на случай, если вельбот перевернется. Затем они спилили кусок фальшборта до самой палубы, прикрепили вельбот к обломкам мачт и благополучно спустили его на воду. Чтобы оказаться в надежном убежище, предстояло проплыть сорок миль. Для этого не требовалось большого количества припасов и воды, но и того и другого они взяли в избытке. Амалу и Мак, — старые моряки, захватили свои сундучки, в которых хранилось все нажитое ими имущество. Кроме того, в вельбот было спущено еще два сундучка с одеялами и плащами для остальных. Хэдден под

взрыв рукоплесканий спустил туда последний ящик хереса, капитан взял корабельный журнал, инструменты и хронометр, а Хемстед не забыл захватить банджо и узелок с раковинами из Бутаритари.

Они отчалили примерно в три часа дня и, поскольку ветер все еще дул с запада, взялись за весла.

— Ну, мы тебя хорошо выпотрошили, — сказал капитан, кивая на прощание останкам «Богатой невесты», которые вскоре исчезли в синей дымке моря.

К вечеру пошел проливной дождь, и команде пришлось есть и спать под ревущими потоками воды.

Однако на другой день задул хороший, ровный пассат. Они поставили парус и в четыре часа уже подошли к внешней стороне рифа острова Мидуэй. Капитан стоял на носу и, держась за мачту, внимательно рассматривал остров в бинокль.

— Ну и где же ваша станция? — воскликнул Мак.

— Что-то я ее не вижу, — отозвался капитан.

— И не увидите, — отрезал Мак голосом, в котором торжество смешивалось с отчаянием.

Скоро ни у кого не осталось сомнений: в лагуне не было ни буев, ни маяков, ни сигнальных огней, ни угольных складов, ни домика смотрителя. На маленьком островке, к которому они пристали, единственными следами человека были обломки разбитых кораблей, а единственным звуком — неумолчный гул прибоя. Не было даже морских птиц, с которыми пришлось воевать команде «Норы Крейн», — в это время года они носились над просторами океана, и только валявшиеся повсюду перья и скорлупа высиженных яиц говорили о том, что они здесь гнездятся.

Так вот ради чего они всю ночь не разгибаясь работали тяжелыми веслами, с каждым часом удаляясь от пути, который мог привести к спасению! Даже лишенная мачт шхуна была все-таки созданием человеческих рук, каким-то кусочком дома, а островок, на который они ее променяли, оказался бесплодной пустыней, где их ждала медленная голодная смерть. Весь день до сумерек они пролежали на песке, не разговаривая, даже забыв о еде, — лживая книга завлекла их в ловушку, лишила богатства и смысла жизни.

После первой катастрофы все были настолько великодушны, что ее виновнику, Хэддену, не пришлось выслушать ни одного упрека. Новый удар перенести оказалось труднее, и на капитана было брошено много злобных и сердитых взглядов.

Однако именно он пробудил их от этой апатии. Они угрюмо подчинились его команде, вытащили вельбот повыше на берег, куда не доставал прилив, и пошли вслед за капитаном на самую высокую точку жалкого островка, откуда был виден весь горизонт; небо на востоке было уже совсем черным, но на западе еще багровел последний отблеск заката.

Тут они из весел и паруса соорудили себе палатку, и Амалу, не дожидаясь распоряжений, развел костер и приготовил ужин. Прежде чем он был готов, наступила ночь, и над их головами засверкали звезды и серебристый серп молодого месяца. Вокруг них простиралось холодное море, блики от огня ложились на их лица. Томми достал бутылку хереса, но прошло еще много времени, прежде чем завязался разговор.

— Так, значит, мы все-таки будем добираться до Гаваев? — неожиданно спросил Мак.

— С меня хватит, — заметил Томми, — давайте останемся тут.

— Я вам одно могу сказать, — продолжал Мак, — когда я служил на почтовом пароходе, мы как-то раз заходили на этот остров. Он лежит на пути кораблей, идущих из Китая в Гонолулу.

— Да неужто? — воскликнул Картью. — Значит, вопрос решен. Останемся на острове и будем жечь костер, благо обломков здесь много.

— Разве это поможет? — возразил Хемстед. — Такой костер издали не увидишь.

— Ну нет, — заметил Картью, — оглянитесь-ка.

Они послушались и увидели простиравшееся в ночном сумраке бесконечное водное пространство и звезды над головой. Людей охватило чувство бесконечного одиночества. Им начало казаться, что они видны из Китая с одной стороны и из Калифорнии — с другой.

— Вот жуть! — прошептал Хемстед.

— Ну все лучше, чем вельбот, — сказал Хэдден. — Я вельботом сыт по горло.

— А я просто подумать не могу о наших деньгах! — вдруг заговорил капитан. — Такое богатство — четыре тысячи фунтов — и досталось нам без всякого труда, а толку от него, как от прошлогоднего снега.

— Знаете что? — перебил Томми. — Надо бы перенести их сюда. Мне не нравится, что они так далеко от нас.

— Да кто их возьмет? — воскликнул Мак, холодно усмехнувшись.

Но компаньоны придерживались другого мнения и, отправившись к вельботу, скоро вернулись с драгоценным сундучком, подвешенным к двум веслам, и поставили его у костра.

— Вот он, красавчик мой! — воскликнул Уикс, наклоняя голову и устремляя на сундучок восторженный взгляд. — Это лучше всякого костра. В нем почти две тысячи фунтов банкнотами, чуть ли не сорок фунтов чеканного золота и впятеро больше серебра. Да ведь к нам сюда скоро явится целый флот. Или, по-вашему, золото не окажет влияния на компас? Или, по-вашему, дозорный просто не учует его?

Мак, не имевший никакого отношения ни к банкнотам, ни к золоту, ни к серебру, нетерпеливо выслушал эту речь до конца и зло засмеялся.

— Погодите, — сказал он грубо. — Прежде чем нас заметит какой-нибудь корабль, вам еще придется бросить эти банкноты в огонь, когда кончится другое топливо! — С этими словами он отошел от костра и, повернувшись спиной к остальным, стал смотреть на море.

Компаньоны, настроение которых немножко улучшилось после обеда и возни с сундучком, теперь опять помрачнели. Воцарилось тяжелое молчание, и Хемстед, как обычно по вечерам, начал тихонько наигрывать на банджо сентиментальную песенку.

— «Будь он самый-самый скромный, лучше дома места нет…» — пел он. Последняя нота еще не успела замереть у него на губах, как вдруг инструмент был вырван из его рук и брошен в костер. Вскрикнув, он повернулся и увидел перед собой искаженное яростью лицо Мака.

— Этого я не потерплю! — крикнул капитан, вскакивая на ноги.

— Я же вам говорил, что я человек вспыльчивый, — сказал Мак виноватым тоном, который как-то не вязался с его характером, — так почему он с этим не считается? Нам ведь и без того не сладко приходится!

Ко всеобщему изумлению и смущению, он вдруг всхлипнул.

— Я сам себе противен, — сказал затем Мак, немного успокоившись, — и прошу у вас всех прощения за мою вспыльчивость, а особенно у коротышки. И вот ему моя рука, если он согласится ее пожать.

После этой сцены, где ярость так странно сочеталась с сентиментальностью, у всех осталось странное и неприятное ощущение. Правда, все скорее обрадовались, когда оборвалась эта чересчур уж неуместная песня, а извинение Мака сильно подняло его в глазах остальных. Однако эта, пусть мимолетная, ссора на диком, пустынном островке заставила всех с ужасом подумать о том, что может таить в себе будущее.

Было решено по очереди дежурить у костра, чтобы случайно не пропустить идущего мимо корабля, и Томми, которому в голову пришла одна мысль, предложил дежурить первым. Его товарищи забрались под натянутый на весла парус и скоро уже погрузились в сон, который успокаивает тревоги и ускоряет бег времени. Едва к шуму прибоя стал примешиваться

многоголосый храп, как Томми тихонько ушел со своего поста, захватив ящик с хересом, и утопил его в тихой бухточке глубиной около сажени.

Однако бурная смена настроений Мака не имела никакого отношения к вину — просто таков уж был его характер. Никто не мог сказать заранее, на какой подвиг или на какое преступление окажется способным этот ирландец.

Около двух часов ночи звездное небо затянули тучи, и хлынул дождь, который лил не переставая три дня. Островок превратился в губку, его невольные обитатели промокли до костей, а все кругом затянулось сеткой дождя, настолько густой, что не было видно даже кольцевого рифа. Костер скоро погас; тщетно изведя две коробки спичек, они решили не разжигать его, пока не пройдет ненастье, и три дня питались всухомятку холодными консервами и черствым хлебом. Второго февраля на рассвете ветер разогнал тучи, засияло солнце, и потерпевшие крушение снова разожгли костер и принялись пить обжигающий кофе с животной жадностью людей, давно лишенных горячей пищи.

День за днем проходили в тягучем однообразии.

Они поддерживали костер днем и ночью — дежурный занимался им все время, а остальные около часа в день собирали топливо. Утром и вечером все купались в лагуне — это было их плавное и почти единственное удовольствие. Часто они удили рыбу, и улов бывал неплохим. А все остальное время они бездельничали, бродили по островку, рассказывали разные истории и спорили.

Сначала они пытались установить расписание почтовых пароходов, заходящих в Гонолулу, но это было быстро оставлено. Хотя все безмолвно согласились не предпринимать рискованного плавания в вельботе и ждать здесь спасения или голодной смерти, ни у кого не хватало духу не только заговорить об этом вслух, но даже подумать. Однако тайный ужас ни на минуту не оставлял их, и в минуту молчания их взгляды то и дело обращались к горизонту. И тогда, стремясь как-то отвлечься, они спешили заговорить о чем-нибудь другом. А о чем было говорить на этом пустынном островке, кроме сундучка с их сокровищем?

Присутствие этого сундучка с банкнотами, золотом и серебром было главной особенностью их островной жизни — он господствовал над их мыслями, как собор над средневековым городом. А кроме того, нужно было точно установить долю каждого, и это помогало коротать часы безделья. Две тысячи надо было возвратить сиднейской фирме, предоставившей им кредит. Оставшиеся деньги надо было разделить на шесть частей, в зависимости от затраченных капиталов и суммы причитающегося жалованья. Каждый вложенный в дело фунт считался «паем». Таким образом, Томми имел пятьсот десять паев, Картью — сто семьдесят, Уикс — сто сорок, а Хемстед и Амалу — по десяти. Всего набиралось восемьсот сорок паев. Чего же стоил пай? После долгих споров и ошибочных вычислений его примерная стоимость была установлена в два фунта семь шиллингов и семь с четвертью пенсов. Эти цифры были явно неточны, так как общая сумма паев при такой оценке равнялась не двум тысячам фунтов, а тысяче девятистам девяноста шести фунтам шести шиллингам. Таким образом, три фунта четырнадцать шиллингов оказывались нераспределенными. Но точнее установить размер пая им никак не удавалось, и пока остановились на этом.

Уикс вложил сто фунтов и должен был получить капитанское жалованье за два месяца. Его доля равнялась тремстам тридцати трем фунтам трем шиллингам шести с тремя четвертями пенсам. Картью вложил сто пятьдесят фунтов. Ему предстояло получить четыреста один фунт восемнадцать шиллингов шесть с половиной пенсов. Пятьсот фунтов Томми превратились в тысячу двести тринадцать фунтов, в двенадцать шиллингов девять и три четверти пенса. А Амалу и Хемстеду, имевшим право только на жалованье, причиталось по двадцать два фунта шестнадцать шиллингов и полпенса каждому.

После всех этих разговоров им, разумеется, захотелось открыть сундучок, чтобы посмотреть, как выглядит доля каждого в звонкой монете. Но, когда началась настоящая

дележка, выяснилось, что мелких денег у них почти нет. В конце концов они решили разделить только фунты, а шиллинги и пенсы сложить в общий фонд. Таким образом, вместе с неделящимися тремя фунтами четырнадцатью шиллингами образовался излишек в семь фунтов один шиллинг.

— Вот что, — сказал Уикс, — Картью, Томми и я возьмем по одному фунту, Хемстед и Амалу возьмут по два и разыграют оставшийся шиллинг в орлянку.

— Ерунда, — заметил Картью, — нам с Томми и так некуда девать деньги. Мы с ним возьмем по полфунта, а вы трое разделите между собой остальные сорок шиллингов.

— Ну что тут делить! — вмешался Мак. — У меня с собой есть карты. Возьмите да сыграйте на излишек.

Людям, томившимся от безделья, такое предложение понравилось. Маку, как собственнику карт, тоже была разрешена ставка, и после пяти партий в криббедж он выиграл весь излишек.

Быстро пообедав, они снова сели за карты, и игра, начавшаяся 9 февраля, почти не прерывалась до вечера 10-го. Они даже ели наспех. И только Томми однажды исчез довольно надолго, а потом вернулся весь мокрый, волоча по песку ящик с хересом. Наступила темнота, и они придвинулись ближе к костру. Часов около двух ночи Картью, который спасовал, поднял голову от карт и посмотрел по сторонам. Он увидел лунную дорожку на воде, деньги, сложенные и рассыпанные по песку, озабоченные лица игроков. Он ощутил в своем сердце знакомое волнение, ему показалось, что он слышит музыку, что луна сияет не над тем морем, что рядом светятся окна казино и деньги звенят на зеленом сукне. «Боже великий! — подумал он. — Я опять стал игроком!» Он с большим любопытством оглядел песчаный стол. Он и Мак играли рискованно и выигрывали — рядом с ними лежали кучки золота и серебра. Амалу и Хемстед тоже были в небольшом выигрыше, но Томми спустил значительную часть своего капитала, а у капитана оставалось не больше пятидесяти фунтов.

— Давайте бросим, — сказал Картью.

— Дайте-ка ему стаканчик Бокля, — отозвался кто-то.

Была откупорена новая бутылка, и игра неумолимо продолжалась.

Картью выиграл слишком много, чтобы бросить карты, и до конца ночи был вынужден принимать участие в общем безумии — он старался проиграть нарочно, но в результате только выигрывал больше, как это нередко бывает. На заре 11 февраля он почувствовал, что больше так продолжаться не может. Ставки все росли, и капитан уже поставил свои последние двенадцать фунтов. Картью был банкометом. Заглянув в свои карты, он увидел, что сдал себе беспроигрышную комбинацию.

— Вот что, — сказал он громко, — зря мы затеяли эту игру, и пора кончать.

С этими словами он показал им свои карты, потом разорвал их на мелкие клочья и встал на ноги. Остальные тоже вскочили, растерявшись от удивления. Но Мак благородно поддержал его.

— И правда, пора кончать, — заявил он. — Но, конечно, игра шла в шутку, и вот мои фишки. Возвращаем фишки, ребята. — И он начал укладывать выигранные деньги в сундучок, который стоял рядом с ним.

Картью горячо пожал ему руку.

— Я этого никогда не забуду! — сказал он.

— А что вы будете делать с гавайцем и коротышкой? — спросил Мак шепотом. — Они ведь тоже выиграли.

— Правильно! — сказал Картью громко. — Амалу и Хемстед, сосчитайте свой выигрыш. Заплатим мы с Томми.

Так и было сделано. Амалу и Хемстед были рады получить свой выигрыш — все равно от кого, Томми же, проигравший около пятисот фунтов, пришел в восторг от такого компромиссного решения.

— А как же Мак? — спросил Хемстед. — Он что же, ничего не получит из своего выигрыша?

— Вот что, коротышка, — сказал ирландец. — Я знаю, что ты говоришь от чистого сердца, но лучше держи язык за зубами, потому что я не такой человек. Играли мы в шутку — по крайней мере я так думал, — а подарков я ни от кого не беру. Так и запомни.

— Мак, вы благородный человек! — сказал Картью, помогая ему сложить его выигрыш назад в сундук.

— Еще чего, сэр! Просто пьяница матрос, — ответил Мак.

Капитан, который все это время сидел, опустив голову на руки, вдруг поднялся, пошатываясь, словно после бессонной ночи. Но тут его лицо сразу изменилось, и он громовым голосом воскликнул:

— Корабль!

Все обернулись на его крик: озаренный лучами утреннего солнца к острову Мидуэй шел бриг «Летящий по ветру» из Гулля.

ГЛАВА XXIV
ЖЕСТКОЕ УСЛОВИЕ

Корабль, который увидела команда «Богатой невесты», был трампом, перевозившим случайные грузы из порта в порт. Он покинул Лондон два года назад, обогнул мыс Доброй Надежды, побывал в Индии и на Малайском архипелаге, а теперь направлялся в Сан-Франциско в надежде найти там подходящий фрахт и вернуться в Англию, обогнув мыс Горн. Капитаном его был некий Джейкоб Трент. Лет за пять до описываемых событий он решил оставить море, поселился в загородном коттедже, возделывал капустный огород, обзавелся бричкой и открыл, как он выражался, «банк». Однако название это не соответствовало сущности предприятия. Лица, желающие взять ссуду, должны были приобрести картину, статуэтку или какую-нибудь домашнюю утварь в лавочке и оставить в залог голову сахара или штуку сукна; а по субботам управляющий имел обыкновение объезжать в бричке своих клиентов и забирать у них проценты натурой, так как все это были мелочные торговцы. Такая деятельность отвечала вкусам человека, привыкшего к жизни на открытом воздухе и наделенного душою крысы. Однако неожиданные убытки, судебный процесс и неприятные замечания тупицы судьи в его адрес внушили капитану Тренту отвращение к его новому делу. Мне чрезвычайно повезло — в старой газете я наткнулся на отчет о судебном разбирательстве по иску Льялла против «Кардиффской банковской компании взаимного обеспечения». «Признаюсь, я не в состоянии понять, в чем заключалась деятельность этой компании», — сказал судья, а потом, когда Трент кончил давать показания, добавил: «Они наименовали это банком, но, на мой взгляд, речь идет о тайной лавке закладчика». Заключил же он свою речь следующим грозным предостережением: «Мистер Трент, я обязан вас предупредить: будьте очень осторожны, не то мы с вами вновь увидимся здесь». За одну неделю капитан покончил с банковскими делами, продал коттедж, огород и бричку и снова отправился в море на «Летящем по ветру». Плавание проходило удачно, судовладельцы были им довольны, однако капитана не покидала мысль о недавнем величии, и он любил повторять, что хоть он и простой моряк, но одно время был банкиром.

Старший помощник Элиас Годдедааль был великаном-викингом, сильным, исполнительным, сентиментальным, и страстно любил музыку. Он постоянно напевал шведские песни, почти всегда в минорном ключе. Он как-то заплатил девять долларов, чтобы послушать Патти, а чтобы услышать Нильсен, дезертировал с корабля, потеряв таким образом двухмесячное жалованье. Если предоставлялся случай попасть на хороший концерт, он готов

был пройти ради этого десять миль и семь — ради хорошего спектакля. Даже на борту корабля он не расставался с тремя сокровищами: канарейкой, концертино и собранием сочинений Шекспира в одном томе. Он обладал присущим скандинавам даром заводить друзей с первого взгляда — врожденная наивность делала его очень симпатичным. Это был рыцарь без страха и упрека, без денег и надежды когда-нибудь ими обзавестись.

Вторым помощником был Холдорсен, который тоже помещался на корме, но ел обычно с командой.

Из матросов только об одном сохранились живые подробности — о Брауне, старшем матросе из Клайда. Это был невысокий, коренастый брюнет, чрезвычайно кроткий и безобидный; неизлечимая страсть к спиртным напиткам превратила его в морского бродягу. «Одна беда — не могу я не пить, — объяснил он впоследствии в разговоре с Картью. — А я ведь из очень хорошей семьи». Письмо, которое, как, может быть, помнит читатель, столь сильно подействовало на Нейрса, было адресовано именно Брауну.

Такова была команда корабля, увидев который потерпевшие крушение обезумели от радости. При мысли о близком спасении они потеряли всякую власть над собой. Руки их тряслись, глаза сияли, они смеялись и кричали, как дети, собирая свои вещи. Однако Уикс немного охладил их восторг.

— Полегче, ребята, — сказал он. — Мы отправляемся на корабль, о котором ничего не знаем. У нас с собой сундучок с золотом, и этого никак не скроешь — слишком тяжел. А вдруг это какие-нибудь пираты вроде Забияки Хейса? Мой совет — проверить, в порядке ли наши пистолеты.

У всех них, кроме Хемстеда, были пистолеты и револьверы, которые они сейчас поспешили зарядить и положить в карманы. Сборы были закончены столь же радостно, и, спустив вельбот на воду, они начали изо всех сил грести к выходу из лагуны, к которому уже приближался бриг.

Дул свежий ветер, и за рифом было довольно сильное волнение. Брызги пены били в лица гребцов. Они увидели английский флаг, развевающийся по ветру, команду, столпившуюся у борта китайца-кока в дверях камбуза, а на юте — капитана в тропическом шлеме и с биноклем в руках. Каждый удар весла приближал их к прежней жизни, к надежному убежищу, и радость их не знала предела. Уикс первым поймал брошенный ему конец, и десяток дружеских рук помог ему взобраться на борт.

— Капитан, сэр, если не ошибаюсь? — сказал он, обращаясь к суровому старику в тропическом шлеме.

— Капитан Трент, сэр, — ответил тот.

— А я капитан Керкап. Мы с сиднейской шхуны «Богатая невеста», потерявшей мачты в открытом море двадцать восьмого января.

— Прекрасно, — сказал Трент. — Теперь вы можете ничего не опасаться. Вам повезло, что я увидел ваш сигнал. Я ведь даже не знал, что нахожусь так близко к этому мерзкому островку, — наверное, здесь есть югозападное течение; когда я сегодня утром поднялся на палубу, мне было показалось, что за горизонтом горит корабль.

На вельботе было условлено, что Уикс поднимется первым и выяснит обстановку, а остальные займутся сундучком. Теперь им сбросили канат, к которому они крепко привязали свое сокровище и подали команду тянуть. Но неожиданная тяжесть оказалась не под силу одному человеку, и ему на подмогу бросились еще два матроса. Эта суматоха привлекла внимание Трента.

— Отставить подъем! — крикнул он резко и затем повернулся к Уиксу: — Что у вас там? Мне еще не приходилось видеть таких тяжелых сундучков.

— Это деньги, — сказал Уикс, — золотые монеты.

Трент внимательно посмотрел на него.

— Спустите-ка этот сундучок назад в вельбот, мистер Годдедааль, и не поднимайте вельбота, а возьмите его на бакштов.

— Есть, сэр! — ответил Годдедааль.

— Что случилось? — спросил Уикс.

— Да ничего особенного, — ответил Трент, — только согласитесь сами, не так-то часто посреди океана попадаются лодки с сундуками, полными золота, и с вооруженной командой. — Тут он указал на оттопыренный карман Уикса. — Ваш вельбот постоит за кормой, а вы спуститесь со мной в каюту и все мне объясните.

— Ну, это легко, — ответил Уикс. — Мой журнал и документы в полном порядке. — И, крикнув своим товарищам, чтобы они спокойно ждали, он спустился вслед за капитаном Трентом в каюту.

— Сюда, капитан Керкап, — сказал тот, — и не обижайтесь за эти предосторожности — после этих китайских рек нервы всегда сдают. Я просто хочу убедиться, что вы тот, за кого себя выдаете. Это моя обязанность, сэр, и вы сами на моем месте поступили бы точно так же. И, кроме того, я ведь не всегда был капитаном, я был банкиром, а это тоже приучает к осторожности.

Тут Трент с суховатым гостеприимством поставил на стол бутылку джина, и они выпили за здоровье друг друга. Затем Трент просмотрел корабельные документы и с большим интересом выслушал рассказ о Топлесе и утонувших товарах. Все его подозрения рассеялись. Но вскоре он погрузился в глубокую задумчивость и несколько минут просидел неподвижно, барабаня пальцами по столу.

— Что-нибудь еще? — спросил Уикс.

— Эта лагуна подходит для стоянки? — неожиданно спросил Трент, словно Уикс нажал на какую-то кнопку.

— Вполне, — ответил Уикс. — Есть несколько мелей, но ничего опасного.

— Я думаю зайти туда, — заметил Трент. — В Гонконге я поставил новый такелаж, и его надо подтянуть, а то я побаиваюсь за мачты. Я думаю, за один день мы управимся. Вы, наверное, поможете нам привести его в порядок?

— Еще бы! — сказал Уикс.

— Значит, договорились, — закончил Трент. — Потрать минуту — сбережешь час.

Они вернулись на падубу. Уикс сообщил своим товарищам о намерении капитана Трента. На бриге был поднят форбрамсель, и «Летящий по ветру», ведя на буксире вельбот, быстро прошел по узкому проходу и еще до восьми часов бросил якорь у островка Мидл-Брукс. Команда «Богатой невесты» поднялась на борт, и, после того как они позавтракали, а их вещи были перенесены из вельбота и сложены на шкафуте, началась проверка такелажа. Работа продолжалась весь день, и команды обоих кораблей соревновались между собой в рвении и сноровке.

Обед был подан на палубе: офицерам — на корме, а матросам — на носу. Трент, казалось, был в превосходном настроении: он распорядился, чтобы команде выдали грогу, угостил офицеров вином и сообщил гостям множество подробностей о своей финансовой деятельности в Кардиффе. Он сорок лет провел на море, пять раз терпел крушение, девять месяцев просидел в темнице какого-то малайского раджи, не раз вступал в схватки с береговыми пиратами, но все это казалось ему скучным и неинтересным, и гордился он только одним: своей карьерой ростовщика в трущобах приморского города.

Это был тяжелый день для команды «Богатой невесты». Бессонные ночи и тревоги предыдущей недели совсем их измучили, и только нервное возбуждение давало им силы работать. Когда Трент наконец был удовлетворен состоянием своего такелажа, они с

нетерпением стали ждать приказа выйти в море. Но капитан, казалось, не торопился. Некоторое время он прогуливался по палубе, погруженный в свои мысли, а затем спросил у Уикса:

— У вас ведь что-то вроде торговой компании, капитан Керкап?

— Да, у нас предприятие на паях, — ответил тот.

— Тогда, с вашего разрешения, я приглашу вас всех к себе в каюту выпить чаю, — сказал Трент.

Уикс удивился, но, разумеется, ничего не сказал, и вскоре шестеро потерпевших кораблекрушение уже сидели рядом с Трентом и Годдедаалем за столом, уставленным тарелками и банками с мармеладом, маслом, жареным хлебом, консервированным языком и чашками с горячим чаем. Еда была не особенно вкусная, и я не сомневаюсь, что Нейрс отозвался бы о ней очень язвительно, но изголодавшимся морякам с «Богатой невесты» она казалась вкуснее самых изысканных яств. Годдедааль усердно их потчевал, но Трент, как они впоследствии вспомнили, оказался совсем нелюбезным хозяином и, углубившись в какие-то мысли, словно забыл о присутствии своих гостей. Через некоторое время он приказал коку уйти и, обратившись к сидевшим за столом, сказал:

— Если не ошибаюсь, господа, у вас компания на паях, и вот почему я вас всех сюда пригласил. Мне надо кое-что вам объяснить. Вы сами видите, что мой бриг — корабль хороший и что матросов я кормлю хорошо.

Послышались одобрительные возгласы, но всем было интересно узнать, что последует дальше, и никто ничего внятного не сказал.

— Ну, — продолжал Трент, катая хлебные шарики и глядя в стол, — я, конечно, рад помочь вам добраться до Фриско. Моряк должен помогать моряку — вот мой девиз. Но уж так повелось в мире, что за все надо платить. Я не хочу из-за своей доброты терпеть убытки, — добавил он с невеселым смешком.

— Ну, конечно, капитан, — сказал Уикс.

— Мы, разумеется, заплатим сколько следует, — за — метил Картью.

При этих словах Годдедаль тронул его за локоть, и оба помощника обменялись многозначительным взглядом. За этот короткий безмолвный миг характер капитана Трента был объяснен и понят.

— «Сколько следует»… — повторил капитан Трент. Я этого ждал. Но сколько и за что следует — здесь решаю я. Если вы собираетесь взять ссуду, вам придется выплатить… — Он быстро поправился: — Если вы хотите, чтобы я вас отвез во Фриско, вам надо будет уплатить мою цену. Так ведь делаются дела, не правда ли? Вы мне не нужны. Это я вам нужен.

— Ну хорошо, сэр, — заметил Картью, — так сколько же вы хотите?

Капитан продолжал катать хлебные шарики.

— Когда вы взяли за горло этого торговца на островах Гилберта, — сказал он, — вы использовали выгоды своего положения. А теперь моя очередь. Вы же не пожалели этого торговца! — воскликнул он с неожиданной злостью, но тут же опять холодно хихикнул. — Хотя я вас за это не виню: в любви и в делах все позволено.

— Итак, сэр? — спросил Картью мрачно.

— Это мой корабль, я думаю, — сказал тот резко.

— Я тоже так думаю, — вставил Мак.

— Я говорю, что это мой корабль, сэр! — рявкнул Трент, словно раззадоривая себя. — И, будь я похож на вас, я забрал бы все ваши деньги до последнего гроша. Но две тысячи фунтов из четырех принадлежат не вам, а я человек честный. Вы отдадите мне две тысячи, которые

принадлежат вам, а я отвезу вас всех во Фриско и там выдам каждому пятнадцать фунтов на руки, а капитану — целых двадцать пять.

Годдедааль опустил голову на руки, словно ему было невыносимо стыдно.

— Вы шутите! — воскликнул Уикс, побагровев.

— Шучу? — переспросил Трент. — Как угодно. Вас никто не заставляет. Бриг принадлежит мне, но остров Брукс — нет. И ваше право — сидеть там до самой смерти. Мне это все равно.

— Да весь ваш проклятый бриг не стоит двух тысяч фунтов! — крикнул Уикс.

— Меньше я не возьму, — возразил Трент.

— И у вас хватит духу высадить нас на этот островок умирать голодной смертью? — воскликнул Томми.

Капитан рассмеялся в третий раз.

— Голодной смертью? — переспросил он. — Это опять как вам будет угодно. А я готов продать вам любую провизию. Только по своей цене.

— Прошу прощения, сэр, — перебил Мак, — но у меня положение особое. Я отрабатывал свой проезд и не имею доли в двух тысячах фунтов, а в кармане у меня нет ни гроша. Так что же вы мне скажете?

— Я человек добрый, — ответил Трент. — Какая мне разница? Я захвачу вас вместе с остальными, только, разумеется, пятнадцати фунтов вы не получите.

От такой наглости у всех даже дух захватило. Годдедааль поднял голову и с негодованием посмотрел на своего капитана, а Мак побелел как полотно.

— И вы еще себя называете моряком! — крикнул он. — Черт бы вас побрал!

— Еще одно слово — и я закую тебя в кандалы! — рявкнул Трент, обрадовавшись, что ему возражают.

— Так я и дался! — отрезал Мак. — А мы еще налаживали этот проклятый такелаж! Я сейчас научу тебя вежливости, старый боров.

Он произнес эту угрозу совсем тихо, и никто из присутствующих, в том числе и сам Трент, не ожидал того, что последовало… Ирландец выхватил руку из кармана, и в воздухе просвистел нож, угодивший Тренту, который повернулся было, чтобы встать из-за стола, прямо в сонную артерию. Капитан упал головой на стол, и по скатерти расползлось алое пятно.

Внезапность нападения и катастрофы, мгновенный переход от мира к войне и от жизни к смерти заставили всех окаменеть. Секунду они продолжали сидеть, не сводя взгляда с неподвижного тела и обагренного кровью стола. Затем Годдедааль вскочил на ноги, схватил свой табурет и поднял его над головой — он весь преобразился, и из его груди вырвался такой рев, что остальные были оглушены. Моряки с «Богатой невесты» и не думали сопротивляться, никто не выхватил оружия — съежившись, они беспомощно смотрели на обезумевшего шведа. Его первый удар свалил Мака на пол со сломанной рукой. Вторым он размозжил голову Хемстеда. Он переводил взгляд с одного на другого, угрожая, трубя, точно раненый слон, упиваясь своей яростью. Но этим боевым пылом не руководил рассудок, и, вместо того чтобы завершить свою победу, Годдедааль обрушил град ударов на труп Хемстеда, так что табурет разлетелся в щепы. Это надругательство над мертвым вывело Картью из оцепенения и предало его во власть инстинктов: он выхватил револьвер и выстрелил, еще не понимая, что делает. Вслед за грохотом выстрела раздался вопль боли, гигант покачнулся, зашатался и упал на тело своей жертвы.

Наступившую тишину нарушил топот ног на палубе — вот шаги прогремели по трапу, и в каюту заглянуло лицо Холдорсена. Картью разнес это лицо следующим же выстрелом: он был прекрасным стрелком.

— Вперед! — скомандовал он и ринулся вон из каюты, а за ним Уикс, Томми и Амалу. Наступая на труп Холдорсена, они поднялись по трапу и выбрались на палубу, озаренную тусклым огнем кровавого заката. Они не превосходили противника численностью, но матросы «Летящего по ветру» не думали о сопротивлении и бросились к люку кубрика. Первым бежал Браун, он успел спрыгнуть вниз целым и невредимым; китаец последовал за ним головой вперед, получив пулю в бок, а остальные двое полезли на мачты.

Уиксом и Картью овладело свирепое хладнокровие, это второе дыхание боя. Поставив Томми у фока, а Амалу у грота следить за мачтами и парусами, сами они прошли на шкафут и, высыпав на палубу коробку патронов, принялись перезаряжать револьверы. Бедняги, цеплявшиеся за ванты, кричали, просили пощады. Но пощады быть уже не могло: пригубленную чашу предстояло осушить до дна. Убитых было слишком много, и убить предстояло всех. Смеркалось, дешевые револьверы давали осечки и били очень неточно, вопящие жертвы прижимались к мачтам и реям, прятались за парусами. Гнусная бойня продолжалась долго, но, наконец, все было кончено. Лондонец Харди был подстрелен на форбом-брам-рее, и его труп, покачиваясь, висел на гитовах. Второй матрос, Уоллен, прятался на салинге грот-мачты, и пуля раздробила ему челюсть; забыв об осторожности, он долго и надрывно кричал, пока вторая пуля не сбросила его на палубу.

Все это было достаточно страшно, но худшее предстояло впереди. Браун еще прятался в кубрике. Томми вдруг разразился рыданиями и начал просить, чтобы Брауна пощадили.

— Один человек не может нам повредить, — твердил он, всхлипывая. — Не надо больше! Я говорил с ним за обедом. Он хороший малый и совсем безобидный. Нельзя этого делать! У кого хватит духу спуститься туда и убить его? Это же зверство!

Возможно, его мольбы доносились и до бедняги в трюме.

— Если останется хоть один, мы все повиснем, — ответил Уикс. — Браун должен пойти той же дорогой.

Капитан был белее мела, он весь дрожал и, умолкнув, бросился к борту, где его стошнило.

— Если мы промедлим, то у нас не хватит духа, — сказал Картью. — Теперь или никогда.

И он направился к люку кубрика.

— Нет, нет, нет! — застонал Томми, хватая его за рукав.

Но Картью отшвырнул его и спустился по трапу, полный отвращения к себе и стыда. На полу лежал китаец и глухо стонал. Кругом стояла непроницаемая тьма.

— Браун! — крикнул Картью. — Браун, где вы?



Собственное бессердечное коварство поразило его, однако ответа не последовало.

Он пошарил по койкам, но они были пусты. Тогда он направился вперед, к форпику, загроможденному бухтами каната и другим запасным такелажем.

— Браун! — снова позвал он.

— Я здесь, сэр, — ответил дрожащий голос, и бедняга, оставаясь невидимым, назвал Картью по имени и принялся умолять о пощаде. Только ощущение опасности, риска могло заставить Картью спуститься в кубрик, а тут враг встретил его просьбами и слезами, как испуганный ребенок. Его покорное «я здесь, сэр», его бессвязные моления и всхлипывания превращали убийство в гнуснейшее злодеяние. Дважды Картью поднимал револьвер и один

раз даже нажал на спуск (так, во всяком случае, ему показалось), но выстрела не последовало; его решимость окончательно иссякла, и, повернувшись, он бежал от своей жертвы.

Уикс сидел на световом люке и, повернув к Картью лицо семидесятилетнего старика, задал ему безмолвный вопрос. Картью покачал головой. И со спокойствием человека, поднимающегося на эшафот, Уикс встал, подошел к люку и спустился вниз. Браун думал, что это возвращается Картью, и с новыми мольбами наполовину выполз из своего убежища. Уикс несколько раз выстрелил на голос, который оборвался на тихом стоне и умолк. Наступила тишина, и убийца, как безумный, выскочил на палубу.

Остальные трое собрались теперь у светового люка, и Уикс присоединился к ним. Они прижались друг к другу, как дети в темноте, и дрожь одного передавалась всем другим.

Сумерки сгущались, и тишина прерывалась только шумом прибоя и глухими рыданиями Томми Хэддена.

— О господи, а вдруг к острову сейчас идет корабль! — неожиданно воскликнул Картью.

Уикс вздрогнул, взглянул на мачту, увидел висящий в снастях труп, и лицо его стало землистым.

— Если я попробую подняться на мачту, я упаду, — сказал он просто, — у меня больше нет сил.

Наконец Амалу вскарабкался на грот, внимательно оглядел горизонт и сообщил, что море пустынно.

— Все равно, — сказал Уикс, — нельзя сидеть сложа руки, надо скорее привести все в порядок. Только я не могу ничего делать, пока не хлебну джина, а джин в каюте. Кто за ним сходит?

— Я, — отозвался Картью, — если мне дадут спички. Амалу дал ему коробку, и, пройдя на корму, Картью спустился по трапу в каюту. Там, споткнувшись о труп, он зажег спичку, и его взгляд встретился со взглядом живого человека.

— Ну? — спросил Мак, пришедший наконец в себя после удара.

— Все кончено, никого не осталось в живых, — ответил Картью.

— Господи! — прошептал ирландец, снова теряя сознание.

Джин нашелся в капитанской каюте, и, когда все выпили по стакану, началась уборка корабля. Уже совсем стемнело. Луна должна была взойти только через несколько часов, и поэтому на мачту повесили фонарь, чтобы посветить Амалу, который мыл палубу. А Уикс, Картью и Хэдден, взяв другой фонарь из камбуза, занялись похоронами. Холдорсен, Хемстед, Трент и Годдедааль отправились за борт, причем последний еще дышал. За ним последовал Уолен, а потом Уикс, подкрепившись джином, влез с багром на мачту и освободил труп Харди. Оставался китаец: он, по-видимому, бредил и что-то не переставая выкрикивал на незнакомом языке, пока они несли его из трюма; только когда его тело с всплеском погрузилось в воду, смолкли эти крики. Брауна, по общему согласию, решили пока не трогать. У человеческих сил есть предел.

Все это время они пили неразбавленный джин как воду; три откупоренные бутылки стояли в разных местах палубы, и, проходя мимо, каждый обязательно отпивал глоток. В конце концов Томми свалился у подножия грот-мачты и заснул, Уикс упал ничком у кормового трапа и больше не шевелился, а Амалу куда-то незаметно исчез. На ногах оставался один Картью. Он, пошатываясь, стоял на юте, и фонарь, который он еще держал в руке, плясал при каждом его движении. Голова его гудела, в ней теснились обрывки мыслей, воспоминания об ужасах этого дня вспыхивали и угасали, как огонек лампы на сильном ветру. И тут его осенило пьяное вдохновение.

— Надо это прекратить, — пробормотал он и, спотыкаясь, спустился по трапу в каюту.

Исчезновение трупа Холдорсена заставило его испуганно остановиться. Он тупо глядел на пустой пол, а потом вспомнил и улыбнулся. В капитанской каюте он взял вскрытый ящик с пятнадцатью бутылками джина, поставил фонарь внутрь ящика и побрел вон из каюты. Мак снова очнулся — на его искаженном болью, осунувшемся лице лихорадочно блестели глаза, и Картью вспомнил, что ирландцу так никто и не помог. Бедняге, искалеченному, может быть, умирающему, предстояло пролежать здесь всю ночь. Но теперь было уже поздно: рассудок покинул безмолвный корабль. Сам он мог только еле-еле выбраться на палубу. И, бросив на Мака полный жалости взгляд, он взобрался по трапу, столкнул ящик в море и остался лежать на палубе.

ГЛАВА XXV
СКВЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

С первыми лучами зари Картью проснулся. Некоторое время он недоумевающе смотрел на полосу утреннего тумана и обвисшие паруса брига, не понимая, где он и что с ним. У него было странное ощущение, что случилось какое-то большое несчастье, о котором он забыл; но тут, словно река, прорывающая плотину, на него нахлынули воспоминания о том, что произошло накануне: перед его глазами всплыли страшные образы, в его ушах прозвучали жалобные крики, которые ему не суждено было больше забыть. Вскочив на ноги, он на минуту застыл, прижав руку ко лбу, а потом стал шагать взад и вперед, ломая руки и машинально бормоча: «Господи… господи… господи…» Это могло продолжаться час, а может быть, несколько секунд.

Вдруг он почувствовал, что на него смотрят, и, обернувшись, увидел, что Уикс, прислонившись к борту, следит за ним мутными глазами, страдальчески наморщив лоб. Каин увидел свой собственный лик. Еще секунда — и они виновато отвернулись друг от друга. Картью поспешил уйти подальше от своего сообщника и, облокотившись о борт, уставился невидящим взглядом на море.

Рассвет все разгорался: Через час взошло солнце и разогнало туман. Это был час невыносимых страданий для всех оставшихся в живых. Бессвязные мольбы Брауна, вопли матросов на вантах, обрывки песенок покойного Хемстеда звенели в ушах Картью невыносимой чередой. Он не оправдывал себя, не обвинял — он ни о чем не думал, он просто испытывал невыразимые муки. Глядя в синюю воду за бортом, он снова и снова видел искаженное яростью лицо Годдедааля, кровавый закат, который встретил их на палубе, лицо бредящего китайца, которого они сбросили за борт, и судорогу, пробежавшую по лицу Уикса, когда он очнулся от пьяного сна и вспомнил, что случилось. Время шло, солнце поднималось все выше и выше, но буря в душе Картью не стихала.

Затем, согласно многим поговоркам и изречениям, слабейший из них принес облегчение остальным — очнулся Амалу. Хотя он испытывал такие же душевные и телесные страдания, как и все остальные, привычка к работе взяла верх: отправившись в камбуз, он развел огонь в плите и принялся приготовлять завтрак. Звон посуды, потрескивание огня и струйка дыма, поднявшаяся к небесам, помогли разогнать овладевшее всеми тупое уныние. Жизнь как-то сразу вошла в обычную колею: капитан зачерпнул ведро воды и начал умываться, Томми некоторое время смотрел на него, а затем присоединился к нему. Картью же, вспомнив последнее, что он видел накануне, поспешно спустился в каюту. Мак не спал, вернее сказать — он не спал всю ночь. Над его головой щебетала в своей клетке канарейка Годдедааля.

— Как вы себя чувствуете? — спросил Картью.

— У меня рука сломана, — сказал Мак, — но это еще ничего, а вот в каюте мне оставаться трудно. Я попробую выбраться на палубу.

— Лучше не надо, — сказал Картью. — Там очень жарко и стоит полное безветрие… Я смою эти… — Он не договорил и только молча указал на кровавые пятна.

— Спасибо, — ответил ирландец послушно и кротко, как больной ребенок.

Когда Картью, захватив ведро, швабру и губку, начал приводить в порядок поле боя, Мак то смотрел на него, то вздыхал и закрывал глаза, словно теряя сознание.

— Это я во всем виноват, — вдруг сказал он. — И совсем уж скверно, что, впутав вас всех в беду, сам я вам ничем не помог. Вы спасли мне жизнь, сэр, своим выстрелом. Вы стрелок что надо!

— Ради бога, замолчите! — воскликнул Картью. — Об этом нельзя говорить. Вы не знаете, как это было. Здесь, в каюте, они сопротивлялись, а на палубе… — И Картью, прижав к лицу окровавленную губку, еле справился с припадком истерики.

— Успокойтесь, мистер Картью, теперь ничего изменить нельзя, — сказал Мак. — Радуйтесь, что вы хоть остались целы, а не лежите вот так, как я, со сломанной рукой.

Больше они ни о чем не говорили, и, когда раздался удар гонга к завтраку, каюта была почти в полном порядке.

Томми тоже не терял времени даром. Он подтянул вельбот к самому борту и спустил в него уже вскрытый бочонок солонины, который нашел возле камбуза. Ясно было, что он думает только об одном: как можно скорее покинуть бриг.

— Мы можем набрать здесь сколько угодно провизии, — сказал он, — чего же нам ждать? Надо скорее плыть к Гавайям. Я уже начал приготовления.

— У Мака сломана рука, — сказал Картью, — как он перенесет дорогу?

— Сломана рука? — повторил капитан. — Только и всего? Я вправлю ее после завтрака. А я-то думал, что он убит. Этот сумасшедший бил, как…

Напоминание о трагедии вчерашнего вечера заставило его умолкнуть; остальные тоже ничего не сказали. После завтрака Хэдден, Уикс и Картью спустились в каюту.

— Сейчас я вправлю твою руку, — сказал Уикс.

— Извините, капитан, — перебил Мак, — но сперва надо вывести бриг в море, а моей рукой займемся потом.

— Торопиться некуда, — ответил Уикс.

— Когда к острову подойдет следующий корабль, вы запоете по-другому, — возразил Мак.

— Ну, на это шансов мало, — заметил Картью.

— Ох, не надейтесь, — ответил Мак. — Когда корабль нужен, его и за шесть лет не дождешься, а когда не нужен, сюда явится целый флот.

— Я же говорил! — воскликнул Томми. — Мак рассуждает здраво. Надо поскорее снарядить вельбот и убираться отсюда.

— А что думает о вельботе капитан Уикс? — спросил ирландец.

— Я о нем совсем не думаю, — сказал Уикс. — У нас есть приличный бриг, и других вельботов мне не надо.

— Простите! — воскликнул Томми. — Это глупость. Бриг-то у нас есть, да что толку? Ведь на нем нельзя войти ни в какой порт.

— Неважно, — ответил капитан. — Этот бриг утонет, и я скажу вам, где: в сорока милях от Гавайских островов, с подветренной стороны. А мы в вельботе подождем, пока он совсем не скроется под водой, и тогда больше не останется никаких следов «Летящего по ветру» и мы забудем, что видели его; на берег в вельботе выберется команда шхуны «Богатая невеста» и с первым же пароходом отправится в Сидней.

— Ну и умница же вы, капитан! — воскликнул Мак. — Не возитесь вы с моей рукой сейчас, а давайте поскорее выйдем в море.

— Мне и самому не терпится. Мак, — ответил Уикс. — Но только стоит полный штиль. Так что давай свою руку и хватит разговаривать.

Он вправил руку Мака, наложил лубки и забинтовал. Труп Брауна, холодный и окостеневший, был вытащен из трюма и сброшен в лагуну, и все опять занялись уборкой корабля. Работы хватило только до полудня, но шел уже четвертый час, когда по зеркалу лагуны, наконец, пробежала первая рябь, налетел сухой шквал, а затем задул ровный бриз. Все это время команда «Богатой невесты» не находила себе места от нетерпения, а ее капитан боролся с мучительной тревогой и неуверенностью. Дело в том, что, хотя он мог заставить любую шхуну проплясать джигу и справиться с ней при самых трудных обстоятельствах, его знание мореходного дела было ограниченным и неполным. На палубе шхуны он был Рембрандтом или, во всяком случае, Уистлером, но на мостике брига становился жалким мазилой. Все утро он мысленно репетировал те маневры, которые помогут ему вывести «Летящего по ветру» в океан, однако не чувствовал никакой уверенности в себе. Это были лишь догадки. Все зависело от случайности — бриг мог послушаться его, а мог и не послушаться. И тогда весь прежний опыт не подскажет ему, как поступить. Если бы его товарищи не были так измучены и если бы он не боялся заразить их своими сомнениями, можно было бы попробовать вывести бриг через проход на буксире. Но эти два обстоятельства делали подобный маневр невозможным, и Уиксу оставалось только принять все предосторожности, какие были ему доступны. Поэтому он отвел Картью на корму и, с большим тщанием объяснив ему, что надо будет делать, вместе с ним осмотрел все паруса и снасти.

— Постараюсь запомнить, — сказал Картью, — но все это ужасно сложно.

— Дурацкая оснастка! — вздохнул капитан. — Понавешали каких-то носовых платков! И у меня нет ни одного настоящего моряка. Эх, будь это просто бригантина! Хорошо еще, что проход очень легкий и маневрировать совсем не придется… Сначала мы пройдем фордевиндом, пока островок не останется у нас под ветром, потом ляжем как можно круче к ветру, пойдем левым галсом на юго-восток и выйдем в открытое море. Понятно?

— Понятно, — ответил Картью довольно уныло.

Оба они некоторое время молча рассматривали незнакомые снасти над головой.

Наконец настало время от теории перейти к практике. Паруса были спущены, и команда приготовилась к подъему якоря. Затем бакштов был обрублен и вельбот оставлен на милость волн. Были подняты брамсели и контрабизань, затем контрабизань была повернута к правому борту.

— Поднять якорь, мистер Картью!

— Якорь поднят, сэр!

— Поставить кливера!

Команда была выполнена, но бриг по-прежнему стоял неподвижно. Уикс, привыкший маневрировать на шхуне с помощью грота, возлагал все надежды на контрабизань. Сперва он приказал повернуть ее к ветру, потом — от ветра, но ни то, ни другое не дало никаких результатов.

— Возьмите эту дрянь на гитовы! — проревел он, побагровев. — От нее нет никакого толку!

Но тут сбитого с толку капитана ждал, новый сюрприз: едва только контрабизань была взята на гитовы, как бриг пошел по ветру. Уиксу показалось, что законы природы отменены. Он перестал понимать, где причина и где следствие и каких результатов можно ждать от самого знакомого маневра. Однако больше всего он думал о том, как сохранить бодрость духа у своего неопытного экипажа. Лицо его пылало, как факел, но команду он отдавал уверенным голосом, тем более, что теперь, когда бриг пошел в нужном направлении, он решил, что главные трудности остались позади.

Были поставлены марсели, а также фок, грот и крюйс; бриг словно ожил и стал все быстрее набирать ход. Мало-помалу перед ними начал открываться проход и между двумя

белыми бурунами засинели просторы океана. Контрабизань была снова повернута к корме, и бриг, легший круто к ветру, уже приближался к тому месту, откуда он мог сделать поворот оверштаг и выйти из лагуны, не лавируя.

Упоенный первыми успехами, Уикс сам стал за штурвал. Он держал бриг курсом галфинд, чтобы набрать ход, а затем начал выкрикивать команды:

— Товьсь!.. Лево руля!.. Грот к ветру!

Затем были произнесены роковые слова:

— Все на фок! Брасопить реи!

Поворот оверштаг на корабле с прямым вооружением требует большого опыта и умения быстро оценивать обстановку. Человек, привыкший к шхуне, в подобных случаях всегда торопится. Так случилось и теперь. Приказ бы отдан слишком рано. Марсели легли на стеньги, и бриг сразу потерял ход. Даже теперь, если бы они повернули руль вправо, они могли бы еще закончить маневр удачно, но Уиксу, разумеется, это в голову не пришло — для шхуны такой поворот был бы гибельным. Вместо этого он попробовал положить корабль в дрейф, но ему не хватило места, и примерно без двадцати минут пять «Летящий по ветру» прочно сел на мель.

Уикс плохо знал корабли с прямым вооружением и доказал это на деле, но он был хорошим моряком и умел найти выход во всех затруднительных случаях, когда не требуется большого ума, а достаточно зоркого взгляда и мужественного сердца. Остальные еще не успели осознать, что случилось, а он уже выкрикивал новые команды: паруса были взяты, на гитовы, и матросы начали делать промеры вокруг брига.

— Все обойдется благополучно, — сказал он и приказал спускать шлюпку.

— Минутку! — воскликнул Томми. — Да вы, никак, собираетесь запрячь нас, чтобы мы стащили бриг с мели?

— Вот именно, — ответил Уикс.

— В такой глупости я участвовать не буду, — отрезал Томми, — я и так уже вымотался до смерти.

С упрямым видом он уселся на крышку светового люка и заявил:

— Вы нас посадили на мель, вы нас с нее и снимайте!

Картью и Уикс повернулись друг к другу.

— Мы же очень устали, поймите, — сказал Картью.

— Начинается прилив! — воскликнул капитан. — Вы что, хотите упустить прилив?

— А, ерунда! Приливы будут и завтра, — огрызнулся Томми.

— И вот что, — добавил Картью, — ветер спадает, а солнце скоро зайдет. В темноте мы можем устроить чтонибудь и похуже.

— Это правда, — ответил Уикс и некоторое время стоял задумавшись. — Только я одного не понимаю! — вдруг воскликнул он. — Я одного не понимаю: из чего вы сделаны! Я не могу оставаться здесь. Ведь солнце заходит. Я не могу оставаться здесь!

Остальные посмотрели на него с ужасом и удивлением. До сих пор он был их главной опорой, и теперь. когда этот практичный человек вдруг выдал терзавший его страх, они совсем растерялись. Но этим воспользовался Мак, который, никем не замеченный, выбрался по трапу на палубу, после того как бриг сел на мель.

— Капитан Уикс, — сказал он, — это я впутал вас всех в беду. И я хочу попросить у вас всех прощения. Если кто-нибудь скажет: «Я тебя прощаю», — мне будет легче на душе.

Уикс изумленно посмотрел на него, а затем к нему вернулось самообладание.

— Мы все здесь в одинаковом положении, — сказал он, — нам незачем сводить счеты. Конечно, я тебя прощаю, да что толку?

Другие тоже поспешили успокоить Мака.

— Благодарю вас всех, вы настоящие джентльмены, — сказал Мак. — Только я подумал вот что: мы ведь тут все протестанты?

Да, это было так, хотя протестантская церковь вряд ли могла особенно гордиться такими сыновьями!

— Вот и хорошо, — продолжал Мак. — Ну так почему бы нам не прочесть «Отче наш»? Это же нам не повредит!

Он говорил все с той же кроткой, умоляющей интонацией ребенка, и все остальные, безмолвно согласившись на его просьбу, опустились на колени.

— Ну, а я постою, — сказал Мак и прикрыл глаза рукой.

И они прочитали молитву под аккомпанемент прибоя и крика чаек, а потом поднялись с облегченной душой. До сих пор каждый в одиночестве ощущал свою вину и упоминал о преступлении в пылу минуты, чтобы тут же умолкнуть. Теперь они разделили общее раскаяние, и худшее осталось позади. И более того: мольба «и отпусти нам грехи наши», произнесенная сразу же после того, как они простили непосредственного виновника их бед, прозвучала в их ушах как отпущение греха.

Когда зашло солнце, они поужинали, а затем пятеро потерпевших крушение (снова потерпевших крушение!) легли спать.

Утро выдалось жаркое и безветренное. Очнувшись после тяжелого сна, они чувствовали себя совсем разбитыми. Только Уикс, который хорошо помнил, какой тяжелый день им предстоит, проявил какую-то энергию. Он подошел к помпе и измерил уровень воды в трюме, затем нахмурился, повторил измерение и глубоко задумался. Остальные догадались, что он чем-то недоволен. Потом он разделся и, оставшись в одних трусах, влез на фальшборт, выпрямился и сложил руки над головой, собираясь нырнуть. Вдруг он словно окаменел, напряженно вглядываясь в горизонт.

— Дайте мне бинокль, — сказал он.

В одно мгновение все уже карабкались на мачту вслед за Уиксом, державшим бинокль. На севере, над горизонтом, подымался столбик серого дыма, похожий на восклицательный знак.

— Что это, по-вашему? — спросил кто-то Уикса.

— Пока трудно сказать, — ответил он. — Но, судя по дыму, этот пароход идет прямо сюда.

— Какой пароход?

— Может быть, почтовый, — ответил Уикс, — а может быть, какой-нибудь крейсер, который ищет потерпевших крушение. Ну-ка, ребята, за дело, нельзя терять ни минуты! Скорее на палубу!

Едва оказавшись там, он спустил флаг, потом снова поднял его, но уже перевернутым.

— Слушайте внимательно, — сказал он, поспешно одеваясь. — Если это крейсер, он зря здесь стоять не захочет. На кораблях, где дела не делают, а только деньги получают, всегда страшная спешка. Так что все еще может кончиться благополучно. Мы отправимся с ними, а они не станут тратить время на лишние осмотры и расспросы. Я капитан Трент; Картью, вы Годдедааль, Томми — Харди, Мак — Браун, Амалу… Постойте! Его за китайца нам никак не выдать!.. Ага, нашел: наш кок дезертировал, а Амалу ехал в трюме зайцем. Когда мы его отыскали, я сделал его коком, но не стал возиться с оформлением документов. Понятно? Ну, как вас зовут?

Его товарищи послушно повторили свои новые имена.

— А как звали остальных двух? Того, кого Картью застрелил в каюте, и того, кому я разбил челюсть на гроте? — спросил он.

— Холдорсен и Уоллен, — сказал кто-то.

— Ну, так они утонули, — продолжал Уикс, — когда пытались спустить шлюпку. Мы попали в шквал вчера и сели на мель. — Он быстро подбежал к компасу, взглянул на него и продолжал: — Шквал налетел с северо-запада, очень сильный, тали заело, и Холдорсен с Уолленом свалились за борт. — Уикс был в своей стихии и говорил с лихорадочным нетерпением, похожим на гнев.

— А это не рискованно? — спросил Томми.

— Рискованно? — рявкнул капитан. — Да на нас на всех уже петли надеты, идиот! Если этот корабль идет в Китай (на что, впрочем, не похоже), с нами будет все кончено в первом же порту, а если нет, то, значит, он идет из Китая. Так? Ну, а если хоть кто-нибудь из офицеров или экипажа видел Трента или кого-нибудь из его матросов, мы через два часа будем в наручниках… Но все равно у нас нет другого выхода, и это последний ничтожный шанс спастись от виселицы.

Это прозвучало так убедительно, что все похолодели от страха.

— А может быть, лучше остаться на бриге? — спросил Картью. — Они помогут нам сняться с мели.

— Да что вы тратите время на пустую болтовню! — рассердился Уикс. — Слушайте: когда я сейчас делал промер, оказалось, что в трюме два фута воды; а вчера было всего восемь дюймов. Что случилось, я не знаю. Может быть, ничего, а может быть, мы рассадили днище. Тогда нам придется проплыть две тысячи миль в шлюпке. Это вам больше по вкусу?

— Если в днище пробоина, их плотники помогут нам ее зачинить, — настаивал Картью.

— О господи! — воскликнул капитан. — Как бриг сел на мель? Носом! И сейчас кренится на нос. Если сюда явится плотник, куда он пойдет? Да в форпик же! И как мы объясним кровавые пятна на канатах и на полу? Да поймите же, наконец, что вы не члены парламента, а шайка убийц с петлей на шее! Еще какой-нибудь другой осел хочет задать вопрос, чтобы зря тратить время? Нет?.. Ну, слава богу! Теперь, матросы, слушайте: я иду вниз, а вы останьтесь на палубе. Снимите чехол вон с той шлюпки, потом откройте сундучок с деньгами, возьмите пять сундучков, разделите деньги на пять частей и положите их на дно в эти сундучки. Да поживей! Сверху прикройте их одеялами или какой-нибудь одеждой, чтобы они не звенели. Сундучки получатся тяжелые, но с этим уж ничего не поделаешь. Вы, Картью… А, черт… Вы, мистер Годдедааль, пойдете со мной. Нам надо заняться другим делом. — И, бросив последний взгляд на столб дыма, Уикс спустился по трапу в сопровождении Картью.

Корабельные журналы были найдены в кают-компании за клеткой с канарейкой. Их было два: один вел Трент, другой — Годдедааль. Уикс посмотрел на них и выпятил нижнюю губу.

— Вы умеете подделывать чужие почерки? — спросил он.

— Нет, — ответил Картью.

— И я тоже, как ни жаль, — буркнул капитан. — Но это еще не самое скверное: журнал Годдедааля в полное порядке. Он, наверное, заполнил его перед чаем. Вот, читайте: «Замечен дым костра. Капитан Керкап и пять членов команды шхуны „Богатая невеста"…» Впрочем, не все пропало, — добавил он, открывая другой журнал. — Трент уже две недели ничего в него не заносил.

Мы уничтожим ваш журнал, мистер Годдедааль, и займемся журналом Трента… То есть моим, я хотел сказать. Но по некоторым причинам писать буду не я, а вы. Берите перо, и я вам продиктую.

— Но как мы объясним, куда девался мой журнал? — спросил Картью.

— А вы его не вели, — ответил капитан. — Грубейшее нарушение служебного долга. Судовладельцы намылят вам за это голову.

— А как же перемена почерка? — продолжал Картью. — Журнал сначала вели вы. Почему вдруг стал писать я? И все равно вам придется расписываться.

— После несчастного случая я не могу писать, — ответил Уикс.

— Несчастного случая? — повторил Картью. — Это звучит как-то неубедительно. Какого несчастного случая?

Уикс положил руку на стол ладонью вверх и пробил ее ножом.

— Вот какого, — сказал он. — Из всякого затруднения есть выход, если у тебя голова на плечах.

Он начал бинтовать рану носовым платком, быстро просматривая журнал Годдедааля.

— Скверно, — сказал он. — Тут все так напутано, что для вас это не годится. Во-первых, они шли по какому-то совершенно дикому курсу и уклонились на тысячу миль от обычных корабельных путей, а во-вторых, оказывается, они приблизились к этому острову шестого числа, плавали пять дней вокруг да около и на рассвете одиннадцатого снова очутились здесь.

— Годдедааль говорил мне, что им страшно не везло, — заметил Картью.

— Во всяком случае, все это похоже на выдумки, — вздохнул Уикс.

— Но ведь так было на самом деле, — настаивал Картью.

— Ну и пусть. Нам-то ведь от этого не легче, раз это все равно похоже на выдумки! — воскликнул капитан. — Ну-ка, помогите мне перевязать руку. Кровь так и хлещет.

Пока Картью накладывал повязку, Уикс о чем-то глубоко задумался. Но едва был затянут последний узел, как он стремглав кинулся на палубу.

— Запомните, ребята! — крикнул он. — Мы пришли к этому острову не одиннадцатого, а вечером шестого, и нас здесь задержал штиль. Как только кончите возиться с сундучками, вытащите на палубу несколько бочонков с водой и солониной. Так оно будет естественней. Словно мы уже снаряжали шлюпку.

После этого он вернулся в каюту и продиктовал Картью записи в корабельный журнал. Затем они уничтожили журнал Годдедааля и принялись искать корабельные бумаги. Из всех пережитых за утро мучительных минут эти, пожалуй, были самыми мучительными. Они лихорадочно обшаривали все уголки, ругаясь, сталкиваясь, изнемогая от жары, леденея от ужаса. С палубы им то и дело кричали, что это действительно крейсер, что он уже совсем близко, что он уже спускает шлюпку. А документов нигде не было! Каким образом они не заметили сейфа с судовой кассой и расписками, трудно понять. Но тем не менее они его не заметили. Наконец самые важные документы были найдены в кармане парадного костюма Трента, где он их оставил после того, как последний раз сходил на берег.

— Как раз вовремя, — сказал Уикс, улыбаясь в первый раз за все утро.

— Давайте их мне, а вот эти бумаги заберите себе. Боюсь, что я их перепутаю.

— Какие еще бумаги? — спросил Картью.

— Документы капитана Керкапа и шхуны «Богатая невеста», — ответил Уикс. — Как знать, может быть, они нам еще понадобятся.

— Шлюпка вошла в лагуну, сэр! — крикнул Мак, который исполнял роль дозорного, пока остальные работали.

— Пора идти на палубу, мистер Годдедааль, — заметил Уикс.

Когда они направились к трапу, канарейка вдруг испустила звонкую трель.

— Нельзя бросать бедняжку на голодную смерть, — прошептал Картью. — Это птица несчастного Годдедааля.

— Так берите ее с собой, — сказал капитан.

И они поднялись на палубу.

За рифом виднелась безобразная туша современного военного корабля, который время от времени пенил воду своим винтом, а по проходу скользила большая белая шлюпка с флагом на корме.

— Еще одно, — сказал Уикс, быстро осматриваясь. — Мак, ты был в китайских портах? Отлично. А вас, остальных, все время, пока мы были в Гонконге, я не пускал на берег, надеясь, что вы дезертируете. Но вы меня надули и остались на бриге. Так вам будет легче врать.

Шлюпка была совсем уже близко. Единственным офицером в ней оказался рулевой, причем офицером не из лучших, так как матросы на веслах все время переговаривались.

— Слава богу, они послали какого-то желторотого птенца! — воскликнул Уикс. — Эй, Харди, убирайся на нос! Я не потерплю, чтобы матросы разгуливали у меня по юту!

Этот выговор подбодрил всех, как холодный душ.

Шлюпка лихо подошла к борту, и молоденький офицер поднялся на палубу брига, где с ним почтительно поздоровался Уикс.

— Вы капитан этого корабля? — спросил офицер.

— Да, сэр, — ответил Уикс. — Зовут меня Трент, а это бриг «Летящий по ветру» из Гулля.

— У вас, кажется, неприятности? — заметил офицер.

— Если вы будете так любезны пройти со мной на ют, я вам сейчас все расскажу, — ответил Уикс.

— Да вас бьет лихорадка! — воскликнул офицер.

— И не удивительно, после таких переживаний, — ответил Уикс и затем начал повесть об испортившейся воде, долгом затишье, внезапном шквале, утонувших матросах.

Он говорил без запинки и с большим жаром, как приговоренный к смерти, умоляющий о помиловании. Мне довелось выслушать эту историю из тех же уст в кафе в Сан-Франциско, и даже тогда манера рассказчика показалась мне подозрительной. Но офицер не отличался наблюдательностью.

— Наш капитан очень торопится, — заметил он, — однако я получил инструкцию оказать вам помощь, а в случае необходимости вызвать и вторую шлюпку. Чем могу вам помочь?

— Ну, мы вас не задержим, — ответил Уикс весело. — Мы уже совсем собрались. Все готово: и сундучки, и хронометр, и документы.

— Неужели вы хотите оставить бриг? — воскликнул офицер. — По-моему, его очень легко снять с мели. Мы вам окажем необходимую помощь.

— Легко-то легко, но далеко ли мы уплывем, другой вопрос. В носовой части большая пробоина, — ответил Уикс.

Молоденький офицер покраснел до ушей. Болезненно сознавая свою неопытность, он решил, что выдал себя, и побоялся снова попасть в глупое положение. Ему и в голову не приходило, что капитан может его обманывать. Раз капитан решил покинуть свой бриг, значит, у него для этого есть все основания.

— Отлично, — сказал он. — Так пусть ваши матросы грузят вещи в шлюпку.

— Мистер Годдедааль, пусть матросы грузят вещи в шлюпку! — скомандовал Уикс.

Четверо его товарищей ждали результатов этих переговоров как на иголках. Когда они услышали желанные слова, им показалось, что солнце озарило полночный мрак, а Хэдден громко зарыдал, и, пока он крутил лебедку, по его щекам текли слезы. Однако работа спорилась, и вскоре сундучки, узлы и потерпевшие кораблекрушение уже находились в шлюпке, которая, выйдя из длинной тени «Летящего по ветру», понеслась к выходу из лагуны.

Пока все складывалось удачно. Никто не заметил, что бриг цел и невредим, и с каждой минутой расстояние между ними и грозными уликами, скрывавшимися на его борту, увеличивалось и увеличивалось. Но, с другой стороны, они с каждой минутой приближались к военному кораблю, который еще мог оказаться для них тюрьмой и даже телегой палача, везущей их на виселицу. Ведь они еще не узнали, ни откуда пришел этот корабль, ни куда он направляется, и неизвестность давила их сердца свинцовой тяжестью.

Задать вопрос решился Уикс. Картью казалось, что голос его доносится откуда-то издалека, и в то же время каждое слово поражало, словно пуля.

— Как называется ваш корабль? — спросил Уикс.

— «Буря». А разве вы не знаете? — ответил офицер.

«Разве вы не знаете?» Что это означало? Может быть, ничего, а может быть, что крейсер и бриг уже встречались. Уикс собрался с духом и задал новый вопрос:

— Куда вы идете?

— Мы должны осмотреть все эти островки и островочки, — сказал офицер, — а потом пойдем в Сан-Франциско.

— Вы идете из Китая, как и мы? — продолжал Уикс свои расспросы.

— Из Гонконга, — ответил офицер, сплевывая за борт.

Из Гонконга. Так, значит, все кончено: как только они окажутся на крейсере, их арестуют; бриг будет осмотрен, будут найдены следы крови, возможно, лагуну протралят, и тела убитых расскажут свою страшную историю.

Картью неодолимо хотелось вскочить со скамьи, закричать и прыгнуть в море. Дальнейшее притворство казалось таким ненужным: еще несколько сот секунд напряженного ожидания — и неизбежное случится. А потом — позорная смерть. Но даже и теперь Уикс не сдался. Лицо его было искажено, голос стал неузнаваемым, и казалось, что самый ненаблюдательный и глупый человек должен был бы заметить эти роковые признаки. И все-таки он продолжал расспросы, стремясь узнать свою судьбу.

— Хороший город Гонконг. Как, по-вашему? — заметил он.

— Не могу сказать, — ответил офицер, — мы пробыли там только полтора дня. Зашли за инструкциями, и нас сразу отправили сюда. В жизни не слышал о такой подлости! — И он продолжал с грустью описывать невезение, которое преследовало «Бурю».

Но Уикс и Картью больше его не слушали, они глубоко дышали: тела их были скованы оцепенением, но в мозгу вихрем проносились мысли о страшной опасности, которой они избегли, о почти несомненной возможности спасения. Они испытывали глубокое облегчение и радость. Во время плавания на крейсере им ничто не грозит. Потом еще несколько трудных дней в Сан-Франциско, но немного энергии и присутствия духа, и страшное событие будет навеки погребено. Годдедааль снова станет Картью, а Уикс — Керкапом, людьми, которых ни в чем нельзя заподозрить, людьми, которые никогда не слышали о «Летящем по ветру» и никогда не видели острова Мидуэй. Это радостное ощущение не покидало их все время, пока шлюпка приближалась к борту «Бури», над которым торчали дула орудий и головы любопытных. Оно не покидало их, когда они в странном отупении поднялись на крейсер и невидящими глазами глядели на высокие мачты, белоснежные палубы и на толпящихся кругом моряков, чьи голоса доносились словно издалека, на чьи вопросы они отвечали невпопад.

И вдруг Картью почувствовал, что кто-то похлопывает его по плечу.

— Норри, старина! Откуда ты взялся? Тебя уже не знаю сколько времени все разыскивают. Ведь ты же теперь старший, унаследовал свое поместье!

Он обернулся, увидел лицо своего школьного товарища Сибрайта и потерял сознание. Его унесли в каюту Сибрайта, и доктор начал приводить его в чувство.

Когда Картью открыл глаза, он внимательно посмотрел на незнакомое лицо и сказал с суровой решимостью:

— Браун должен пойти по той же дороге. Теперь или никогда…

Через несколько секунд сознание его прояснилось, и он заговорил снова:

— Что я сказал? Где я? Кто вы?

— Я судовой врач «Бури», — ответил доктор. — Вы находитесь в каюте лейтенанта Сибрайта, и вам следует забыть о всех тревогах. Ваши беды кончились, мистер Картью.

— Почему вы так меня называете? — спросил Картью. — Ах да, Сибрайт узнал меня… — Он застонал и весь затрясся. — Пришлите ко мне Уикса, я должен немедленно поговорить с Уиксом! — воскликнул он и яростно сжал руку доктора.

— Хорошо, — ответил доктор, — но только с одним уговором: выпейте эту микстуру, а я схожу за Уиксом.

Он дал несчастному снотворное, и тот через несколько минут погрузился в глубокий сон, вероятно, спасший ему рассудок.

Затем доктор занялся Маком и, пока вправлял ему руку, под каким-то предлогом заставил ирландца назвать имена всех его товарищей.

Потом настал черед капитана, который к этому времени был уже совсем не похож на человека, придумавшего отчаянный план спасения в каюте «Летящего по ветру»: чувство полной безопасности, плотный обед и большой стакан грога притупили его бдительность и погасили энергию.

— Когда вы были ранены? — спросил доктор, разбинтовав его руку.

— Неделю назад, — ответил Уикс, думая только о записях в корабельном журнале.

— Вот как! — воскликнул доктор и посмотрел ему прямо в глаза.

— Я точно не помню, — запинаясь, ответил Уикс.

После этой неуклюжей лжи подозрения доктора учетверились.

— Кстати, кого из вас зовут Уиксом? — спросил он как бы между прочем.

— Это еще что? — буркнул капитан, побелев, как бумага.

— Я спросил, кто из вас Уикс, — повторил доктор. — Мне кажется, мой вопрос совершенно ясен.

Уикс ничего не ответил.

— В таком случае, кто Браун? — настаивал доктор.

— О чем вы говорите? К чему вы клоните? — крикнул Уикс, отдергивая руку, так что кровь брызнула прямо в лицо врача.

Тот даже не стал стирать ее и, глядя прямо на свою жертву, задал новый вопрос:

— Почему Браун должен пойти по той же дороге?

Уикс, задрожав, опустился на табурет.

— Картью все вам рассказал, — прошептал он.

— Нет, — ответил доктор, — но его и ваше поведение заставило меня задуматься, и мне кажется, вы что-то скрываете.

— Дайте мне чего-нибудь выпить, — сказал Уикс, — лучше я вам все сам расскажу, и, черт возьми, мы совсем не так виноваты, как можно подумать.

И вот с помощью двух стаканов крепкого грога трагическая история «Летящего по ветру» была рассказана в первый раз. Им очень повезло, что выслушал ее именно доктор. Он сжалился над этими людьми, чье положение, на его взгляд, было гораздо хуже, чем они того заслуживали, и решил им помочь. Он вместе с Уиксом и Картью (как только тот пришел в себя) придумали план, как им вести себя в Сан-Франциско. Он выдал «Годдедаалю» справку, что тот тяжело болен, и под покровом ночи помог Картью съехать на берег. Он не давал заживать ране Уикса, чтобы тот продолжал подписываться левой рукой. Он пустил в ход свое влияние на корабле и уговорил молодых офицеров не выдавать настоящего имени Картью, боясь, как бы оно не попало в газеты. А кроме того, он оказал им услугу еще более важную. У него в Сан-Франциско был друг, миллионер. Доктор представил ему Картью, объяснив, что этот молодой человек недавно унаследовал большое состояние и хотел бы прежде, чем это станет известно,

заплатить свои долги ростовщикам так, чтобы это не вызвало огласки. Миллионер с удовольствием согласился помочь молодому наследнику, и это на его деньги Бэллерс во время аукциона старался перекупить бриг у синдиката. Попробуйте догадаться, как звали этого миллионера. Его звали Дуглас Лонгхерст.

Пока самозваная команда «Летящего по ветру» могла исчезнуть без следа и снова стать командой «Богатой невесты», для них не имело особого значения, что бриг будет продан и на нем обнаружатся следы какогото преступления. Но, как только Картью был узнан, положение изменилось. Малейший скандал — и противоречия в его истории сразу будут замечены и будет задан неизбежный вопрос: каким образом он, отплыв на шхуне из Сиднея, через такое короткое время вдруг оказался на бриге, идущем из Гонконга. А после этого легко могло выясниться все дело. Поэтому было решено предотвратить подобную опасность и самим купить бриг, благо Картью стал теперь миллионером. За исполнение этого нового плана они взялись с большой энергией и осторожностью. Картью под вымышленным именем снял комнату, подыскал поверенного (случайно это оказался Бэллерс) и поручил ему купить разбитый бриг.

— Какая ваша предельная сумма? — спросил Бэллерс.

— Мне нужен бриг, — ответил Картью, — а цена меня не интересует.

— Сказать «любая сумма» — значит ничего не сказать, — сказал Бэллерс.

— Назовите ее точно.

— Ну пусть будет пятьдесят тысяч долларов, раз вы так настаиваете, — ответил Картью.

Все это время капитану приходилось ходить по городу, являться в консульство, отвечать на вопросы в агентстве Ллойда, сочинять историю о потерянных квитанциях, подписывать бумаги левой рукой и рассказывать с своих вымышленных злоключениях всем морякам СанФранциско. И каждую минуту он ждал, что столкнется с каким-нибудь старым приятелем, который в присутствии посторонних назовет его Уиксом, а может быть, с каким-нибудь новым врагом, который сумеет доказать, что он вовсе не Трент.

Случилось второе, но благодаря своей находчивости Уикс не только избежал разоблачения, но даже укрепил свою позицию.

Когда он был в консульстве (самом неподходящем месте для того, что последовало), он вдруг услышал, что кто-то спрашивает капитана Трента. Он обернулся, как всегда, еле сдерживая дрожь.

— Да вы же не капитан Трент, — сказал незнакомец, отступая. — Что все это значит? Мне сказали, что вы называете себя капитаном Трентом… капитаном Джейкобом Трентом, которого я знаю с детства!

— А! Вы, наверное, имеете в виду моего дядю, который был банкиром в Кардиффе, — ответил Уикс с невозмутимостью отчаяния.

— В первый раз слышу, что у него есть племянник, — ответил незнакомец.

— Лучше поздно, чем никогда, — отрезал Уикс.

— А как старик себя чувствует? — спросил тот.

— Отлично, — ответил Уикс.

Но тут его, к счастью, позвал клерк.

Дальше все шло гладко, но утром в день аукциона после разговора с Джимом Уикс опять встревожился. На аукционе он не находил себе места, так как ему было известно только, что Картью попробует купить бриг через своего поверенного, но он не знал, ни кто этот поверенный, ни какие он получил инструкции. Я полагаю, что капитан Уикс обладает удивительно крепким здоровьем, хотя его внешность указывает на склонность к апоплексии, которой он, как известно, очень опасается. Однако он может быть спокоен, — она ему не грозит, раз уж удар не хватил его во время этого сумасшедшего аукциона, когда старый бриг

вместе с довольно дешевым грузом был куплен на его глазах посторонним человеком за пятьдесят тысяч долларов.

С самого начала они уговорились, что он не будет встречаться с Картью, чтобы нельзя было установить связь между командой и неведомым покупателем. Но теперь было не до осторожности, и, вскочив на извозчика, он помчался на улицу Миссии.

В дверях пансиона он столкнулся с Картью.

— Скорее уйдем отсюда, — сказал тот.

И, когда они уже шли по улице, добавил:

— Все кончено!

— А, так, значит, вы знаете результат аукциона? — спросил Уикс.

— Аукциона? — воскликнул Картью. — Да я уже о нем забыл!

И он рассказал о телефонном звонке и голосе, который задал страшный вопрос: «Зачем вы хотите купить „Летящий по ветру“?»

Этот звонок, последовавший за совершенно невероятным исходом аукциона, мог свести с ума самого Иммануила Канта. Им казалось, что судьба против них, что все мальчишки на улицах и даже камни мостовой знают их ужасную тайну. Они думали только о бегстве. Разделив прибыль, которую им принесло единственное плавание «Богатой невесты», они спрятали деньги в потайные карманы, послали свои сундучки по вымышленному адресу в Британскую Колумбию и в тот же день уехали из Сан-Франциско в Лос-Анжелос.

На следующее утро Картью уже отбыл в Англию, а остальные трое отправились в Мексику.

ЭПИЛОГ
ПОСВЯЩАЕТСЯ УИЛЛУ ЛОУ

Дорогой Лоу!

Недавно на Манихики я имел удовольствие встретиться с Доддом. Мы просидели около двух часов в маленькой, похожей на игрушку церкви, уставленной скамьями на европейский манер и украшенной перламутровой мозаикой. Вокруг, улыбаясь нам, толпились местные жители — по-моему, самые красивые люди на всем земном шаре. И там я задал Додду вопросы, которые давно меня интересовали.

Сперва я спросил его, что случилось после той ночи в Барбизоне, когда Картью рассказал ему свою историю, и как им удалось отделаться от Бэллерса. Оказалось, что Додд сразу же напомнил своему новому другу об этом опасном преследователе, но Картью ответил небрежно: «Он беден, а я богат. Мне не страшны его угрозы. Я просто уеду куда-нибудь подальше, куда проезд стоит дорого. Например, в Персию. Это очень интересная страна. Хотите, поедем вместе?» И на другой день они уже отправились в Константинополь и дальше в Тегеран. О Бэллерсе известно только (из газетной заметки), что он каким-то образом вернулся в Сан-Франциско и умер в больнице.

— Еще один вопрос, — сказал я. — Вы уехали в Персию с миллионером, вы были сами богаты, так каким же образом вы очутились здесь, в Южных Морях, суперкарго на торговой шхуне?

Он с улыбкой ответил, что я еще не слышал о последнем банкротстве Джима.

— Я снова остался без гроша, — сказал он, — и тогда Картью построил эту шхуну и поручил ее мне. Яхта его, а торговлю веду я. А поскольку почти все расходы связаны с яхтой и командой, то я получаю неплохую прибыль. И у Джима опять все хорошо — он ведет удачную торговлю фруктами, кукурузой и земельными участками. К тому же он обзавелся отличным компаньоном. Это Нейрс. Нейрс сумеет обуздать его порывы, он человек деловой. Они купили две виллы рядом на побережье, и я гостил у них, когда в последний раз был в СакФранциско. Джим теперь владелец газеты (мне кажется, он подумывает о том, чтобы стать сенатором), и

он хотел, чтобы я бросил шхуну и стал у него редактором. Они с Мэйми считают, что в конституцию штата необходимо внести много изменений.

— А что случилось с остальной командой «Богатой невесты»? — спросил я.

— Насколько мне известно, они несколько дней кутили в столице Мексики, — ответил Додд, — а потом Хэдден с ирландцем отправились на золотые прииски в Венесуэле, а Уикс уехал в Вальпараисо. В чилийском флоте служит некий капитан Керкап — во время последней тамошней войны я видел эту фамилию в газетах. Хэддену скоро надоели прииски, и я недавно встретился с ним в Сиднее. Он сообщил мне, что Мака убили во время нападения на обоз с золотом. Значит, теперь их осталось трое — ведь Амалу не в счет. Он живет на своем родном острове Мауи. Канарейка Годдедааля попрежнему у него, и, говорят, он бережет свои доллары, что среди гавайцев редкость. А получил он не только долю Хемстеда. Картью разделил причитавшиеся ему деньги поровну между ними всеми, считая и Мака.

— Ну, и сколько же все это составило? — не удержался я от вопроса, вспомнив бесконечные вычисления, которые он приводил в своем рассказе.

— Сто двадцать восемь фунтов девятнадцать шиллингов одиннадцать с половиной пенсов, — ответил Додд невозмутимо, — не считая той мелочи, которую он выиграл в карты на Мидуэе. Для гавайца это немало.

В эту минуту к нам подошел священник, и мы вынуждены были принять его приглашение выпить у него в доме кокосового молока. Моя шхуна должна была отплыть в тот же вечер, потому что Додд успел опередить нас и скупил все раковины на острове. Он уговаривал меня бросить мою шхуну и поехать с ним в Окленд, где его ждал Картью, но я отказался наотрез.

Дело в том, что с тех пор, как я вместе с Хэвенсом и Доддом занялся опубликованием истории жизни последнего, у меня нет ни малейшего желания встречаться с Картью. Разумеется, человек я современный и считаю вполне благородным сообщать всему миру о чьих-то частных делах — по стольку-то за строчку. Тем, о ком идет речь, это нравится, а если нет, то им же хуже. Но какой-то голос шепчет мне, что это не всегда им будет нравиться, не всегда они будут это терпеть, а Картью, как известно, «стрелок что надо», вот почему в ближайшие годы я не собираюсь покидать Самоа.

Итак, мы расстались с Доддом. Но он отвез меня на мою шхуну в своей собственной роскошной шлюпке и развлекал по дороге описанием своего последнего посещения Бутаритари, куда он отправился по поручению Картью посмотреть, как поживает Топлес, и в случае необходимости помочь ему. Однако оказалось, что дела Топлеса в цветущем состоянии. Он был очень любезен с Доддом и… ну… и обвел его вокруг пальца.

— Картью будет доволен, — сказал Додд, — ведь когда они плавали на «Богатой невесте», то ободрали Топлеса самым непозволительным образом. Теперь они квиты.

Вот, пожалуй, и все новости, которые я узнал от моего друга Лаудена, и я хочу надеяться, что не упустил ни одного вопроса, ответ на который вас интересовал. Но, я думаю, вам не терпится задать вопрос мне самому. А именно: с какой стати ваше имя появилось без всякого на то основания в заключении нашей повести. Ведь, если вы и не родились в Аркадии, ваши помыслы влекут вас, к флейтам античного мира, к нарциссам и платанам, к бегущим нимфам — к изящному, трогательному и сухому искусству древности. Так почему же мы решили посвятить вам столь современное произведение, отражающее варварские нравы и сомнительную мораль, где все сводится к погоне за деньгами и чуть ли не на каждой странице звенят доллары; где нашла отражение беспокойная суета нашего века; где читатель переносится с континента на континент, с моря на море, так что эта книга не столько роман, сколько панорама, и где конец обагрен кровью? Но ведь вас интересуют все проблемы искусства, даже самого вульгарного. Быть может, вам будет интересно услышать, как зародилась и как создавалась книга «Потерпевшие кораблекрушение». Как-то раз на борту шхуны «Экватор», неподалеку от островов Джонстона (если кому-нибудь известно, где они

находятся), в лунную ночь, когда жизнь — это радость, будущих авторов этой книги развлекали рассказами о продаже судов, потерпевших крушение. Тема эта показалась им интересной, и они отошли в сторону, чтобы обсудить ее возможности.

— Какая была бы путаница, — сказал один, — если бы на борту такого корабля оказалась не та команда! Но каким образом это устроить?

— Нашел! — воскликнул другой. — История капитана имярек.

Дело в том, что незадолго до этого и неподалеку от того места, где мы находились, некий английский шкипер поставил потерпевшим крушение английским морякам примерно те же условия, что и капитан Трент. Когда мы отправились спать, сюжет уже был готов, но, как обычно, нам еще не было ясно, в какую форму он облечется. Надо сказать, что нас уже давно и привлекал и отталкивал современный жанр полицейского романа, когда рассказ начинается чем угодно, но только не началом, и кончается чем угодно, но только не концом. В этом жанре нас привлекала возможность заинтриговать читателя, а также те трудности, которые надо преодолеть, чтобы достичь этой цели. Отталкивала же нас неотъемлемая от него лживость и поверхностность. Потому что читатель, думая только о скрытых уликах, воспринимает жизнь в подобном произведении как сложный, но мертвый механизм, который заслоняет от него реальную действительность. Поэтому книги такого рода увлекательны, но не художественны и напоминают скорее шахматную задачу, а не произведение искусства. Нам казалось, что отчасти это объясняется отсутствием предыстории героев и событий и что, если развивать сюжет постепенно, вводя некоторых действующих лиц заранее, короче говоря, если начать эту книгу как роман нравов, то упомянутый недостаток смягчится и наша тайна станет жизненно правдоподобной. Основой нашей не слишком дорогой ткани мы решили сделать дух нашего века, его стремительность, смешение всех племен и лассов в погоне за деньгами, яростную и по-своему романтичную борьбу за существование, с вечной сменой профессий и стран, и особенно подробно обрисовать два типа: американского дельца и моряка американского торгового флота. Вот откуда появились отец Додда, и Пинкертон, и Нейрс, и пикники «Дромадер», и работа на железной дороге в Новом Южном Уэльсе (надо сказать, что наша повесть была уже наполовину написана, когда я увидел товарищей Картью, работающих под дождем на опасном участке железной дороги под Южным Клифтоном, и услышал от инженера о «городском щеголе»).

После того, как мы, затратив много времени и сил, придумали такой способ развития сюжета тайн, нам вдруг пришло в голову, что он был уже изобретен до нас: ведь к этому приему прибегал в своих поздних романах Чарльз Диккенс, хотя, конечно, результаты, которых он достигал с его помощью, увы, сильно отличаются от того, чего удалось добиться нам.

Я вижу ваш недоумевающий взгляд. Сколько теоретических рассуждении, скажете вы, ради полицейского романа, и при этом никакого ответа на ваш вопрос. Что поделаешь, некоторым из нас нравится теория. И после такого большого тома практики можно уделить несколько страничек и ей. А вот и ответ на ваш вопрос: мы решили, что ради контраста наш герой-рассказчик должен несколько отличаться от людей, которые его окружают, и не будет простым охотником за долларами. Так Лауден Додд стал скульптором, а наша повесть-путешественница навестила Париж и заглянула в Барбизон. И вот почему, мой дорогой Лоу, этот эпилог адресован вам.

Потому что вы, как никто другой, сумеете понять то, что таится между строк, вы и еще один наш общий друг. Ведь вам известно, что скрывается здесь за каждой маской; контракт на поставку статуй будет для вас воспоминанием далекого прошлого, и вам не в первый раз придется услышать, какую опасность таит в себе руссильонское вино. Пусть творцами этой книги станут для вас сухие листья Ва-Бро, отзвуки Лавеню и улицы Расина — все воспоминания о нашем общем прошлом.

И, если вам не понравится эта повесть, все-таки я думаю, вам будет приятно вдохнуть воздух нашей юности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1

Здравствуйте, принц! Не выпьете ли стакан пива? *(франц.).*

2

Трампы — грузовые суда, плавающие не по определенным линиям, а в зависимости от полученного фрахта.

3

Сейчас время выпить *(франц.).*

4

Международный кружок *(франц.).*

5

Баратрия — умышленное уничтожение застрахованного имущества с целью получить страховую сумму.

6

Маскегон — штат вымышленный.

7

Оливер и Чарли Бейтс — действующие лица романа Диккенса «Оливер Твист». Под «академией» подразумевается воровской притон.

8

«Дядя Сэм» *(франц.).*

9

Что с ним? *(фран.).*

10

Он слишком долго смотрел на вашу мазню, и его затошнило *(франц.).*

11

Старший *(франц.).*

12

Брат *(франц.).*

13

«Какое варварство!» *(франц.).*

14

Мой маленький *(франц.).*

15

«Путешественник на Дальнем Западе» *(франц.).*

16

«Кто спит, тот обедает» — французская поговорка.

17

Еженедельные *(греч.).*

18

На жаргонетихоокеанских моряков голландцами называют немцев и уроженцев Скандинавии *(Прим. автора).*